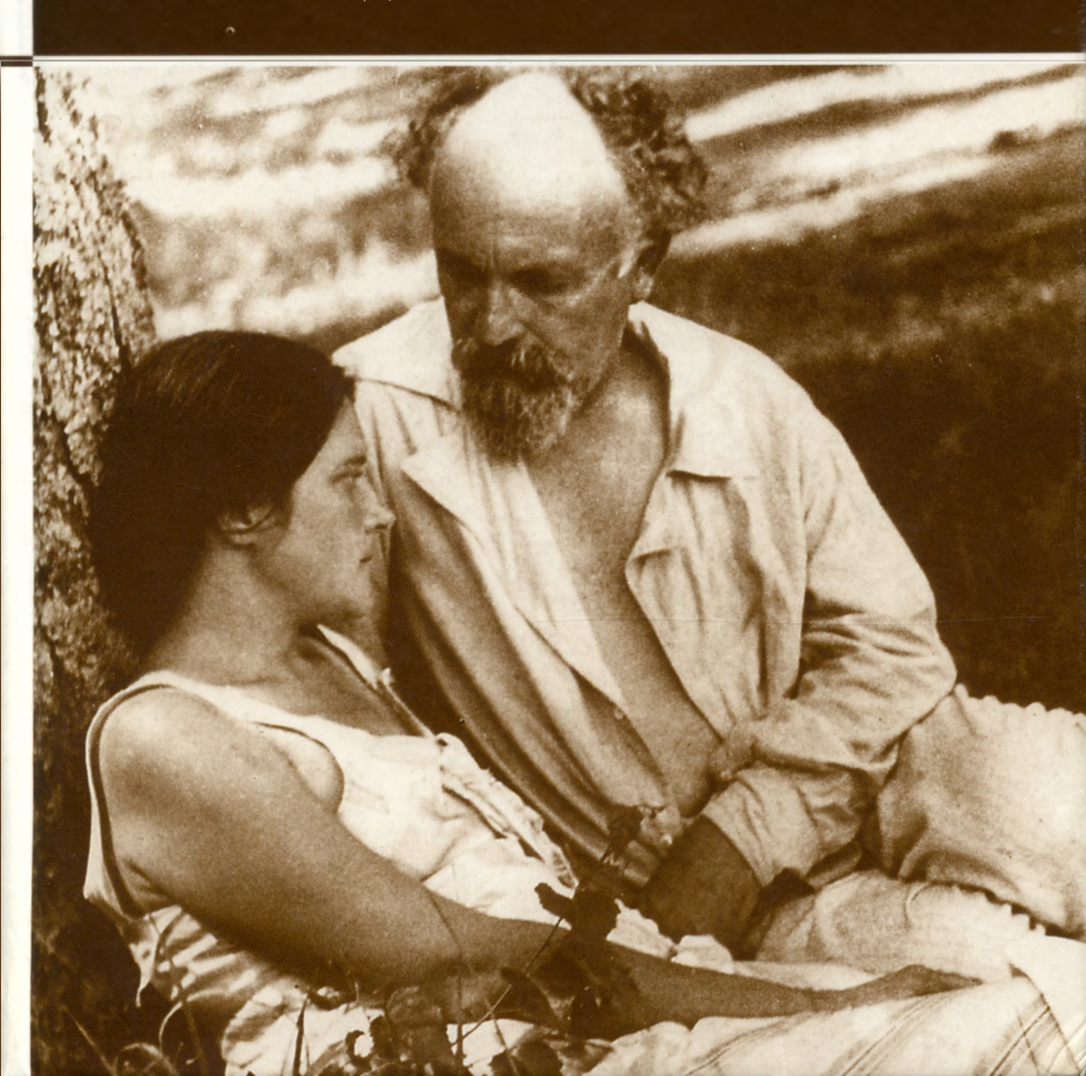
М. М. Пришвин • В. Д. Пришвина

МЫ С ТОБОЙ

Дневник любви



М. М. Пришвин • В. Д. Пришвина

Мы с тобой

Дневник любви

Санкт-Петербург
2003

ББК 84 (2 Рос-Рус)6
П77

Пришвин М. М., Пришвина В. Д.
П77 Мы с тобой: Дневник любви / Подгот. текста и коммент. Л. Рязановой. — СПб.: ООО «Издательство Росток», 2003. — 256 с., ил.

ISBN 5-94668-016-1

«Мы с тобой» — книга о любви. По форме она представляет собой диалог двух ее героев: писателя Михаила Пришвина и Валерии Дмитриевны Лебедевой (урожденной Лиорко), с которой Пришвин встретился в конце жизни и которая стала его женой.

Эта встреча нашла свое отражение в «Дневнике» писателя за 1940-й год, послужившем основанием для этой книги.

ББК 84 (2 Рос-Рус)6

Оглавление

Пролог

Москва. Зима 1939–40 года. Люди миллионами безвинно томятся и умирают в тюрьмах, ссылках, лагерях. Над миром нависла черной тучей война. В это страшное небывалое время встречаются двое и из их встречи рождается любовь.

Несмотря на то что любовь эта протекает среди общих страданий, перед лицом которых она должна бы укрыться в тени и неприметности, несмотря на то что она рождается не просто, не сразу, самим любящим дается тяжело и писать о ней — будто груз поднимать на плечи, несмотря на все это, мы должны о ней писать.

Впрочем, от себя рассказывать придется мало: перед нами лежат собственные записи двух уже ушедших из жизни людей — их общий дневник. Открываем наугад, читаем: «Доведу любовь свою до конца и найду в конце ее начало бесконечной любви переходящих друг в друга людей. Пусть наши потомки знают, какие родники таились в эту эпоху под скалами зла и насилия».

Рукопись огромна. Бумага уже начинает желтеть, местами рассыпается на сгибах. Что выбрать? — все здесь взаимосвязано, все важно. Мы берем ее начало. В нем — близкое каждому, и пусть люди после нас будут читать его, как свое: остается жить с людьми то, что прикосновенно поэзии.

Это будет книга о любви, но мы не страшимся такой ограниченности темой: любовь нужна не меньше, чем хлеб, а о хлебе люди хлопочут откровенно, неутомимо.

В рассказе два основных лица. Писатель Михаил Пришвин, стоящий уже на пороге старости. Охотник, путешественник, он еще полон сил и писательских замыслов. Уже прошло три года, как он живет один в полученной им наконец после долгих хлопот московской квартире. До того он жил в небольшом подмосковном городке, где осталась его жена, куда приезжают взрослые семейные сыновья. Он навещает жену, подолгу гостит. Так, незаметно, не причиняя никому ненужной боли и не подчеркивая отдаления, осуществляет старый писатель давно задуманное им одиночество.

«С завтрашнего дня я начинаю это одиночество, которое будет вступлением к будущему одинокому житию в деревне», — пишет он 5 июля 1937 года в дневнике. И через два года: «Надо уйти, как подготовил. Надо проститься, надо расстаться, не оскорбляя прошлого».

Почему пришел такой конец — не будем здесь поднимать завесу над драмой чужой жизни. Так случилось.

Идут черные предвоенные годы. «Какая скорбь в душе, какая бесконечная ужасная картина падения человека... Друг мой, чистый невинный человек погиб, но и злой недруг полетел к чертям, и самый заскорузлый себялюбец, нашедший в бюрократизме себе защиту, теперь трепещет как осиновый лист. Друг мой погиб, но я готов завтра же разделить его участь: у меня все к этому приготовлено. Так зачем же унывать: день-то, кажется, еще мой».

«Если устроюсь в квартире своей, может быть, почувствую через предметы искусства дыхание истинной культуры человечества, как чувствовал через пташек своих дыханье матери-земли».

Михаил Михайлович Пришвин переезжает наконец в московскую квартиру и поселяется там один со своими охотничьими собаками — Ладой и Боем. Пришли ли к нему в одиночестве крепость и утешение? «Вот желанная квартира, а жить не с кем... Один я... И думаешь не о работе, а о всех этих черепках».

В Москве живет у писателя милая девушка Аксюша. Ей уже лет 35. Она сирота и воспитанница суровой тетки и какого-то белорусского «старца», у которого была целая группа таких опекаемых им девушек-черничек. Писатель восхищается ею: «Аксюша — это человек, в несчастьях крепнущий радостно духом, независимый от внешнего мира». Из голодной деревни, из страшной нужды выписала жена свою племянницу обслуживать и «глядеть» за ним. «Глядеть в прямом и переносном смысле», — добродушно иронизирует Пришвин, рассказывая о своем недавнем прошлом. В переносном же смысле глядеть никогда за ним не приходилось. Если и бывала в прошлом измена, то лишь в мечте: жизнь прошла, по существу, как у юноши. Таким и прожил писатель свою долгую брачную жизнь — «полумонахом», как он сам говорит о себе иронически в дневниках.

Все было просто и удивительно цельно в жизни этого человека, такое не часто встречается у людей. В далекой юности он влюбился в девушку-студентку: это было за границей, куда будущий писатель уехал для завершения образования после тюремного заключения и ссылки за революционную деятельность. Юноша не был еще готов к осуществлению деятельной любви: влюбленность была лишь поводом для его поэтического полета — это был утонченный, трудно для самого различимый

эгоизм. Юноша рос еще лично в себя, он не был готов к переключению себя в другого: не дозрел до совершенного внимания. Внимание как основная духовная сила человека — это станет темой писателя в его зрелые годы.

Невеста с женской проницательностью все поняла и отказала. Юноша «взвился» от этого отказа еще выше — так вспоминает под конец жизни писатель, — и неудовлетворенное чувство переключилось целиком на поэзию. Он вернулся на родину. Начинающий ученый, он бросил науку и утонул с головой в искусстве. Невеста осталась в Англии, увяла и засохла конторщицей банка.

На грани душевной болезни, страдая от одиночества, непрестанно думая о потерянной невесте, Пришвин сходится с простой неграмотной «первой попавшейся и очень хорошей женщиной» и живет с ней всю долгую жизнь. Но до старости он видит во сне утерянную невесту, и бывают ему эти сны тяжелы.

Вот сидят они с женой, Ефросинией Павловной, за утренним чаем. Пришвин силится и не может отогнать воспоминание («а было это двадцать пять лет тому назад»). Ему больно так, что он невольно вслух застонал.

— Что с тобой, что болит? — тревожно спрашивает жена.

— Да ничего, — стрельнуло где-то около пятки больно, — отвечает успокоительно он. Замолчали. Снова пьют чай.

Не было никогда подмены в любви — никаких опытов: натура не позволяла. «В этом одном (то есть в любви) опыт не дает ничего, и даже наоборот: чем больше опыт, тем больше неведомой остается область любви… Так что есть область жизни, которая не открывается в опыте».

«Физический романтизм» — так определяет Пришвин под конец жизни это свойство своей натуры.

Второе лицо в дневнике писателя — женщина. Ей уже под сорок. Прошло уже несколько лет, как она рассталась с мужем. В юности у нее, как и у Пришвина, тоже начиналась большая любовь. И так же, как он, она не сумела воплотить мечту в дело жизни [1].

Это было в начале двадцатых годов, ей встретился юноша. Оба они по молодой неопытности становятся жертвами сложного переходного времени, переживаемого на их родине. В поисках истинного пути, не умея трезво оценить и понять все происходящее в России, Олег уходит в дикие еще тогда, не обжитые человеком горы, чтобы жить там сурово, нерассеянно и работать: он пишет свою систему философии, долженствующую, по его надежде, разрешить все больные вопросы современности [2].

Олег любит девушку, не смея этого понять в себе до конца: он «гнушается» браком, видя перед собой более возвышенный идеал отношений. Этот идеал был воспитан предыдущим поколением их отцов: Толстой, Соловьев — их было много, таких идеалистов, — художников и мыслителей на Руси. И, конечно, революционеры с их проповедью: «Раньше социальная революция — потом личная жизнь» — они были такими же очень русскими мечтателями-идеалистами. «Жизнь коротка, ее надо безраздельно отдать делу во имя спасения от страданий всего живого!» — так думали отцы, так думал и наш юноша, хотя мотивы его были много глубже...

Девушка всецело отражала в себе его мысли, подобно воде, отражающей свет. Юноша зовет ее за собой, чтоб вместе осуществить высокую небывалую жизнь. Но она не может покинуть мать, беспомощную, любимую...

Олег погибает. Она выходит замуж за давно добивавшегося ее руки друга. Она надеется создать жизнь «как у всех» и тем успокоить мать. Но в расчете своем (или в слабости) она терпит крушение: идеал духовной близости, владевший ее воображением с детства и подкрепленный встречей с Олегом, продолжает жить в ней как ее единственное призвание. Это та же сила, которую писатель назвал в себе «физическим романтизмом»: нет полного духовного соответствия — нет ничего. Девушка не обладает тем удивительным смирением, которое вело Пришвина в подвиге его писательской и семейной жизни. Из душевной безысходности, однако, находится выход: суровый и радикальный. Это неожиданный арест ее и мужа по ложному доносу. Их отправляют в ссылку так называемую «вольную за недоказанностью преступления», как и многих в те лихие годы.

Три года совместного пребывания в ссылке помогли ей утвердиться в мысли, что надо им разойтись. Мириться с жизнью вдвоем по одному лишь долгу она больше не в силах. Возвращаются в Москву. Она ставит мужа перед необходимостью расставанья.

Теперь ей приходится странствовать по Москве, бесплодно стараясь обменять комнату матери, чтоб поселиться с ней. Жить трудно: надо жить, сжав зубы, надо зарабатывать на хлеб, и самое трудное — надо к матери всегда приходить со спокойным лицом. Так надо.

Она работает преподавателем литературы и языка в заводской школе рабочих.

Теперь, когда оба действующие лица нам знакомы, предоставим слово им самим [3].

Мы с тобой

Дневник любви

Глава 1

Канун Нового Года

Шел конец 1939 года. В тот день уроки в заводской школе кончились по какой-то причине очень рано.

— Давайте,— сказала я своему спутнику, преподавателю математики в той же школе Птицыну,— зайдем в Третьяковскую галерею, я не была там с детства.

Мы вышли из трамвая у Каменного моста и скоро свернули в Лаврушинский переулок. Мы шли мимо большого нового дома, выросшего напротив галереи.

— Я так давно здесь не была. Что это за дом? Его выстроили художникам?

— Нет, — ответил Птицын, — я слышал, что это дом для писателей.

Еще были совсем прозрачные и голубые сумерки, но дом уже горел по всем окнам яркими огнями. Там шла какая-то своя таинственная, богатая и, конечно, совсем не похожая на нашу жизнь.

— Не падайте духом, — говорил мне тем временем мой математик, — не удается обмен, а вдруг и удастся. Жизнь щедрее нашего воображения.

— Знаете, — сказала я, — сколько ни таится в нашей судьбе неожиданностей, но некоторые вещи мы можем предвидеть с безошибочной уверенностью.

— Например?

— Например... — я замялась в поисках ответа. — Ну, хотя бы, — шутливо сказала я, — сколько ни буду я заниматься обменом, в этом доме мне не жить.

— Как знать! — засмеялся в ответ на мою шутку Птицын, и мы вошли в галерею.

Один из живущих в этом доме, это был Михаил Михайлович Пришвин, не побоялся записать в те дни в своем дневнике: «Вот у

меня прекрасная квартира, но я в ней как в гостинице. Вчера Федин позвонил мне и с удивлением сказал: — Я сейчас только узнал, что вы живете со мной в одном доме. — И целый год, — сказал я. — Целый год! — повторил он...

А раньше, бывая в Ленинграде, я заезжал к нему, и он, бывая в Москве, заезжал. И так все писатели живут, скрывая друг от друга свою личную жизнь, как будто вместе сообща делают какое-то скверное дело и в частной жизни им противно друг на друга глядеть».

«Остаются только твои семейные, да еще два-три старичка, с которыми можно говорить обо всем без опасения, чтоб слова твои не превратились в легенду или чтоб собеседник не подумал о тебе как о провокаторе... Что-то вроде школы самого отъявленного индивидуализма. Так в условиях высшей формы коммунизма люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не было».

«Говорят, комнаты в Москве подешевели, можно за пять тысяч купить. Это оттого, что высылают мужчин, а женщины, отправляясь к мужьям, ликвидируют квартиры.

Известно, что в Москве слово «дом», в смысле личного человеческого общения, заменилось словом «жилплощадь», то есть как будто слово стало бездомным и живет на площади».

Так думали в те годы все русские люди, и удачливые, жившие в роскошных домах, и те, кто подобно мне шел по улице в поисках так называемой «жилплощади».

Мы с Птицыным тут же забыли бы о нашем разговоре, но его пришлось вспомнить очень скоро — через несколько дней. Дело в том, что другой мой давний друг, Удинцев Борис Дмитриевич, зашел к маме и сказал, что он был по делам у писателя Пришвина и тот ищет себе сотрудника по изучению и приведению в порядок многолетних его дневников. Он ищет человека, которому можно довериться в наше время. Мой друг рекомендовал меня.

— Пришвин...— стала вспоминать я. И тут у меня перед глазами возник затрепанный томик, принесенный мне как-то в Сибири мужем: вспомнился олень с человеческими глазами... камень-сердце, дрожащий от морского прибоя на берегу океана, как живое человеческое сердце, белое облако на небе, похожее на лебединую грудь... Больше я ничего не знала об этом человеке.

— А какой он? — спросила я.

— Годами почти старик, но очень бодрый, я бы сказал — моложавый человек. Он не похож ни на кого, интересный, но непонятный.

— А где он живет, этот Пришвин?

— В доме писателей, напротив Третьяковской галереи, — ответил мне мой друг. — Я дам вам знать, когда Пришвин позовет вас для переговоров.

Шли дни, недели. Пришвин молчал, молчал и мой друг. Было ясно, что интересная работа прошла мимо меня. Дневник писателя объясняет причину молчанья. Записи в нем, как и всякая поэзия, не поддаются пересказу. Говоря же прозой — в душе писателя и в доме его происходила в эти дни короткая (по его словам) «репетиция» драмы, в которой судьбе будет угодно наделить меня главной ролью.

Если б знать, решилась ли бы я пойти навстречу такой «судьбе»? Так спрашиваю я себя сейчас и, по совести, не могу прямо ответить.

Хорошо, что будущее скрыто от нас, иначе мы малодушно не раз отступали бы перед главным делом своей жизни.

1940

1 января. Собрались кое-кто из немногих друзей, приехала жена, дети. Каждый год Лева [4] приносит маленькую кумирню, вывезенную им из Бухары, и жжет в ней арчу — кусочек душистого дерева. Пока щепочка сгорает, каждый из нас должен загадать про себя «новогодние» желания.

Мгновенно пронеслось во мне через все годы одно-единственное желание прихода друга, которого отчасти я получил в своем читателе. Страстная жажда такого друга сопровождалась по временам приступами такой отчаянной тоски, что я выходил на улицу совсем как пьяный, в этом состоянии меня тянуло нечаянно броситься под трамвай. В лесу во время приступа спешил с охоты домой, чтобы отстранить от себя искушение близости ружья. Нередко, как магическое слово, заговор против охватывающей меня не своей воли, я вслух произносил неведомому другу: «Приди!», и обыкновенно на время мне становилось легче, и я некоторый срок мог пользоваться сознательной волей, чтобы отстранить от себя искушение.

Тоска стала так меня донимать, что я заподозрил болезнь в себе вроде тайного рака и даже обращался к докторам.

Однажды в такую минуту я рассказал все Аксюше, и церковница посоветовала мне надеть крест. Вскоре она даже и принесла мне маленький медный копеечный крестик на черном шнурке. Но я не мог надеть на шею этот крестик, бессознательная сила отстраняла меня от пользования святыней для своих личных практических целей: крестик превращался в лечебную пилюлю моего душевного здоровья... Иное значение креста вошло в меня в раннем детстве от матери...

И вот теперь мгновенно встали во мне эти два желания в борьбе между собой: или крестик надеть и с чем-то навсегда покончить, или же сказать «приди!» и начать жизнь иную.

Крест — значило покончить. «Приди» — значило начать.

В записочке своей я написал «крест» и протянул руку к огню, но в последний момент руку отдернул, написал «приди» и записочку сжег.

Никто из сидящих за столом не мог знать, что со мной было. Итак, все сидели вместе за столом, но каждый про себя жил по-своему.

...Одиночество. Оно подчеркнуто в качестве эпиграфа ко всему дневнику коротким рассказом: «Возвращаясь домой, всегда открываю буфет и даю чего-нибудь Ладе. Зато, как бы надолго я с ней ни расставался, как бы ни радовался встрече с ней, завидев меня, она встает и глядит на буфет.

Люблю я эту собаку, у нее такие прекрасные глаза... Быть может, никого у меня и нет, кроме Лады.

— Лада моя! — радуюсь я ей. А она глядит на буфет...»

Всю долгую жизнь тоскует человек по самому насущному — по ответному слову понимающего друга: «Мое искусство как личный подвиг, как счастливую службу, никто не понял, и до сих пор не нашлось у меня ни одного ученика» (1937).

«Может, мне когда-нибудь встретится друг и я выскажусь ему до конца» (1932).

Друг этот в его представлении — женщина: «Одной сказать можно — а ее нет. Неведомый друг! как глубоко она скрывается, как невозможно трудна наша встреча! Писать именно и надо об этом.

Кончились люди, луна, звезды, огромные деревья — и я, томящийся по другу, которому надо обо всем этом сказать» (1935).

Так прошла жизнь. Но это было далеко не одно только «личное», нет! Жажда восполнения — это стоит перед каждым. В таком смысле каждый — художник, творящий пусть хотя бы себя одного. Древний миф об Адаме переживается заново каждым на собственном опыте, хотя человек может и не знать этот миф, и не прочесть о нем никогда ни одной строчки либо считать его пустой сказкой, не стоящей внимания. До чего же это удивительно, и как важно каждому об этом узнать!

Накануне нового, 1940 года записочка с призывом друга сгорела, но писатель не обольщает себя осуществлением мечты. Пора и вправду поставить крест над нею. И он действительно в первый же день нового года решается заняться собственными «похоронами» — так называет он свое решение привести в порядок архив и продать его Литературному музею.

Для этой работы он пригласил известного до революции критика и литературоведа Разумника Васильевича Иванова, который недавно вернулся из очередной ссылки и теперь находит временное пристанище у Пришвина.

Еще в петербургские годы в начале века поверил он в начинающего писателя Пришвина, оценил его дарование, писал о нем восторженно. Упрямый, принципиальный, он верен своей оценке писателя и сейчас. Пришвин тоже верен ему по-своему: он аккуратно посылал деньги в ссылку своему другу, сильно по тому времени рискуя, но сблизиться с ним по-настоящему не смог: Разумник Васильевич чужд Пришвину своими интересами политика, своими убеждениями антропософа.

3 января. Под вечер с некоторой угнетенностью, по которой догадывался о приближении приступа знакомой тоски, вышел я на улицу. Но я еще мог в этом состоянии кое о чем раздумывать. Я шел в большом городе, постоянно теряя определение в пространстве и времени, не замечая людей, машин. Наконец я очнулся. Передо мной был дом Литературного музея, куда меня давно зазывали, чтобы дешевле купить мои архивы. Я вошел, спросил В. Д. Бонч-Бруевича, которого все звали просто «Бончем». Меня провели в приемную и быстро потом, с большим любопытством пригласили в кабинет.

Я не видал этого литератора, совмещавшего в себе марксизм с интересом к народным религиозным движеньям, лет уже 30. Мы

когда-то вместе с ним попадали на такие религиозные сборища. Сектанты открывались ему в расчете, что через него их ученье станет всемирным. На эту приманку он ловил их, как пескарей на червя. Теперь это узкое исследование или коллекционирование сектантских документов обратилось в собирание архивов писателей. Я был очередной жертвой этого располневшего в привычной комнатной работе старого крота. Я порадовался, что старость сделала его благовиднее.

За его столом сидела миловидная женщина — его секретарь, Клавдия Борисовна Сурикова.

Теперь, когда я переписываю свой дневник после двух лет со дня этой встречи, мне странно думать, что она была скорее брюнетка, чем блондинка, лицо скорее круглое, чем удлиненное, с довольно широкими скулами, и глаза карие. Для меня это была грациозная блондинка с голубыми глубокими глазами... Мало того, я и теперь остаюсь при своем убеждении в реальности образа, возникшего во мне, как думаю, музыкально сочувственно из тона голоса, когда она сказала:

— Сколько мы вам писали, сколько ждали, и наконец вы пришли! Неужели вы не понимаете, что мы ваши лучшие читатели, что ваши же друзья присылают нам какие-то обрывки ваших рукописей и мы их храним. Я могу на память перечислить их... Почему вы нас избегаете?

Я хорошо знаю эту сирену, обманчивый голос в ответ чему-нибудь написанному, — эту приманку. Пережив много раз, я в конце концов удачно срывался с крючка и приманку выплевывал.

В ответ на задушевный искренний голос сирены я ответил:

— Хоть мне много лет и я довольно написал книг, но единственную настоящую книгу свою я еще не написал и уверен, что рано или поздно ее напишу. Вот почему я сам себе кажусь мальчиком и мне совестно и неприятно самому себе искать место на вашем кладбище.

— Вам не надо искать, — сказал директор, — вы большой писатель, и место вам уже давно заготовлено. А мелодичный голос сирены к этому:

— Не кладбище у нас, а цветник, и вы самый теперь у нас желанный цветочек...

Вот на «цветочек» я и попался и проглотил приманку с крючком. Мы уговорились, что я на основе своих архивов буду составлять о

себе монографию, большую книгу, и в помощь мне дадут от музея сотрудника — секретаря. Сирена подсела ко мне и вполголоса сказала:

— Может быть, и я соглашусь в этом вам помогать.

Мне это было приятно и совсем ново: не трудиться над образами и словами, а прямо пересказывать свою жизнь, свои заветные думы.

Так я попался на удочку славы: цветочек был приманкой, а большой том монографии с полистной оплатой — достаточным грузилом.

Сирена позвонила ко мне и спросила, есть ли у меня пишущая машинка? Если нет, музей мне поможет приобрести. Секретаря мне будут искать... А еще просила разрешения прийти ко мне с комиссией по Мамину-Сибиряку (во главе с племянником Мамина — Удинцевым), в которой обещался и я поработать.

Глава 2

Горбатый

4 января. Пришла ко мне комиссия из музея и с нею моя «Сирена». За чаем я им много всего наговорил с выработанной манерой, ставящей перед слушателями задачу решить, кто я? Открытый простак или хитрец, играющий в простоту. Между тем эту задачу сам же я не знаю, в какую сторону решить... Скорее всего, это кажущееся раздвоение происходит из моего живого народного языка, который встречается со школьной условностью речи среднего интеллигента: он тут спотыкается...

В моей красивой комнате «Сирена» показалась мне еще грациознее и привлекательней, чем в музее. О секретарстве она говорила очень уклончиво. А Удинцев сказал, что, если у нас дело не сладится, он пришлет мне свою хорошую знакомую. В коридоре при выходе Удинцев шепнул мне, что та знакомая, которую он мне рекомендует, человек очень надежный и ее можно совсем не опасаться. Из этого я заключил, что Удинцев понял мои высказывания этим вечером прямо, как и следовало меня понимать, простеца, и в связи с этим перешепнул мне о надежности своего секретаря.

Мою обычную тоску как рукой сняло. Значит, она была не от живота, а от безлюдья.

Когда в моем голубом кабинете побывала эта «Сирена», все вещи заметили ее, как будто она всего коснулась и завлекла в единство с собой. О, как опошлено французское «ищите женщину!». А между тем это истина. Все музы опошлены, но священный огонь продолжает гореть и в наше время, как горел он с незапамятных времен истории человека на земле. Вот и мое писательство все от начала до конца есть робкая, очень стыдливая песнь какого-то существа, поющего в весеннем хоре природы единственное слово: «Приди!»

Это «Приди!», теперь подхваченное хором всех моих вещей, вдруг подняло меня. Я подошел к своей рабочей конторке и набросал план повести, создаваемой из ежедневных записей на Волге во время разлива. Все эти этюды, как бесчисленные певчие птицы, объединились в единое «Приди!», и вокруг этой темы музыкально расположились все изображаемые в природе существа. Рассказ этот или поэма должна кончиться песней человека, единым «Приди!», собранным из всех попыток к этому поющей и ревущей твари весной.

5 января. Вчера в разгаре работы мне стало совершенно ясно, что весь труд, который я положил на все предыдущие вещи, входит в состав этого моего труда: не будь того — не было бы и этого. Отсюда я сделал заключение, что если кто-нибудь со стороны сейчас войдет в мою лабораторию, то он поймет всего меня, и не только с тех пор, как я начал писать, а даже и с тех пор, как я родился: ведь я именно таким и родился, каким я есть теперь.

Какой легкий, какой интересный труд был бы для такого исследователя написать мою жизнь! Мало того, ведь я, не говоря о размере своего таланта, совсем настоящий поэт — чистая валюта. Следовательно, по мне можно будет потом разбирать и других… И даже открывается новый метод исследования творчества, именно чтобы начинать исследовать самые простейшие вещи по возможности в процессе их созидания.

Мне казалось, что я сделал открытие, и, вспомнив о милой женщине Клавдии Борисовне, позвонил к ней и назначил встречу, уверяя ее, что это очень важно и мы с ней приступим к работе по новому методу.

— По какому же новому? — спросила она меня деловито.

— Будем исследовать, — ответил я, — не с начала, как все, а с конца.

Теперь я не сомневаюсь, что она ничего не поняла и ответила мне:

— Ну, хорошо, мы об этом поговорим при встрече.

Все шло прекрасно, я лег спать в отличном настроении, и вот снится мне, будто я, переходя перекресток или площадь, упал без сознания, и бобровая шапка моя соскочила, и ветер ее покатил. А когда очнулся — шапки моей не было.

— Где моя шапка? — спросил я милиционера и проснулся. И тут в ужасе вспомнил, что пригласил совсем незнакомую мне женщину исследовать интимнейшую свою жизнь. Казалось, будто во сне слетела с меня шапка-невидимка и я стал наконец видим сам для себя.

— Что же мне теперь делать, что говорить, когда она придет? — спрашивал я себя со стыдом. И вспомнил, что она обещала позвонить в 4 часа дня. — Позвонит, — решил я, — и я под каким-нибудь предлогом откажусь от встречи.

Вот что бывает с такими дураками, как я, и как верно оказалось, что горбатого только могила исправит! И горб мой, узел, которым связано все мое существо, есть непонятная тяга к женщине, которую я не знаю и не могу знать, — мне недоступной. И самое непонятное в том, что, будь она доступна, я стал бы сам создавать из нее Недоступную и утверждать в этом ее реальность.

В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь: она сразу согласилась, а мне стало *стыдно*, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало *скучно* быть женихом. Наконец, она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда и так сделалась Недоступной. Узел завязался надо мной на всю жизнь, и я стал Горбатым.

Не остается, конечно, сомнения, что комическая просьба по телефону к незнакомой женщине и есть какая-то форма того основного романа с Недоступной.

Пришвин бродит по большой молчаливой квартире. Он один. За ним по пятам бродит рыжий ирландец Бой, стуча когтями по скользкому паркету. Он ложится, вздыхая, у ног хозяина, как только тот останавливается, задумываясь, у окна.

В прежние годы писатель пробовал отводить душу в разговоре с собакой. Сколько раз это бывало в прошлом: «Я иногда думаю предложить эту загадку, что природа вся со своими обитателями значит (*знает*) гораздо больше, чем мы думаем, но они не только

не могут записать за собой, но даже лишены возможности вымолвить.

— Лада, милая собачка, что ты скажешь? Ну, собирайся, друг, шепни одно только человеческое слово — и мы с тобой победим весь мир зла!

Так я не раз говорю своей Ладе, когда она положит мне голову на плечо и страстным хрипом пытается высказать свою признательность и любовь».

Так длилось многие годы… Пусть это был самообман, но это была еще и сила: «Сила моя была в том, что свое горе скрывал сам от себя».

Но теперь — как ему нужен теперь человек! Он зовет Аксюшу, усаживает напротив себя в кресло. Начинается разговор:

6 января.

— Смотрю я на вас, — вы как в двадцать лет живете, таких людей бывает из тысячи один.

— Не годы — талант, дар такой душе дан, Аксюша! «Цветы последние милей роскошных первенцев полей».

— Это правда, что бывает, но все-таки надо быть осторожным. — И она известную басню о лягушке и о чурбане передала мне в том смысле, что если не будешь осторожным, лягушка на тебя залезет, как на чурбан.

— «Цветы последние…» — начал было я снова и замолчал.

— Надо беречься, — настаивала она. — Это соблазн!

— Как же бороться с соблазном? — растерянно спросил я.

— Надо вооружиться двумя орудиями: постом и молитвой, — назидательно, как старшая, ответила Аксюша.

— Значит, я, живой человек, должен просить, чтоб стать мне чурбаном?

— Да, нужно быть как дерево или камень — и тогда соблазн не коснется…

— Понимаю, — ответил я, — когда на тебя и заберется лягушка, тебе ничего не будет: по молитве своей ты превратишься в чурбан.

Аксюша удовлетворенно замолчала. Тогда в третий раз я ей сказал: «Цветы последние милей роскошных первенцев полей!»

Она собралась что-то ответить, ей было трудно, и она даже покраснела от усилий, но в эту минуту Бой бросил ей на колени тяже-

лые передние лапы, лохматую голову приблизил к лицу и просительно заглянул в глаза.

— Гулять зовет! — сказала Аксюша, наклонилась, обняла порывисто Боя обеими руками и спрятала лицо в его огненной шерсти. Разговор на этом оборвался.

«Любовь и поэзия — это одно и то же, — пишет Пришвин в дневнике. — Размножение без любви — это как у животных, а если к этому поэзия — вот и любовь.

У религиозных людей, вроде Аксюши, эта любовь, именно эта — есть грех. И тоже они не любят и не понимают поэзии».

Появление новой женщины по-новому всколыхнуло душу: он вспоминает теперь и переоценивает свое далекое юношеское прошлое. Это прошлое было связано с уверованием в переделку мира с помощью теории и вытекающей из нее прямой политической борьбы. Потом был отказ от этой борьбы и переключение всего себя на художество.

Интересна запись об этом: «В свое время я был рядовым марксистом, пытался делать черновую работу революционера и твердо верил, что изменение внешних условий (материальных) жизни людей к лучшему непременно приведет их к душевному благополучию... Когда же пришла общая революция и я услышал, что моя родная идея о незначительности личности человека в истории в сравнении с великой силой экономической необходимости стала общим достоянием и этому научают даже в деревенских школах детей, то я спросил себя:

— Чем же ты, Михаил, можешь быть полезен этому новому обществу и кто ты сам по себе?

Так вопрос о роли личности в истории предстал передо мной не как догмат веры, а как личное переживание. Мои сочинения являются попыткой определиться самому себе как личности в истории, а не просто как действующей запасной части в механизме государства и общества... Так разбираясь, я открыл в себе талант писать. И мне открылось, что в каждом из нас есть какой-нибудь талант, и в каждом этом таланте скрывается, как нравственное требование к себе самому, вопрос о роли личности в истории.

Перечитывая свои дневники, я узнаю в них одну и ту же тему

борьбы личности за право своего существования, что существо личности есть смысл жизни и что без этого смысла невозможно общество. С другой стороны, прямая заявка личности на право своего бытия невозможна, потому что нет объективного нравственного критерия личности и заявка личности является заявкой всеобщего своеволия, вульгарного анархизма. Остается признать два параллельных процесса в постоянной борьбе».

Теперь на фоне прошлого встает перед Пришвиным картина настоящего: что из всего этого вышло?

7 января. Писатель должен обладать чувством времени. Когда он лишается этого чувства — он лишается всего, как продырявленный аэростат. Прошлый год «Комсомольская правда» имела лицо, а теперь все кончено: все газеты одинаковы. И этот процесс уравнивания, обезличивания неумолимо шествует вперед, и параллельно ему каждое существо залезает в свою норку, и только там, в норке, в щелке, в логове своем, о всем на свете позволяет себе думать посвоему.

Среди ранних писем своих я нашел такое, из которого ясно видно, что в то время я был именно тем самым безлико-общественным существом. И вот этот процесс пошел без меня. И все мое писательство, как борьба за личность, за самость, развилось в этой норе. Мало того, я тогда еще предвидел, что со временем и каждый войдет в свою нору. И вот это теперь совершается. И в этой всеобщности моего переживания и заключается секрет прочности моих писаний, их современность.

...Я теперь вспоминаю смирение свое, и молчание, и непонятность утраты своей личности, и упование на будущее, как на беременность... И сейчас время именно такой всеобщей беременности.

8 января (ночью). Я думал: любить женщину — это открывать в ней девушку. И только тогда женщина пойдет на любовь, когда ты в ней откроешь это: именно девушку, хотя бы у нее было десять мужей и множество детей.

Я сказал ей по телефону, что она Марья Моревна, а музей — это Кащей Бессмертный.— А вы? — спросила она. Я замялся и ответил: — Я, конечно, сам это выдумал. Раз выдумал Марью Моревну,

буду Иваном Царевичем. Но есть сомнение, не попадет ли Марья Моревна от одного Кащея к другому? — Нет, — ответила она, — я готова работать с Иваном Царевичем.

9 января. Разумник Васильевич обрабатывает мой архив. Они с Бончем хотят меня заживо похоронить в литературном склепе. Я же, не будь дураком, архив-то архивом, а жизнь жизнью, Клавдию Борисовну все-таки у них отобью: будут помнить, как они кота хоронили!

10 января. Когда моя новая сотрудница ушла от меня, Аксюша спросила:

— А кто у нее муж?

— Не знаю, — ответил я, — не все ли равно, какой у нее муж.

— Напрасно, я бы спросила.

— Твое дело, но мне совсем это не нужно.

В следующий раз тем не менее мне почему-то захотелось спросить, кто у нее муж. Но мне было совестно спросить, я не посмел.

На этот раз мне она очень понравилась. Так мы дошли до Устьинского моста. Теперь мне очень хотелось ее спросить о муже, и вопрос этот на мосту чуть не слетел с моих губ. Он замер, когда я услыхал за собой тяжелые шаги. Мне даже не хотелось обертываться, как будто я уже знал: это шел позади Командор — ее муж. (Дальше я сочиняю.) Я проводил свою даму, и, когда повернулся к мосту, мне стало страшно: Командор стоял на мосту. И только я с ним поравнялся — он тронул меня пальцем, и я полетел с моста в черную воду, дымящуюся от стужи.

Я плаваю и спрашиваю вверх Командора:

— Долго ли мне тут плавать?

— Нет, — ответил он, — недолго. Вода холодная, — как дурь твоя пройдет, так все и кончится.

11 января. Таков ли мой талант, чтобы мог заменить молодость, такая ли это женщина, чтобы могла удовлетвориться талантом? Кому-то может заменить… Но та ли эта женщина — неизвестно.

12 января. Она была у меня, и я прочел ей и подарил написанный рассказ на тему записи о сне. Рукопись она забыла умышленно или случайно на столе.

13 января. Непосланное письмо «К. Б.! стало ясно, что из работы над моими дневниками у нас ничего не выйдет. Мало того! Моя повесть по всем швам затрещала. Очевидно, что поезд подошел к моей станции, и приходится выходить из вагона. Уношу от нашей встречи новую уверенность, что Марья Моревна существует и мой колобок недаром бежит по земле. Всего вам доброго».

(Рядом на полях приписка): Политика вместе с самим государством, по общему мнению, является неизбежным злом. Но политика в отношениях личных между людьми является просто злом и может быть устранена. Поэтому письмо посылать незачем. Это ведь только предлог для возобновления. Все понятно: против Командора невозможно идти. Рассказом о «Командоре» все и кончилось, и не нужно ни письма посылать, ни креста надевать. Да! не нужно ни письма посылать, ни креста надевать: все прошло, как неважная репетиция.

Пришвин уезжает на охоту в Загорск, чтобы выйти из-под гипноза своей «дури» — ненужного чувства. В поезде он записывает только одну строку: «Не страшно, что будут судить, а страшно, что при общем смехе еще и оправдают!»

В тот же день запись: «Павловна сразу же ни за что накинулась на меня как лютый зверь. Вот какая болезнь, что человек звереет… Чем больше будет болеть Павловна, тем мне нужно быть к ней внимательней».

«Внимание есть основной питательный орган души, всякой души одновременно: великой и маленькой…»

Во всех ошибках прошлого в отношении близких людей Пришвин винит себя одного, он вспоминает: «В любви моей была спешка эгоистическая с неспособностью вникнуть в душу другого человека». Это относит он одинаково и к жене, и к отказавшей ему некогда невесте. Всю ответственность за ошибки прошлого, весь нравственный труд — взять на себя одного и нести одному.

«Трудно гонять, и снег глубок. Свету заметно прибавилось, и свет уже не тот: вечером Голубой стоит у окна…

Эта боль не оттого, что не нашлось мне ответа, это старые раны я растравил и сам себе вскрыл. Теперь буду зализывать.

Я сознательно работаю и освобождаюсь от своего плена. Побе-

да моя не в том, что я зализал свою рану, а в том, что воспользовался этой болью и написал и, мало того, прочитал и тем объяснился:

— Вот, мол, какая моя любовь, я, мол, не для себя только и не для вас — *я для всех* люблю.

Такая победа — есть победа над самим собой.

В этом опыте я как в зеркале увидал всю свою жизнь, как я из боли своей сделал радость для всех. Я увидал весь свой *путь к свободе от себя*, к выходу из себя, утверждению прекрасного мира вне себя.

Но, позвольте, разве во всей-то природе не к тому же самому приводит любовь, чтобы выйти из себя, то есть *родить*, значит, начать нечто новое в мире? И вот она, весенняя песня «Приди», — этот призыв к человеческому страданию и необходимости принять его в себя, чтобы создать нечто новое в мире…

Самка, получив семя, несет яйцо и садится. Самец, окончив песню, линяет…»

Пришвин возвращается в Москву. В дневнике появляется тема скорой войны. Она, как предчувствие, перекликается с темой борьбы за личность свою — за любовь, стоявшую на пороге его жизни.

Жизнь уже начинает показываться в удивительных подобиях.

Аксюша ходила с Боем на улицу, видела там много детей, играющих в войну, и сказала: «Будет война!» И так объяснила мне: в прежнее время, бывало, заговорят о войне, и детям до того становится страшно, что не могут уснуть. Тогда старики начинают детей успокаивать:

— Война пойдет, но к нам не придет, нас война боится.

Мало-помалу успокоятся дети и уснут, а все-таки снится страшное и не хочется войны.

— А теперь, — сказала Аксюша, — дети играют в войну и так охотно стреляют чем-то друг в друга, падают будто раненые, их подымают, уносят. И все это — в охотку. А если детям не страшна война — значит, будет война!

Катастрофа с продовольствием в Москве очень напоминает 1917 год. Но тогда хотелось бунта, теперь это как смерть личная: теперь не пережить. А впрочем — что будет, то будет.

Сегодня по радио сказали, наконец, об угрозе со стороны Швеции и Норвегии. Сразу же объяснилась нехватка хлеба вследствие расстройства транспорта. Борьба с очередями должна быть такая же, как с самым лютым врагом: пораженческие идеи именно тут-то и возгораются. Вот, например, разговор наш сегодня с Разумником Васильевичем о его сочувствии английской дипломатии:

— А японцам, — сказал я, — помните, в 1904 году?

— Я тогда не японцам сочувствовал, а ненавидел царизм.

— А в 1914-м году, помните, как вы сочувствовали немцам?

— Тоже из ненависти.

— В таком случае, как же не подумать, что теперь англичанам вы сочувствуете тоже из ненависти?

— А разве вам это нравится?

— Нет, но я физическое место человека люблю — растительность, ландшафт, особенно язык и народ, его творящий. Я за это стою, а не из любви к Сталину. Впрочем, Сталина считаю в высшей степени подходящим ко времени человеком.

14 января. В ту войну 1914 года у нас каждого в личном своем деле брала оторопь. Мы думали, что личное дело наше надо бросить и ход событий потом укажет, что нам делать. Теперь же, напротив, каждый в личном своем деле от хода событий не ждет перемен и держится за свое личное дело, как за последнюю реальность. Вот почему, несмотря на надвигающиеся события, Разумник Васильевич разбирает мой архив. Вот почему на завтра назначил я встречу с новой сотрудницей вместо отступившей Клавдии Борисовны.

Вся страна сейчас сидит на картошке, кроме армии, живет впроголодь и мечтает о своем угле... Но есть же где-то в глубине еще люди? По-видимому, есть! Из Рязанского края приходят торфушки в домотканой одежде, бородачи *со своим* выражением...

Глава 3

Голодный повар

16 января. Минус 49° с ветром с утра. Устроил «смотрины» новой сотруднице. Ее зовут Валерия Дмитриевна. Посмотрели на лицо — посмотрим на работу. В свете этом опять встала боль с такой силой, что почти всю ночь не спал.

Вот и вся запись нашей первой встречи. Моего выражения лица (даже торфушки его имеют!) Михаил Михайлович не заметил. Самое приглашение меня было лишь «маневром» его романа с «Сиреной». Больше того, холодным внешним зрением Пришвин увидал во мне только недостатки наружности. Пришвин легко записывает вслед за Разумником Васильевичем обо мне: «поповна». Впоследствии, любящий и потому возмущенный собою, Михаил Михайлович выскабливает в рукописи дневника «ужасное» слово, которое я сейчас восстанавливаю по памяти.

Моя же запись о первой нашей встрече и событиях, ей предшествовавших, такова:

Борис Дмитриевич Удинцев, старинный друг, зная трудную мою жизнь, хотел устроить мне работу у Пришвина над его дневниками. Он ручался за меня, «как за себя», но Удинцева Михаил Михайлович видел тоже впервые — «маминская комиссия» Литературного музея приехала просить его выступить с докладом.

Был в тот вечер у Пришвина Удинцев вместе с В. Ф. Поповым, нашим общим другом — юристом и секретарем музея К. Б. Суриковой.

— Юродивый, — сказал Удинцев, — и этим прикрывает богатство, опасное по своей самобытности в наше время.

— Себе на уме, — решил скептик Попов.

— Не понимаю его, — заметила осторожно Сурикова. — Но вот одно: хитрец всегда говорит с оглядкой, а у него я этого, как ни старалась, не заметила.

Суриковой было поручено меня сговорить, и я была очарована изяществом и тактом этой женщины. Но Клавдия Борисовна сама заинтересовалась работой, и мне было ею по телефону деликатно отказано.

Я, пожалуй, обрадовалась отказу — боялась! Мне представлялась какая-то блестящая свободная жизнь писателей — баловней судьбы, совсем не похожая на знакомую мне жизнь загнанных лошадей — средних русских интеллигентов.

Но соблазн был так велик: вырваться из плена, в который я была взята жизнью в последние годы, жить с матерью и заботиться о ней! И как страстная, тайная, невыполнимая мечта — найти по душе работу… В какую щель я была загнана, как мало мне, в конце концов, было надо, и к этому малому, казалось, открывается дверь.

В воображении стояла книга Пришвина «Жень-шень» — единственная порадовавшая меня за последние годы. (Правда, я почти не читала тогда новую литературу.) И вот узнать ее автора, вместе работать, найти, может быть, равную дружбу, без жалости, без компромиссов... И хорошо, что он старый семейный человек, что на голодную душу я не запутаюсь вновь со своей женской податливостью.

И вот, после долгого молчанья, Удинцев срочно вызывает меня на деловое свиданье к Пришвину.

16 января 1940 года был самый холодный день самой холодной московской зимы. Именно этот день погубил в нашей полосе все фруктовые деревья. На улицах стояла густая морозная мгла, сквозь ее волны огни встречных машин проплывали, как светящиеся рыбы и как рыбы скользили мимо дрожащие тени людей, будто шли мы по дну океана.

На Каменном мосту при ветре калоши Бориса Дмитриевича замерзли, не сгибались и, отделяясь от ботинок, на каждом шагу зловеще стучали ледяшками о мостовую. У меня ноги начали неметь, но калоши передо мной продолжали мерно стучать, и я не решалась покинуть малодушно своего спутника.

Недавно еще я удивлялась этому новому дому, выросшему напротив Третьяковской галереи, не зная, что это дом писателей и что я туда скоро попаду. Но сейчас ни дом, ни нарядный лифт, ни стильная «павловская» передняя, ни голубой кабинет со старинной мебелью красного дерева не производили на меня впечатления: я сидела напротив хозяина, еле сдерживая лязг зубов от озноба. Колени мои прыгали под столом.

Автор «Жень-шеня» откинул назад седую кудрявую голову и, коренастый, на редкость моложавый для своих лет, выражал уверенность в себе и пренебрежение. Рядом сидел Разумник Васильевич, измученный человек, но сохранивший, несмотря на все свои жизненные катастрофы, необычайный апломб: иметь при нем свое мнение решался, как я увидела после, один только Михаил Михайлович. Впрочем, он оказался в существе своем добряком, отмеченным двумя основными качествами (или слабостями): всезнанием и принципиальностью. Из-под черной профессорской шапочки на лысой голове был неподвижно направлен на меня огромный сизый нос, а косые близорукие глаза меня холодно изучали: я приглашалась ему в помощь.

Я сидела под белой венецианской люстрой, кружевной, как невеста, и знала, что в ее свете на мне рассматривают каждый волос, каждое пятно. Сердце мое защемило: я поняла, что надежды мои были впустую, я попала в чужое место (не забудьте, читатель, какое время переживали мы тогда на нашей «сталинской» родине).

— Вот с чем вам придется работать, — сказал Пришвин, выдвигая огромный ящик секретера, набитого тетрадями. — Это документы моей жизни, и вы первая их прочтете.

— Но как же вы можете их доверить незнакомому человеку? — вырвалось у меня. Пришвин смотрел на меня выжидательно. А меня уже захлестнуло, и поздно было остановиться. — Надо же для такого дела стать друзьями, если приниматься за него, — сказала я, бросаясь в холодную воду и сознавая, что гибну.

— Будем говорить о деле, а не о дружбе, — безжалостно отрезал он.

После мы пили чай с коньяком, я пила, чтоб согреться, но не согревалась, не пьянела, и озноб не проходил.

Я рассказала неосторожно о своей встрече с поэтом Клюевым в Сибири.

— Ничего не понимаю в стихах. Настоящая проза может быть куда поэтичней, например, моя, — вдруг точно с нарезов сорвался Пришвин.

Тут-то мелькнула мне впервые догадка, что все в нем — нарочитая рисовка, что под ней совсем иной человек. Но его уже не было видно: мелькнул и исчез, и потому на душе у меня не становилось легче.

Я пообещала прийти работать через три дня. В передней, уходя, я спустила чулок и посмотрела на ноги: они сильно распухли и горели как в огне. Аксюша, девушка в платочке, повязанном по-монашески, привела меня в свою комнату и дала надеть толстые деревенские шерстяные чулки. Тут, в комнате прислуги, я точно попала наконец в свое общество, нашла в себе мгновенно точку опоры, решила, что больше сюда не приду, и от всего сердца расцеловала Аксюшу.

— Как-то из себя выпрыгивает, — сказал после нашего ухода Пришвин, — с места в карьер дружбу предлагает...

— И Клюева знает, и в Сибири была... Надо бы вам ее проверить, — предостерег осторожный Разумник Васильевич.

— Мучаешься ты, а все этот Борис Дмитриевич, — говорила мне

мама, когда я лежала у нее с обмороженными ногами. — К чему было водить тебя по такому морозу... Ну, как у вас там, вышло?

— Очень мы друг другу не понравились, — ответила я.

— Ну, значит, что-нибудь из этого выйдет, так всегда бывает — наоборот, — раздумчиво заметила мать и вздохнула. Я поняла: она боялась новых разочарований, новой ломки кое-как налаживающейся жизни.

Запись М. М-ча в день нашей встречи суха, сердце его от меня на замке и глаза меня не замечают. Через неделю он записывает в дневнике мысль, не отдавая себе отчета, что она — не его: она высказана была мной, а им лишь бессознательно подхвачена. Запись была следующая:

«Подлинная любовь не может быть безответной, и если, все-таки, бывает любовь неудачной, то это бывает от недостатка внимания к тому, кого любишь. Подлинная любовь прежде всего бывает внимательной, и от силы вниманья зависит сближение».

Лишь при перечтении дневника через два года (в Усолье) М. М. отмечает на полях: «Это сказала мне В. Д. в последнее наше свиданье, но я настолько ее еще не замечал, что слова ее записал как свои».

Так начинает прорастать семя будущих отношений, живет оно, как и все в природе, сначала невидимо в земле. Никто о нем не знает. Когда же росток выходит на свет, он оказывается большой любовью.

Пройдет еще 14 лет. Каждое 16-е января М. М. будет отмечать новой записью в дневнике, как вехой на общем нашем пути. Запись последнего года — 1953-го: «День нашей встречи с Л. [5] («праздник отмороженной ноги»), за нами осталось 13 лет нашего счастья. И теперь вся моя рассеянная жизнь собралась и заключилась в пределах этих лет. Всякое событие, всякое сильное впечатление теперь определяется как бегущие сюда потоки».

...Нет, не счастьем надо было бы назвать нашу трудную с Михаилом Михайловичем жизнь. Она похожа была скорее на упорную работу, на какое-то упрямое, непонятное для окружающих строительство. И не росток это зеленый наивно выглядывал из-под земли, — нет, я ошиблась, сказав так. Это выплывал из тумана Невидимый град нашей общей с детства мечты и становился действительностью, такой, что, казалось, можно ощупать рукой его каменные стены.

«О Китеж, краса незакатная!» — эта тема в начале века прозву-

чала в искусстве и создала величайшую русскую оперу: «Сказание о невидимом граде Китеже». В ней глубинная родная тема всплыла на поверхность, достигла нашего слуха в творении Римского-Корсакова с тем, чтоб снова затонуть. Но она коснулась скромного начинающего в те годы писателя в повести «У стен града невидимого» и уже не замолкала для него никогда.

В 1937 г., поселяясь среди шумного современного города, он записывает: «Я хочу создать Китеж в Москве». В 1948 г. 6 октября: «Мне снилось, будто мать моя в присутствии Л. спросила меня, что я теперь буду писать.

— О невидимом граде, — ответил я.

— Кто же теперь тебя будет печатать? — спросила Л.

— Пройдет время, — ответил я, — и я сам пройду, и тогда будут печатать. Может быть, еще ты успеешь и поживешь на мою книжку... Мать смотрела на меня внимательно, вдумчиво» [6].

Мы готовились встретить шестнадцатое января 1954 года, но в этот день на рассвете Михаил Михайлович скончался.

Один и тот же день встречи и расставанья, как две стены, замкнувшие круг двух жизней. Эти жизни были истрачены целиком на «безделье», так может сказать иной, — да, на поиски смысла... Чтоб найти этот смысл, надо было опереться хотя бы на одного единомысленного друга, встретить его на безнадежно запутанных дорогах жизни.

Самым точным было бы сказать (знаю, это прозвучит наивно): эти двое были захвачены жаждой совершенства для себя и для всех, совершенства, единственно необходимого и в то же время безусловно недосягаемого... И тем не менее только идеал совершенства является источником силы, даже у ребенка, когда он лепит пироги из песка и из камешков возводит здания. Это знает каждый, кто хоть издали прикосновенен творчеству.

...Вернемся к прерванному рассказу.

Итак, Пришвин условился со мной о работе, а сам занялся подготовкой к выступлению в Литературном музее о Мамине-Сибиряке. Конечно, не только из-за Мамина задумал он это выступление, а чтоб спасти отношения с женщиной, которые сам же старательно разрушал.

Он размышляет о Мамине в самом ему сейчас близком плане — любви к женщине:

«Есть писатели, у которых чувство семьи и дома совершенно бесспорно (Аксаков, Мамин). Другие, как Лев Толстой, испытав строительство семьи, ставят в этой области человеку вопрос. Третьи, как Розанов, чувство семьи трансформируют в чувство поэзии. Четвертые, как Лермонтов, Гоголь, — являются демонами его, разрушителями. И наконец (я о себе так думаю) — остаются в поисках Марьи Моревны, всегда недоступной невесты».

Но как только писатель взялся за перо, чтоб набросать конспект выступления, на бумагу выливается поток мыслей, перехлестывающий чувство к женщине.

Он мыслит уже как бы из самого сердца современности. Эта современность — террор сталинского режима внутри страны, а извне — угроза мировой войны.

Что может спасти Родину? Только любовь к отечеству — патриотизм. И Пришвин, начав о любви к женщине, незаметно для себя говорит уже о любви к Родине, к России.

Размышления о Мамине вытекают из только что приведенного нами разговора Пришвина с «пораженцем» Разумником Васильевичем. Пришвин ставит в нем тему о строительстве жизни в настоящем — о «доме жизни» взамен недоступной мечты. Назревает тема будущей поэмы «Фацелия», причем это будет не только Муза его личного очага, но и душа его Родины — России.

Дом жизни — Родина — должен расти из настоящего, как бы тяжело оно нами ни переживалось.

Всякие новые «революции» есть только новые «претензии на трон» и ведут к разрушению жизни.

Тогда, до революции, интеллигенция смотрела в сторону разрушения, а не утверждения своей родины. Революционеры все это хорошее (любовь к отечеству) откладывали на будущее. Казалось, жизнь впереди, за перевалом. Мамин же чувствовал органический строй русской жизни, от которого уходили и к которому возвращаются теперь ее блудные дети (интеллигенты). Теперь дальше идти некуда, и лучшее разовьется из того, что есть, что под ногами, и вырастет из-под ног, как трава.

Не надо гоняться за Александром Невским или выкапывать «Слово о полку Игореве». Достаточно развернуть любую книгу Мамина, понять — и родина будет открыта.

Современники не поняли Мамина потому, что в любой его книге культура Отца — Патриотизм.

Каждый из нас в лице своем гений, единственный в своем роде: один раз пришел и в том же лице никогда не придет. В лице своем каждый гений, но трудно добиться, чтобы люди лицо это узнали. Да и как его узнать, если не было еще на свете такого лица? И вот почему критики, если появляется на свет оригинальный писатель, прежде всего стараются найти его родство с каким-нибудь другим, похожим на него писателем. Бывает удачное сравнение, бывает и совсем нехорошо... Более неудачного определения Мамина как русского Золя я не знаю...

Мне грозит лицо Тургенева, Чехова.

Почему же у нас не узнали Мамина в лицо? Я отвечу: потому не узнали, что смотрели в сторону разрушения, а не утверждения Родины.

В эти дни я лежу у мамы с обмороженными ногами и для Пришвина не существую. Он в эти дни продолжает борьбу со своей влюбленностью. Он наконец находит орудие для борьбы: это орудие — бескорыстие.

18 ЯНВАРЯ. Победа будет, я знаю, что для этого надо. Для этого надо вперед исключить себя из обладания благами этой победы: я не для себя побеждаю.

Голодный повар — как это может быть? А вот бывает же: поэт похож на голодного повара; он, создающий из жизни обед для других, сам остается голодным. И что ужасно — как будто в отношении писателя так и должно быть: сытым писателя так же трудно представить, как голодным повара.

20 ЯНВАРЯ. «Поповна» в тот мороз отморозила себе ноги и не пришла на работу. Вот не везет мне с дневниками! Не утопить ли их в Москве-реке? Не надо закрывать глаза, что и Поповна, и мое выступление о Мамине, к которому готовлюсь, относится к неизбежным маневрам романа.

Самое близкое повествование Мамина мне — это «Черты из жизни Пепко», где описывается «дурь» юности, и как она проходит, и как показывается *дно жизни*, похожее на дно мелкой городской речки: среди камешков лежит чайник без носика, эмалированная кастрюля с дырочкой и всякая дрянь.

Когда показывается — является оторопь от такой жизни, и му-

чительная «дурь» становится так хороша, и хочется вернуть ее себе. Делаются серьезные усилия, и «дурь» становится действующей силой, поэзией писательства.

«Пепко» есть свидетельство, что Мамин — настоящий поэт, независимый от внешних условий.

21 ЯНВАРЯ. Не верь, что свободен от ненужного чувства, если даже обнажится *дно* души: это временное, а душа снова наполнится. Сегодня впервые только начало показываться равнодушие — и вот это начало есть начало конца и начало обычной свободы.

Только вижу по этому примеру, как же мало взял я у жизни для себя, как дал этому чернильному червю насквозь иссосать свою душу.

Это была женщина не воображаемая, не на бумаге, а живая, душевно-грациозная, и я понял, что настоящие счастливые люди живут для этого, а не для книг, как я; что для этого стоит жить и что о нас говорят потому, что мы себя отдали, а о тех молчат, потому что они жили счастливо: о счастье молчат.

И вот захотелось с этого мрачно-насиженного трона сбежать.

Как прыжок косули в лесу — прыгнет, и не опомнишься, а в глазу это остается, и потом вспоминаешь до того отчетливо, что взять в руки карандаш и нарисовать. Так вот пребывание этой женщины в моей комнате: ничего от нее как женщины не осталось,— это был прыжок... Но как счастливы те, кто не пишет, кто этим живет.

В этот день впервые появляется в дневнике одумка: «А и вполне возможно, что это был соблазн, что это путь не к себе, а от себя».

Это запись о привычной «свободе», которую писатель считает высшим благом и от которой, однако, его тянет, как с трона, сбежать...

22 ЯНВАРЯ. Вчера была вторая встреча с новой сотрудницей. Валерия Дмитриевна. Фамилии не знаю.

Вот и вся запись обо мне. Я же записываю в этот день так: «Во время моей болезни М. М. звонил мне, выражая сочувствие, и непременно просил прийти. Шла я с двойным чувством — отталкивания и надежды. Надо признаться — неприятно было, что в

больших пустоватых комнатах будут заметно-уродливы мои забинтованные ватой ноги.

М. М. собирался с сыном на охоту. Это был новый для меня человек: несколько растерянный, неряшливо одетый, добродушный, весь открытый. Усадил, рассказывал про охоту, напал на любимую тему о «родственном внимании», и неожиданно сказал:

— Вот мы вас летом к своей компании... будем жить в палатке, научим охотиться, правда, Аксюша?

— Конечно, — ответила сияющая Аксюша, — только вот как Павловна посмотрит?

— Да, это верно, — помрачнел М. М., — что делать-то? — обратился он к сыну-охотнику.

— Присоединим по дороге, — ответил сын, скупой на слова. И они уехали.

Я осталась одна с машинкой и рукописями. Аксюша принесла мне почтительно на подносе чай, но на этом церемония окончилась: она уселась рядом, и я должна была выслушать ее историю. Она родственница Павловны, жила в деревне, в большой нужде, теперь выписана к М. М., когда тот задумал жить отдельно от семьи в Москве. И вот она за ним «ходит».

— За ним как за малым ребенком: у него все открыто для людей — и душа, и деньги. «Вася (прозвище дал), пойди, возьми сена, где оно там!» Это значит — денег возьми. Не запирает и не считает. Я, конечно, копейки его не возьму. Очень он со мной жизнью доволен. А Павловна у нас «сурьезная». Приедешь к ней, гостинцев от М. М. привезешь — она головой не кивнет. Так и уедешь. Это она серчает, что ему со мной хорошо... Вот только жалованье маленькое положили! — заключила Аксюша со вздохом.

В тот вечер я многое поняла, и мне стало не по себе: тут все разваливается, и я буду свидетелем катастрофы...

Кто бы мог подумать, что кроется за красным деревом, ампиром и Паном!

23 января. Под влиянием рассказа В. Д. о том, как сейчас живут хорошие люди: Удинцев и другие... И автомобиль, и хорошая квартира в каменном доме хороши сами по себе, и против этого ничего невозможно сказать. Плохо только, когда ездишь на машине, то отвыкаешь понимать пешехода, а когда живешь в каменном доме, не чувствуешь, как живут в деревянном.

Тогда остается владельцу машины и каменной квартиры жить с владельцами, а не с пешеходами, не с теми, кто в стужу прозябает в деревянном сквозном домике.

Бессонной ночью Пришвин подводит итоги. Но это уже не о «Сирене». Это — о загадке всей прожитой жизни. Он записывает свою «рабочую теорию» в качестве отгадки.

(В три часа ночи в постели.) Вечная невеста моя Марья Моревна. Если бы она стала моей женой, то у нас бы с нею были дети, и все бы у нас стало как у всех и как всегда будет, пока на земле живут люди. Вот отчего так и хочется быть как все и жениться на Марье Моревне. Но на пути естественного моего желания превратить Марью Моревну в жену и создать с ней то самое, что было и есть у всех людей, приходит Кащей и через недоступность Невесты создает небывалое.

Вот схема моего личного творчества, краткая история собрания моих сочинений.

Постскриптум: И это сделал именно Кащей Бессмертный (он же Люцифер — ангел ложного света), что охотник, очарованный Им, не схватил Прекрасную Даму за копытце.

Так ли это? Пришвин и сам не уверен, что мечту взамен жизни создал именно Люцифер. Иначе почему же он, протестуя только что против «физического романтизма», в то же время сознает, что это есть «нечто лучшее» в нем:

«И вот еще со мной как бывает,— я хочу и не могу как все, и это худо и стыдно мне. Натура не позволяет... Мать моя была такая, и во мне есть страх перед этим. Одним словом, что я о себе думал хуже, чем есть я сам».

Требование полноты чувства без разделенности на плоть и на дух, когда только и возможна без упрека совести полная человеческая близость, — это и есть у Пришвина «физический романтизм». Всегда ему не хватало с женщиной какого-то «чуть-чуть», и потому он не соблазнялся никакими подменами чувства, не шел ни на какие опыты — он оставался строг и верен долгу в семье.

...Вот и всплыла наконец на поверхность наша общая тема, и жизни наши в ней совпали. Эта тема — загадка: где в любви свет лжеца — Люцифера и где истинный свет? Это же самое Пришвин

вскоре назовет «загадкой о запрещенной двери». Отныне мы будем вместе загадку разгадывать, искать к этой двери ключ и залечивать наши общие старые раны: у меня от Олега, как и у него от невесты,— они еще тогда сильно болели.

Но вот, прожив после того долгую жизнь, я говорю себе сейчас и так пытаюсь снять вечный камень с сердца: винить в этих ранах некого. Это объяснит убедительно, великодушно и многократно новый участник нашей, давно, казалось бы, ушедшей в прошлое, юношеской любви. Это сделает Художник.

Он войдет в наше прошлое, перестроив властно все временные законы; расставит людей, сняв с них маски, на их подлинные места. С божественной данной ему властью он сделает бывшее небывшим и так оправдает наши страданья — он спасет наши души.

...А пока, в эту ночь на 25 января, он сам еще не подозревает, к какому великому спасительному делу призывает его судьба. Пока в эту ночь он подводит итоги собственной жизни. Он даже не знает, что это протекает его последняя одинокая ночь.

Глава 4

Рождение темы

25 января. Я ей признался в мечте своей, которой страшусь, прямо спросил:

— А если влюблюсь?

И она мне спокойно ответила:

— Все зависит от формы выражения и от того человека, к кому чувство направлено. Человек должен быть умный — тогда ничего страшного не будет.

Ответ замечательно точный и ясный, я очень обрадовался. После того мы говорили друг другу о прошлом, и она мне рассказала историю своей жизни, какую я еще ни от одной женщины не слышал: такой несчастной жизни я, пожалуй, не знаю, разве Владимира Чернова, просидевшего всю жизнь *по ошибке* за брата своего Виктора, «селянского министра» [7].

За ужином я попросил ее посмотреть на купленное у спекулянтки сукно, от которого я был в восторге. Она отняла из сукна одну ниточку и размотала: в одной нитке оказалось две, одна шерстяная, другая бумажная.

— Очень плохое сукно, — сказала она, — и вы заплатили втрое дороже.

— Не жалею об этом, — ответил я, — уж очень велико счастье, что у меня есть секретарь, который знает, где *настоящая* нитка, и в обиду меня больше не даст!

Мы с ней пробеседовали без умолку с 4 часов до 11 вечера. Что это такое? Сколько в прежнее время на Руси было прекрасных людей, сколько в стране нашей было счастья, и люди и счастье проходили мимо меня. А когда все стали несчастными, измученными, встречаются двое, не могут наговориться, не могут разойтись. И, наверно, не одни мы такие...

Моя запись той же встречи.

В тот вечер растаял лед. Голубая теплая комната, а на улице лютый мороз. Широкое небо в окна, и город глубоко внизу, как поле светляков, уходящее к краям горизонта.

Шум городской не доносился в тихий переулок на шестой этаж. В тот вечер я рассказала ему историю своей жизни. Вскоре я принесла ему письма Олега. Это была лишь малая их часть, потому что после его смерти и моего брака я сожгла все, что мне было утешительно, и оставила себе только укорное для совести.

Рассказ мой поразил и восхитил Пришвина. Образ Олега, мысли его стали с тех пор постоянными спутниками Пришвина до последнего дня его жизни, что видно по дневникам.

Но я рассказала тогда ему не все: ссылка с мужем, жизнь в Сибири, разрыв, жизнь в настоящем — все это я утаила. Почему? Это была привычка опасаться, но еще и страх быть не понятой моим новым другом.

Все было между нами непрочно, таинственно, и манило, и не терпело лишних прикосновений.

Мы сидели рядом на диване. Он вдруг отстранился от меня и стал разглядывать — я поняла, *впервые.*

— Так вот откуда у вас седые волоски! — воскликнул он. — Сын мой Петя в прошлый ваш приход сказал мне: «Удивительное у этой женщины лицо, вдруг меняется, словно ей двадцать лет, а ты сказал, что пригласил пожилую секретаршу. И она действительно немолодая женщина».

Какие у вас тонкие руки — жалостно смотреть. А бедра широкие, как у зрелой женщины. Из-за бедер, конечно, из-за бедер Ра-

зумник вас «поповной» назвал! А кто-то, наверно, русалкой считает. Неправда это! Вы похожи на свою детскую карточку. Вам 12 лет.

— Никто нас с вами не видит — ни вас, ни меня, — неожиданно заключил он.

Я не решилась подхватить эту мысль и молчала. Он долго ждал, тоже не решился продолжить и неловкость молчанья нарушил тем, что перешел на новую «внешнюю» тему.

— Квартира эта — только чтоб редакторов обмануть, что, мол, у меня как у всех людей «с положением». Мне самому это чуждо. Но признаюсь, вещи красивые меня радуют. Я жил всегда бедно, неустроенно, совсем недавно получил возможность украшать свою жизнь. Видите эту венецианскую люстру — я сначала в нее влюбился, как в молодости влюбился в невесту. Недавно купил в комиссионном тросточку с золотым набалдашником. Возможно, с ней гулял лет сто тому назад какой-нибудь Чаадаев. Поверите ли? На ночь клал с собой в постель, чтоб не расставаться и вспомнить, как только утром проснусь.

В тот вечер в ответ на мои признания он пересказал мне свою жизнь, и мне стали понятны загадки: дырка на пятке (домашние туфли без задников открыли этот секрет); при роскошных стенах и мебели — дешевая канцелярская пепельница; кашне на столике в передней — грязноватая тряпочка, свернутая в жгут; это сукно, купленное втридорога у спекулянтки; Аксюша в креслах «ампир», с тоненькой косицей на спине, прикрытой монашеским платочком; вся случайность и ненужность этого ампира «как у всех» — вся *нищета* этого богатого дома.

Не этим ли объясняется: то напыщенность, то детская доверчивость: «Вот я весь перед тобой, ничего не знаю, помоги мне! Может быть, я совсем не хорош и никому не нужен».

Это дошло до меня во второе наше свиданье, когда он рассказывал, как в лесу сидит неподвижно и вызывает к жизни лесные существа: они проходят мимо, принимая его за камень. Рассказал, а после вдруг испуганно и доверчиво поднял на меня глаза: это были глаза ребенка... Голодный добрый ребенок, а не хитрец, не юродивый и совсем уж не «Пан»!

Так вот именно я и жил и об истине не думал: истина была в моей совести. В моей походной сумке всегда лежит достаточная тя-

жесть, и потому я никогда для здоровья не прибегаю к спорту. Здоровье у меня в сумке, а истина — в совести.

— И вас это удовлетворяло?

— Я так жил…

Я сказал своему секретарю:

— Мое самохвальство вас дергает?

Она ответила:

— Нет, я начинаю уже привыкать.

В. Д., копаясь в моих архивах, нашла такой афоризм: «У каждого из нас есть два невольных греха: первый, это когда мы проходим мимо большого человека, считая его за маленького. А второй — когда маленького принимаем за большого». Ей афоризм этот очень понравился, и она раздумчиво сказала:

— Что же делать, у меня теперь своего ничего не осталось — буду этим заниматься (работой над архивом, как своим делом).

Ко мне подходит то, что есть у всех и считается за обыкновенное, и потому они этого не замечают. А мне это приходит как счастье. Так было у меня с желудком, что сорок лет я курил и нервные узлы, управляющие желудком, были закупорены. А когда я бросил курить, то узлы откупорились и организм стал действовать на старости лет как у юноши. То же самое происходит теперь и с душой: моя душа открывается…

26 января. Ночь спал плохо. Встал как пьяный, но счастливый тем, что «дурь» мою вышибло так основательно, что как будто ничего не было. Если и вправду выйдет, как мы сговорились, то работать буду во много раз больше. Ко мне пришла со-трудница.

Я переписывала рассказ, которым начнется в будущем поэма «Фацелия», в нем автор цитирует Пушкина: «Что наша жизнь? — одна ли, две ли ночи…»

Он осторожно входит в комнату, делая вид, что ему надо найти что-то в конторке, задерживается у моего плеча, заглядывает, о чем я пишу.

Я оборачиваюсь и, мельком взглянув, читаю на его лице усилие «не мешать». Он борется с собой, выходит из комнаты и снова появляется на пороге, молчаливый, ожидающий.

28 ЯНВАРЯ. Меня та мысль, что мы к концу подошли, не оставляет. Наш конец — это конец русской бездомной интеллигенции. Не там где-то, за перевалом, за войной, за революцией, наше счастье, наше дело, наша подлинная жизнь, а здесь — и дальше идти некуда. Тут, куда мы пришли и куда мы так долго шли, ты и должен строить свой дом.

Разглядывая фигурки в заваленном снегом лесу, вспоминал, как в молодости Она исчезла и на место ее в открытую рану как лекарство стали входить звуки русской речи и природы. Она была моей мечтой, на действительную же девушку я не обращал никакого внимания. И после понял, что потому-то она и исчезла, что эту *плоть моей мечты* я оставлял без вниманья. Зато я стал глядеть вокруг себя с родственным вниманием, стал собирать дом свой в самом широком смысле слова.

И, конечно, Павловна явилась мне тогда не как личность, а как часть природы, часть моего дома. Вот отчего в моих сочинениях «человека» и нет («бесчеловечный писатель» — сказала обо мне Зинаида Гиппиус).

Он настолько подходил ко мне от души — с вниманием к моему внутреннему существу, что начисто не замечал во мне наружности — женщину.

Приходит день — и он одной строчкой исчерпает все поставленные ему и мне многолетние вопросы «физического романтизма», причинившего нам в прошлом столько страданий, он пишет: «родственное внимание создает на земле святую плоть».

Через полгода он вспоминает: «При первой встрече меня впечатлила только душа ее... Значит, бывает же так у людей, и только у людей так, что вначале обнимаются только души, соединяются, проникаются и начинают медленно облекаться в живую плоть, и так происходит не совокупление, а воплощение.

Я могу припомнить, как у моей Психеи создавались ее прекрасные глаза, как расцветала улыбка, блестели и капали слезы радости. И поцелуй, и огненное прикосновение, и весь огонь, в котором единился в одно существо разделенный грехом человек».

1 ФЕВРАЛЯ. Часто ей говоришь, кажется, что-то очень значительное, а она слышит — не слышит. Это значит — она это знает.

Замирает в серьезной задумчивости, спросишь о чем-нибудь, и она словно придет откуда, засмеется открыто и от своего же смеха покраснеет.

Приходила моя Обезьяна [8], и я почувствовал, что перед кем-нибудь, стоящим духовно выше меня, я, претендующий на какую-то роль через свой талант, тоже являюсь подобной же обезьяной. Не тем ли обыкновенная человекообразная обезьяна так неприглядна нам? Именно тем, что перед внутренним сознанием Настоящего человека мы все более или менее обезьяны.

Вспомнить, как дергалась В. Д., когда я хвастался своим мастерством.

Пришла В. Д. (Веда) и сразу взглядом определила, что я со времени нашего последнего свиданья духовно понизился. Она очень взволновалась и заставила меня вернуться к себе и даже стать выше, чем я был в тот раз.

Это забирание меня в руки сопровождается чувством такого счастья, какого я в жизни не знал.

— У вас была с кем-нибудь в жизни дружба? — спросила она.

— Нет, — ответил я.

— Никогда?

— Никогда. (И самому даже страшно стало.)

— Как же вы жили?

— Тоской и радостью.

Аксюшу она тоже сразу покорила, и так мы отправились путешествовать в неведомую страну вечного счастья. Теперь все пойдет подругому, и я твердо знаю, что если и тут будет обман — я умру.

А впрочем, позвольте, кто и когда меня в жизни обманывал? «Уверчив!» — сказала Аксюша. А как же иначе, как не на риск, можно было в моем положении выбиться в люди?

Рыба и та в поисках выхода тукается о сетку и, бывает, находит выход. Я тукался множество раз, и мне было иной раз очень больно. Но какой же другой путь для меня, как не «уверяться»? И вот я дотукался, вышел на волю и, не веря открытой воле, говорю о возможности обмана и смерти. Какой же вздор! Смерти нет — я не умру.

Мое письмо, написанное ему в эти дни.

«Дорогой Михаил Михайлович, сегодня я проснулась, вспомнила, на уроки идти только к четырем часам, значит, можно спокойно посидеть одной в тишине. Вот тут-то я и почувствовала, как устала за последние дни и как нужно побыть одной.

Лежу, читаю «Жень-шень», и так захотелось с Вами перекинуться словом, — терпенья нет дожидаться первого числа! В одиночестве легче общаться с другим человеком, чем в присутствии его. Почему это? Может быть, встретив человека, вкладываешь в первое ощущение много своего, того, что тебе дорого, что ты ищешь, и уже говоришь больше со своей душой, а не с человеком. Поэтому такую полноту и дают мысленные беседы — в воображении.

А может быть, и иначе? Может быть, есть редкие и счастливые встречи, когда открывается настоящая сердцевина человека (та, о которой мы с Вами говорили, что сохраняется в нас всю жизнь, в которой — вечная детскость, которая если утратится, значит — душа погибла, и т. п.). Она скрыта наружностью, привычками, характером, нервами, страхом перед жизнью, даже одеждой. А мы ее вдруг увидим и в нее поверим. Поэтому общение с нею легче в отсутствие человека с его житейскими наростами, за которыми скрыта сердцевина. Вот почему я и хочу сейчас с Вами беседовать.

Если моя теория верна — Вы поймете и обрадуетесь. Если я ошибаюсь — хорошо ли молчать из трусости, из самолюбия не сделать сейчас того, ради чего и живем мы на свете? Об этом я сейчас у Вас же прочла, это меня умилило и заставило бросить книжку и взяться за перо. Вы пишете о Лувене: «Культура — в творчестве связи и понимания жизни между людьми». Культура, — говорю я, — это полнота жизни, стремление к совершенству, к настоящему счастью.

«Что наша жизнь — одна ли, две ли ночи». Нет, гораздо больше: в драгоценных минутах ощущения чужой души как своей и через это — в ощущении единства со всем живым, что способно любить, а способно к этому все. После первой встречи, когда я лежала с обмороженными ногами, я тоже взялась за «Жень-шень». Читать мне было мучительно, потому что тот близкий человек, каким был для меня автор до личного знакомства, вдруг раздвоился. Я никак не могла связать этих двух людей. Ведь первый был своим — не только я его, но и он меня понимал, ничего с ним не было ни страшно, ни стыдно: мы жили с ним в одном мире, где нет ни разо-

чарований, ни расставаний, ни смерти. А второго я не могла понять, и, еще печальней, — он не понимал меня.

Я ведь была в менее выгодном положении: не имела средств ему открыться. Его-то я узнала через его же книгу: в творчестве человек открывается невольно. А я — как могу себя открывать я Вам? Ведь это возможно или через художество, или через святость (нравственное совершенство — там тоже кора сгорает). А у меня — ни того ни другого.

Вот почему так трудно было читать «Жень-шень», будто подмена произошла, как только во сне бывает. После второй встречи все вернулось. И хоть многое мешает, но это отбрасываешь: внутри есть тот свой человек. И если не выйдет до конца как надо — значит, сами виноваты. Самое главное, что это возможно — проникновение в тот мир, в котором существует наше единство и свобода, и рано ли, поздно ли, все в него войдем. А пока надо благодарить за проблески этой радости и к ней готовиться.

Еще мне хочется Вам сказать о другом: Раз. Вас. как будто замариновался в той уже прожитой жизни, в которой жили люди нашего круга и которая себя изжила. Недаром он специализировался на обработке архивов. Одной ногой он все еще в «духовных салонах» прошлого. Все это нужно было когда-то, но сейчас этого нам мало. Кто не хочет быть современным, тот попросту ленится действовать, ленится брать на себя свой крест. А пассивное страдание, вроде сидения в тюрьме, никакому богу не нужно. Нам мало уже слова «культура», нам надо нечто более цельное, простое, осязаемое, может быть, даже суровое.

Я бы не хотела, чтоб вчера к нашему столу пришел Блок, Мережковский и другие из тех людей. Мне тяжела замороженность Р. В-ча в симпатиях к гностицизму и его присным: Белому, Штейнеру; его вкус к схематизму в вопросах духовной жизни (наш разговор о треугольнике Штейнера, двух путях — от ума к сердцу и обратно). Ведь на самом деле это не так: не с той «точки зрения» надо подходить к реальной, живой жизни нашего духа.

Но не поймите, что я браню Р. В. Он чистейший, благороднейший человек и трогательный даже: к нему всей душой можно привязаться, только с ним нельзя взаимно расти (можно лишь сохраняться, это тоже немало).

Возможно, это печать петербуржцев. Она — от большой формальной культуры. Меня в присутствии таких людей подмывает

созорничать, — каюсь! Вот в прошлый раз я из-за этого ляпнула про нашего общего знакомого Зубакина [9] — «спер», а потом пожалела, но было поздно. На самом деле он «спер» у самого себя: он читал мне те четыре строчки, что и Вам, выдавая каждый раз за экспромт:

А там на севере олени
Бегут по лунному следу
И небо нежную звезду
Качает у себя в коленях.

Забыла прошлый раз напомнить Р. В-чу: Ваш Розанов со слов ап. Павла пишет где-то: «Святые будут судить мир». Куда же деть в таком случае все 40 томов этого доктора (Штейнера), ради изучения которых хотел бы Р. В. еще раз «воплотиться»?

Еще я хотела сказать об Аксюше. Вы, наверно, неприятно удивились, что я сразу сказала ей «ты»? Я потом мучилась (не тем, что сказала, а что Вас сбила с толку этим). У меня это вышло опять-таки потому, что с такими людьми сразу рушатся преграды. Вот и она мне сказала «ты», и мы с ней расцеловались на прощанье.

Ну вот, мой отдых окончен. И письмо кончаю. Перечитывать некогда. «Но мне порукой Ваша честь», что Вы его не покажете ни Р. В., ни Аксюше. Вам троим только и дел, что перемывать косточки ваших гостей: вы люди свободные.

Я очень довольна нашей беседой. У меня даже глаза мокрые, но это «умиление» — от больных нервов и так же мало стоит, поверьте, как умиление некоторых постников, происходящее от телесной слабости».

Так началась наша дружба, как напряженный и радостный друг ко другу интерес. Ни о разводе, ни тем более о браке мы и не помышляли. Мы жили только настоящим, грелись в его свете, никому, кроме нас двоих, не видимом, никого ничем не оскорбляющем. Снова повеяло на меня духом свободы, поэзии — таинственным гением жизни, ушедшим со смертью Олега.

Все было еще между нами непрочно, и в то же время это была полная жизнь.

Куда бы я ни пришла в те дни — к матери ли, к друзьям — все на меня дивились и только не спрашивали: «Что с тобой?» Но я молчала. Я боялась спугнуть свое новое счастье. От счастья, именно в эти дни, я начала думать о том, чтоб отдать сполна свой долг: по-

святить остаток жизни не одной матери, но и покинутому мужу. Теперь мне это казалось легкой жертвой.

Хорошо помню, как я встретилась с ним на улице, рассказала о новой работе у писателя, о новых людях на моем пути. Он слушал с интересом, радостно улыбался и все время вставлял в мой рассказ: «Записывай, непременно записывай за ними — это ведь реликты эпохи!»

Сколько бы так длилось, к чему бы привело? Но судьбе было угодно подхлестнуть события. Чтобы сделать их понятными читателю, надо напомнить, что в те годы каждый третий среди нас считался филером, — так говорили опытные люди, и это подтверждалось практикой жизни.

Вот почему 3-го февраля Пришвин записывает в дневнике два таинственных слова: «А если?»

Глава 5

«А если?»

Изучая письмо В. Д-ны, нашел, что логика ее не покидает ни на мгновение: очень умная, а я совершенный дурак («уверчив»). Но вот выступает контролер доверия — Разум (он Разумник Васильевич) и спрашивает: «А если?» И какая кутерьма подымается, и «сладкий недуг» исчезает в одно мгновение... и становится ясным, что то мое одиночество, на которое я жаловался моему новому другу, и было и есть средство моего спасения и разгадка для всех удивительного, что такой ребенок мог сохраниться в наше время.

Р. В. говорит: «А если?»

— Но разве вы не видите, какая она?

— Вижу, да, а все-таки «а если?».

— Но, ведь если думать всегда о «если», с места сдвинуться нельзя.

— Почему же? Вот Аксюша, — она, несомненно, не «а если», — отвечает мне Р. В.

5 ФЕВРАЛЯ. Дни 3—4 февраля были самые трудные, я ужасно страдал. Р. В. рассказал мне о женщине, которая вышла замуж за человека, подлежащего исследованию. Восемь месяцев спала с ним, все выведала и предала. И под влиянием рассказа Р. В.-ча, не видя

Веду, я представил себе, будто стало невозможным поправить малодушие: «Ушла и больше не придет никогда!» И мне остается «прочее время живота».

Вот тут-то во мне все закричало: «Спасать, немедленно спасать!» И я написал тут письмо ей.

О, как я люблю это чувство покаяния, из которого воскресает мой настоящий человек!

Мое письмо. «После каждой новой встречи Вы чем-нибудь возвышаетесь в моих глазах, и чем-нибудь перед самим собой я становлюсь ниже, и в чем-нибудь я отступаю. Не только архивы мои — драгоценные (казалось мне раньше) дневники, но и книги в моих глазах теряют прежнее значение, и последние остатки вкуса к славе исчезают. Самоуверенность моя исчезает. Предвижу, что на этом пути «Пришвин», каким он был, и вовсе кончится. Напротив, все Ваше в моих глазах вырастает, и даже некоторые, раньше казалось, некрасивые черты преображаются и становятся для меня дороже красивого (родинка отцовская). Мне бы хотелось эту любовь мою к Вам понять как настоящую молодую любовь, самоотверженную, бесстрашную, бескорыстную. Могу ли? Пусть даже сейчас не могу, но я хочу бороться за это новое свое большое счастье и быть победителем. Я хочу понять процесс моего самопонимания в собственных глазах как разрушение всего того, что должно неминуемо рано или поздно разрушиться. Я хочу понять возвышение Ваше в моих глазах как силу жизни, которая должна воскресить меня после неминуемого разрушения оболочки моего самообольщения. Я хочу быть лучшим человеком и начать с Вами путешествие в неведомую страну, где господствует не томящееся «я», как теперь, а торжествующее и всепобеждающее «мы». Дорогая моя, не будем откладывать наше волшебное путешествие, сейчас же, в эту самую минуту, станем обдумывать радостный путь, уговариваться между собой в строгом неуклонном выполнении труднейших условий нашего будущего торжества.

Вашими же словами пишу, моя желанная, «хорошо ли молчать из трусости, из самолюбия не сделать того, ради чего и живешь-то на свете?». В Вашем существе выражено мое лучшее желание, и я готовлюсь, не скрою, с некоторой робостью к жертвам в личной эгоистической свободе, чтобы сделать Вам все хорошее и тем самым выше подняться и самому в собственных глазах.

Все, о чем я сейчас пишу, вышло от Вас, и я не хочу лицемерить и спрашивать Вас о том, согласны ли Вы со мной отправиться в дале-

кое путешествие, в неведомую страну и там создать себе Дом. Это от Вас же пришло ко мне, и мне даже кажется, будто я только записываю, и весь труд мой состоит лишь в том, чтобы точно было выражено согласие с Вашим желанием и сознанием. Никто больше Вас не понимает так сильно, что талант мой — есть сохраненная сила молодости, и я Вам назначаю его как невесте. И пусть в нашем союзе никогда не будет того, от чего погибает всякий обыкновенный союз: у нас никогда не будет в отношении друг ко другу отдельных путей, наши души открыты друг для друга, и цель наша общая.

Пишу это Вам в предрассветный час дня моего рождения».

Перечитывая через пять лет это свое письмо, Михаил Михайлович замечает: «Вспоминаю свое письменное предложение ей. До сих пор я этим гордился: мне казалось, что я совершил героический поступок — прыгнул на пролетающее мгновение и остановил его. Другой стал бы раздумывать и пропустил бы свое мгновение. Я не раздумывал, а взял и достиг своего.

Однако, если теперь подумать об этом, я мог бы сделать гораздо лучше (спокойней). Всем бы от этого было бы хорошо. Но, скорее всего, у меня не хватило бы духу на такое любовно-внимательное устройство жизни. И я, чувствуя слабость, и совершил этот бросок.

Факт героизма тут утверждается победой Дон-Кихота в его борьбе с Гамлетом. Это несомненно хорошо, и надо этим гордиться. Но только надо иметь в виду, что это выход человека отчаянного, боящегося пропустить свое мгновение жизни. Тут есть, может быть, и что-то ребячье: доверчивость бессмысленная и священная. Это чувство есть в русском народе, и назвать его можно словом «уверчивость». (Так Аксюша и сказала тогда: «Уверчив!») Но есть в том же народе идеал поведения человека с любовным вниманием.

Такой человек не прыжком движется, а ступает твердо и четко при свете любовного внимания. Вот с точки зрения этого идеала я теперь критикую свое письмо. И мне досадна теперь сама форма письма, какая-то безумно-рассудочная».

Через 12 лет: «В записях 1940 года есть что-то тяжелое и нудное: мы тогда не летели, не плыли, а делали сами новую жизнь, и дневники того времени иллюстрируют любовь как дело жизни, но никак не любовь-песню».

Так ли? — спрашиваю я сейчас. Иначе нам было невозможно в те дни, как только трудиться подобно двум чернорабочим,— столько хламу было накоплено двумя — и все это надо было раскопать и разгрести! Мы работали всерьез, навсегда.

Да, это была не юношеская встреча. И это была в те дни, вероятно, еще не любовь — мы лишь осторожно и требовательно к ней приближались: мы не должны были больше ошибаться.

«Кто обманывается в ком-нибудь, тот и другого обманывает. Значит, нельзя обманывать, но нельзя и обманываться». Так запишет М. М. через полгода.

Снова вспоминаю: я работала, а М. М. входил и выходил, останавливаясь за моим плечом. Он хотел мне что-то сказать, но я не прекращала стука машинки и не оборачивалась к нему и сдерживала собственное желание заглянуть ему в лицо.

И тогда он сам притронулся к моей руке, остановил ее и сказал: «Я хочу сделать для вас только самое хорошее. Помните, мне от вас ничего для себя не нужно».

Так за всю мою жизнь в прошлом говорил мне только один Олег: та же широта, смирение и та же сила.

На следующий день я пришла на работу к М. М., и он прочел мне свое письмо.

7 февраля. Веда превратила день моего рождения в день именин. Но водицы холодной, о которой я писал в «Командоре», я все-таки изрядно хватил.

Чего стоило одно то, что вскоре после моего взволнованного чтения она сказала о возможности проверки моего чувства тем, что будет призван третий секретарь, и если при этом возникнет опять роман, то и окажется, что, хотя моя любовь и возвышенна, и героична, и все что угодно, только… безлика.

Это не только «вода холодная» — это раскрытие всей моей любви, изображенной в «Кащеевой цепи»!

Похоже, она даже не только холодной водой окатила, но вытащила меня на солнечный свет, как старую залежалую шубу, повесила на забор и принялась выхлестывать из нее моль.

Сознание как молния простегнуло меня сквозь всю жизнь, но она была расположена принять меня всего, каким я у нее за это время сложился. И потому никакого стыда я не почувствовал, напротив, проще простого она позволила себя поцеловать и, самое глав-

ное, рассказала мне о себе все самое сокровенное. Больше дать нечего — все! И все так просто и ясно, и в то же время письмо было разгромлено до конца.

Припоминаю, что после разгрома письма я даже пролепетал в полном смущении о своем «приданом», что я не с пустыми руками пришел к ней, а принес и талант, и труд всей жизни, что талант этот мой идет взамен молодости.

— А я разве этого не знаю? Я первая обо всем этом сказала и пошла навстречу.

Вообще, похоже было, что экзамен я сдал на три (удовлетворительно), но она сумела уверить меня, что это же и слава Богу, что, может быть, тройка-то и к лучшему, и жить с ней по-нашему времени, может быть, лучше будет, чем с пятеркой.

Замечательно, что в этом нашем любовном объяснении деятельное участие принимала Аксюша, что самое письмо с «предложением» было прочитано предварительно Аксюше! Вообще же, введение в роман Аксюши меня как-то высоко поднимает над тройкой, этим я горжусь и выправляюсь.

А когда все трое с Аксюшей во главе на радостях хватили по рюмке, стали весело хохотать, мой стыд совершенно кончился.

Так мы все трое смеялись и радовались, все трое в чем-то чрезвычайно похожие и близкие, и глупенькие, и пьяненькие, и замечательные. Самое же главное, что до того был предрассветный час и мне все чудилось, а теперь, на рассвете нашей дружбы, стало показываться все как есть и жить захотелось больше, чем раньше.

Все главное вышло у нас из дневников: в них она нашла настоящее свое собственное, выраженное моими словами. И вот отчего, а не потому, что боюсь, не отдам никогда и эти тетрадки в музей: это не мои тетрадки, а наши.

Когда я сказал Аксюше, что Веда мне сильно нравится, и прочел ей письмо, она мне так ответила:

— Помните, эта женщина прислана вам, М. М., и она вас приведет куда следует. За вашу доброту она вам послана. Почем мы знаем — может быть, наступает страшное, трудное время и душа ваша становится на место.

Я не знала еще тогда небольшого секрета Михаила Михайловича о его недавнем прошлом: «третьим секретарем», о котором я

сказала иронически в ответ на признание (но и самым первым по времени), была эта самая Аксюша! Но в девственном достоинстве своем она даже намек отклонила и превратилась в «бумажную» героиню очередной повести «Неодетая весна».

В один из тех вечеров мы ужинали и позвали к себе за стол Аксюшу выпить немного винца. Она сидела веселая и хорошенькая. Зашел разговор о наших летних планах — путешествии втроем на грузовике. И М. М. предложил: «Давай, Аксюша, попросим В. Д-ну к нам переехать и жить с нами!»

С Аксюши хмель соскочил, она озабоченно нахмурилась.

— Павловна никак не допустит! — сказала она.

— А если я сама поеду к Е. П., все объясню, и она поймет и, может быть, меня сама полюбит?

— Нет, не знаете вы ее, и не показывайтесь ей, — хмуро ответила Аксюша и пошла громыхать тарелками на кухне.

9 **февраля**. Казалось, все ясно между нами и от «а если» не осталось и следа. Однако пережить его было Веде не просто. Она пришла сегодня желтая в лице: ночь не спала, точно как и я в ночь под 5-е, и тоже из-за этого «а если», в котором я каялся ей. И мне-то, мне, после всего принесла в доказательство своей невиновности пачку писем к матери из Сибири!

Я сказал:

— Есть научная отвлеченность — это решето, в которое проливается жизнь, и остаются на решете одни книжки. А то есть и поэтическая отвлеченность с Прекрасной Дамой и рыцарством.

— Тут ничего не поделаешь, — это в существе самой поэзии, — сказала она.

— Мое письмо к вам именно и есть чистый продукт поэзии, и вот отчего при встрече с жизнью возник юмористический образ третьего секретаря. Не думаете ли вы, что и у Олега была та же поэзия, только по молодости с неблагополучным концом, в результате чего явился тоже в своем роде «третий секретарь» — муж?

Она задумалась.

Как бы то ни было, а письмо мое к ней и его реализация 7-го февраля — есть замечательнейшее событие в моей жизни, день огромной силы, поднимающий на своих могучих плечах все годы моей жизни с того детского дня, когда появилась Марья Моревна.

Через три года Пришвин запишет так: «Это было в детстве. Я — мальчик и она — прекрасная молодая девушка, моя тетка, приехавшая из сказочной страны Италии. Она пробудила во мне впервые чувство всеохватывающее, чистейшее, я не понимал еще тогда, что это — любовь. Потом она уехала в свою Италию. Шли годы.

Давно это было, не могу я теперь найти начала и причин раздвоенности моего чувства — этот стыд от женщины, с которой сошелся на час, и страх перед большой любовью.

И вот Маша опять вернулась в Россию. Однажды я, взрослый мужчина, решился признаться Маше в этом мучительном раздвоении. Загадочно и лукаво улыбаясь, она ответила:

— А ты соедини.

— Но как же это соединить?

Еще загадочнее улыбаясь, она мне ответила:

— Но в этом же и есть вся трудность жизни, чтобы вернуть себе детство, когда это все было одно.

Тут ничего не может прийти со стороны, в этом же и есть твое личное дело, — соедини, и создашь любовь настоящую, без стыда и без страха».

Прекрасная моя Маша вскоре после того умерла. Прошло много лет, и всегда, когда я бываю в духе и вспоминаю Машу, пытаюсь сказать ей что-нибудь хорошее. Но только после упорной борьбы всей моей жизни два года назад мне удалось выполнить ее завет-поручение, и совесть моя стала спокойна».

Надо вспомнить всю задумчивость, все выражения, все реплики Веды после чтения письма.

— Скажите же, чем отличается поэзия от любви, — спросил я. — Не есть ли это одно и то же?

— Поэзия — это с мужской точки зрения, — ответила Веда, — а у женщины это — всегда любовь. Радость от встречи того и другого, боль — от подмены: вот и вся наша женская жизнь.

— Трагедия Олега была в том, — сказал я ей, — что поэзия лишила его необычайной силы внимания. У вас же не хватило силы ждать.

— Значит, сущность любви состоит в ожидании? — спросила она.

— Да, — ответил я, — вы же сами Мастер любви, вы должны это знать: Мастер любви учит ждать.

Не знаю, любит ли она, как мне хочется, и я люблю ли ее, но внимание наше друг ко другу чрезвычайное, и жизнь духовная продвигается вперед не на зубчик, не на два, а сразу одним поворотом рычага на всю зубчатку.

Рассказывая мне о своей детской попытке с Олегом перестроить вселенную, она мне была прекрасна, как снежная вершина. Но она смотрела в мою долину с такой же любовью, как я смотрел на ее вершину. И я думал о том, что самой вершине ее высота не кажется такой привлекательной, как нам из долины. С высоты, напротив, снежным вершинам долины кажутся необыкновенно прекрасными.

Вкусив той высоты с Олегом, она и не может найти себе пару.

— Вы, Мастер любви, скажите, пройдет ли когда-нибудь эта острая тревога?

— Она и проходит, разве вы не чувствуете?

— А дальше?

— Остается, конечно, высота.

10 ФЕВРАЛЯ. Читал в музее о Мамине. В зале было чисто чрезвычайно и бездушно. Никогда еще не было в моей памяти собрано столько людей, заменяющих друг друга, как вчера...

Клавдия Борисовна была высокая, без форм, лицо простовато. Куда что девалось? Она похожа была чем-то на моль, пыльную бабочку, живущую в книгах.

Читал и чувствовал полное отсутствие слушателя: музей как музей. Но я хорошо отдохнул от «пьянства»; сладкий яд мало действует, в голове дятел долбить перестал. Но тем сильней поднимается в душе «песнь песней», и стоит глаза закрыть, как в этой пустой чистоте зала среди заменяющих друг друга людей невидимо появляется Незаменимая с ее вечной задумчивостью, обрываемой улыбками.

К. Б. отозвала меня в сторонку:

— Чем объяснить, М. М., ваше молчание? Я все жду звонка...

— А я ждал вашего.

— Но мне было как-то неловко первой после рассказа...

— Да вы забыли даже рукопись, подаренную вам, у меня на столе.

— Что вы! я не посмела ее взять сама, напомнить, уходя, о вашем подарке. Мне бы так хотелось ее иметь!

— Я пришлю ее вам.

— А работа?

— Я же писал вам — у меня новая сотрудница и она отлично справляется. Вы же сами мне ее предлагали и, помните, сказали: «Все хорошо, только у нее бородавки».

— Помню. Ну что же, они вам не мешают? — спросила она с натянутой улыбкой.

— Нет, вы ошиблись, это не бородавки — это у нее две маленькие родинки, — ответил я.

Глава 6

Сладкий яд

11 февраля. При духовной заостренности она может видеть малейший налет оскорбляющей похоти, — почему она не оскорбляется?

Она любит или, может быть, очень хочет любить. Иначе как же понять, что она так снисходительна к моим бытовым слабостям? Это удивительно, до чего она мирится с моим бытовым образом. Наверно, очень хочет открыть меня настоящего, увериться в нем и полюбить.

Нет любви без борьбы. Да, мы будем бороться, но только не мериться между собой силой бесплодно, как в романах, а одной слаженной силой бороться против врага нашего союза.

Она сказала, что сдерживает себя, и я тоже стал себя сдерживать благоразумно. Итак, когда она ушла, я взял ее изгрызанный карандашик и тоже погрыз, а резинку понюхал: захотелось узнать, так ли ее резинка пахнет, как все. Резинка почему-то вовсе не пахла.

Наступило время испытания силы душевной, и вопрос стал вплотную, как удержать эту любовь. Сладкий яд проник в мою кровь, и все загорелось, и сгорает синеньким огоньком.

Никакая работа мне не может быть заменой этого чувства. Работа — это уход, побег от себя.

Сегодня еду в Загорск на целую неделю. Вернусь 15-го. Перед отъездом написал Веде: «Милый друг, простите, что без совета с вами решил уехать в Загорск на неделю, чтобы продвинуть конец повести.

Я признаюсь вам, в отношении работы (временно, из-за чего-то большего, чем писательство) я утратил власть над собой. Мы прошли с вами наш предрассветный час, и давайте соберем на время родное нам одиночество.

Много, много есть о чем подумать про себя и собрать. Трудно было найти, но, повторяю, не менее трудно будет сохранить найденное (знаю по опыту своему в искусстве слова).

К счастью, в эту последнюю ночь я почувствовал в себе силу для борьбы с каким-то сладким ядом любви без утраты чистой радости сближения. Милый друг, будьте милостивы всегда ко мне, как были 7-го февраля, держите меня на 3 с минусом и окорачивайте, когда я буду лезть на пятерку.

Против сладкого яда превосходное средство — работа моя над «Песнью Песней». Я сейчас придумал конец «Неодетой весны» так написать, чтобы весна разрешалась песней, и в песне будет эта чистая радость. Этот конец «Неодетой весны» будет *наш* и будет значить как первый намек на создание совсем иной «Песни Песней». Я всю жизнь думаю об этой песне, всю жизнь пишу и жду, жду, жду... Так перекидывается у нас мост к вашему чудесному Олегу...

Теперь дело: в верхнем из трех ящиков секретера вы найдете все дневники, расположенные в порядке Р. В-ем. Просмотрите, не нарушая порядка, поверхностно все, выберите себе тетрадку и валяйте цветным карандашом (я разрешаю), разделяйте козлищ от овец: уничтожать козлов буду сам, а овец выводите из дневников.

Ах, вот еще неприятность какая вышла: что я поздно вечером шел по лестнице с дамой под руку, произвело сенсацию у лифтерш и дошло до Аксюши. Явилось опасение, что о ночных прогулках донесут в Загорск. Между тем Аксюша (монашка) в борьбе моей за свободу держится стороны моей. Если же Загорск получит то одиозное сведение, то Аксюшина душа сделается ареной борьбы.

— Тогда, — сказала Аксюша, — я буду вынуждена стать на сторону Загорска.

Я объяснил Аксюше, убедился, что она это не из ревности, а действительно из-за страха возможной борьбы...

Ваши письма к матери в бисерном мешочке мне очень дороги. Когда начинаешь мыслью блуждать и потом неверно придумывать, стоит только поглядеть — в эта желаемая и обыкновенная жизнь в священном ее выполнении становится заманчивой, и самому начинает хотеться сделать свою поэзию такой же простой и значи-

тельной, как жизнь дочери, посвященная больной и старой матери, и как все такое настоящее.

12–13 февраля. Записи в Загорске. Чтобы оградить наш слух от собачьего лая, Веда перед носом Аксюши закрыла кабинетную дверь: Аксюша не поняла, обиделась и так жаловалась мне:

— Если бы эта любовь была духовная, то зачем закрываться? Духовная любовь не стыдится. Нас у о. Н. (старца) было двести девушек, и мы не стыдились друг друга.

— Хорошо, — ответил я, — ты права, духовная любовь не стыдится. Но зачем же духовный человек допускает в сердце подозрение, что раз люди уединяются, значит, там стыд? Тебе нравится молиться на народе, а мне одному. Так же и любовь.

— Если любовь духовная, то всем от нее становится хорошо, а от этой, от этой, — сказала она, — только двоим!

— Ты не знаешь, что может родиться для всех от нашей любви… Но почему нам нельзя, наконец, любить друг друга не твоей, духовной, и не греховной, а просто человеческой любовью?

Мы говорили о будущей нашей литературной работе.

— Почему мы, — сказала она, — говорим о работе?

— О работе радостной, — сказал я, — работа в наслаждение.

— Хорошо,— возразила она,— но почему же непременно видеть радость в занятиях литературой? Можно, например, в море искупаться, и это будет, по-моему, еще радостней.

Так взрослая женщина говорит со студентом, но так же точно она бы говорила с Олегом, если бы он мог вернуться к ней: «Не только молиться уединенно, но и, на радость тому же Господу Богу, искупаться в море!»

И я, когда написал ей последнее письмо свое о том, что лучшее средство борьбы с действием «сладкого яда» есть уединенное писание «Песни Песней» в помощь Олегу, я, конечно, рассуждал как монах. И все мое писание, в том числе и «Жень-шень», есть монашеское дело. И неспроста она мне тогда сказала о морском купанье во славу Господа.

А вот если удастся записать за собой все — это и может стать новой «Песнью Песней». Почему нельзя одновременно и жить и сознавать? День прожил — день записал.

А вот это Аксюшино возражение против уединенной любви, что духовная любовь есть любить всех и что эта любовь ничего не стыдится, — разве не эта же любовь создавала «Жень-шень»? И письмо мое, конечно, написал монах. Но откуда же у меня, у признанного всеми «Пана», явился монах и Аксюшино понимание слова?

Во всяком случае, раньше я этого в себе не сознавал, а явился он вполне отчетливо лишь теперь, при сближении, значит... в этом сближении что-то пережитое противопоставляется чему-то новому. Отсюда вывод: хочешь мариноваться и заниматься собственными консервами, занимайся и... достигай Мавзолея. Хочешь жить и обогащаться — прими ванну морскую во славу Господа.

Ее замечание о ванне во славу Господа — есть доказательство ее совершенной откровенности и пренебрежения к мещанской морали.

...И случилось, у нее как раз в эту минуту с поджатой ноги соскочила туфелька и мягко шлепнулась на ковер... Сколько надо переговорить, передумать, сколько с той и другой стороны должно обменяться, смешаться, чтобы возможно стало без стыда и страха поцеловаться. А ведь для того же и была моя «Песнь Песней» на протяжении сорока лет.

Непосланное письмо. «Вы меня только тогда полюбите по-настоящему, когда узнаете во мне своего Олега. Подумайте только о дорогом существе, которое Вы утратили, и пусть перед Вами бы стало, что он может вернуться к Вам изуродованным, горбатым, старым, с перебитыми ногами. С какой радостью Вы бы тогда вернули его к себе, с какой любовью обходились бы с ним — горбатым, без ног и старым. Какое дело нам до этих уродств внешних, если он сам, желанный, находится внутри этого урода.

И вот я жду, когда вы узнаете его во мне и полюбите меня по-настоящему и навсегда. И меня тогда вовсе не будет стеснять, что я старый урод, а вы молодая и прекрасная».

Я будто живую воду достаю из глубокого колодца ее духа, и от этого в лице я нахожу, открываю какое-то соответствие этой глубине, и лицо для меня становится прекрасным.

От этого тоже лицо ее в моих глазах вечно меняется, вечно волнуется, как отраженная в глубокой воде звезда.

Я всегда чувствовал и высказывался вполне искренно, что она выше меня и я ее не стою. Соглашалась ли она с этим — не знаю, во всяком случае, она ни разу не отрицала этого соотношения.

В последний же раз, во время ожидания трамвая на улице Герцена, стала вдруг очень ко мне нежной, очень! Она ночь не спала, а я ей стал говорить о дятлах, как они усыпляют песней детей, и еще ей сказал о будущем, когда мы всем расскажем о любви.

Что ей понравилось, какую мою песенку она выбрала? — но когда я ей в этот раз сказал, что я просто смиренный Михаил, а она моя Госпожа, то она вдруг обернулась быстро и, глядя мне прямо в глаза, ответила: «Не говорите мне этого — мы равные люди!», то есть мы друг друга стоим.

Я ее провожаю. Ждем номер 26 у остановки. Прислонились к стене. Уютно — улица стала нашим Домом.

Проходит трамвай. Содержание беседы:

— Давайте пропустим?

— Пропустим.

И дальше длится сказка Шахерезады.

И конец: больше трамвая не будет!

И пошли пешком.

Нужно всегда помнить и то, что я самый свободный в стране человек и мне с жиру можно думать о Песне Песней. Она же наряду со всеми находится в неволе, и надо еще удивляться, что из-под тягости повседневного труда она находит силу взывать к Господу о ванне морской. Помочь такому человеку легче вздохнуть — вот что не стыдно назвать любовью. А Песня Песней есть прямо монашеский эгоизм.

Надо принять ее письма к матери и научиться: вот это любовь! Так и себе надо, и если это сумеешь найти в себе, то все остальное, и Песнь Песней, и ванна морская — само собой приложатся.

Лес завален снегом, но я не вижу фигурок снежных и, главное, не чувствую той прелести пустыни, как обычно. У меня гвоздь в голове, вокруг которого и собирается моя душа.

Помню, в далекие времена, когда я расстался с невестой, собранная в одну точку мысль долбила мою душу, как дятел дерево, но мало-помалу в больное место, в пустоты стала собираться пустыня с деревьями, цветами, полями, лесами, морями. И я привык этим жить.

Так точно и сейчас вошло в мою душу нечто новое, и я старого не вижу и к новому не привык.

И в лесу не с лесом, и ночью не со своей Песнью Песней! Только уж когда сяду за стол и беру перо в руки, начинаю писать, и как будто пишу лучше, и голова крепче держится. Главная же перемена в сердце: там теперь как будто мастер пришел, все смазал, все подвинтил, вычистил бензином, там теперь ничего не стучит, не хлябает. И у меня растет даже уверенность, что все будет к лучшему и никаких провалов не будет, потому что я ее насквозь чувствую, и все в ней мне отвечает, так что я всегда могу предупредить все свое лишнее и ненужное...

Та душа моя одинокая теперь закупорена. Прямо даже чувствую пробку счастья. Попов спросил меня, доволен ли я своим секретарем.

— Очень доволен, — ответил я.

— Умна? — спросил он.

— Умна, — ответил я. И больше друг другу ничего мы сказать не могли.

Между тем это «умна» было высказано по-разному. В моем смысле «умна» — это не логикой умна, а тем, что в мыслях своих она всегда исходит из личного переживания, напрягая свои силы не на то, чтобы высказать «умное», а на то, чтобы достигнуть чуда; сделать мое личное понятным для всех.

Этим, только этим умом я тоже силен, и, правда, на разных материалах жизни, но по существу тут-то мы как натуры и сходимся. Вот откуда и появилась моя «пробка счастья». Раньше надо было куда-то прорываться, чтобы кому-то сказать, а теперь это препятствие кончилось, теперь я все ей могу сказать!

И вот почему в лесу теперь я мало вижу, вот почему ночью не о работе думаю: зачем все это, если прямо с ней и можно о всем говорить. Трудность одна только в том, чтобы дождаться свиданья.

Мое прежнее «творчество» теперь мало того, что невозможно, оно и совершенно ненужно. И если оно теперь опять начнется, то от нас двух: нам двум будет мало нас двух...

Боже, но как же трудно нам, таким, достаются на земле поцелуи! И как обидно устроено в природе, что там все так просто сводится к продолжению рода! Вот из-за этого-то по всей правде и можно по-

нять наличие на земле человека в любви, не зависимой от продолжения рода.

В романах («Крейцерова соната») убивают жену, противопоставляя родовой любви то какую-то «духовную», то какую-то «свободную». Но мне кажется — нет таких романов, чтобы с таким же волнением, с той же страстью и поэзией, что и в обычной родовой любви, создавался человек как Личность, и не бумажная, а в смысле «Слово становилось плотью».

Замечательно проходили дни нашего «пьянства», и особенно когда мы переписывали рассказ «Фацелия» и так и не могли его окончить, и не окончилось бы никогда это мученье, если бы, к счастью нашему, не испортилась машинка…

В то же самое время, ничего не делая, мы были глубоко убеждены, что заняты чем-то гораздо более серьезным, чем дело.

И мы были правы.

Когда ей становится со мной так хорошо, что она почти готова сказать себе самой: «Вот это — да, вот это пришло настоящее», — она отстраняет от себя возможность обмана (сколько раз он был!) и ставит вопрос: «Не сама ли я так его настроила, что он говорит моими мыслями, желаниями, словами?»

Минус 25°, но яркое солнце: весна света! В первый раз снимал в лесу, и моментами мое основное чувство природы пересиливало над новым чувством, и я узнавал и себя, и лес, и все.

Смотрю на себя со стороны и ясно вижу, что это чувство мое ни на что не похоже: ни на поэтическую любовь, ни на стариковскую, ни на юношескую. Похоже или на рассвет, или на Светлый праздник, каким он в детстве к нам приходил, в запахе красок от кустарных деревянных игрушек.

При небольшой ссоре с Павловной из-за пустяка (по обыкновению) впервые после встречи с В. Д. почувствовал тоску. Сразу же меня как узлом связало, оно и понятно: ведь я теперь счастливый, и боль, какую я причиняю, возвращается в меня с большей силой, чем раньше…

Я рассказал Аксюше, что понял болезнь Павловны: болезнь в том, что власть ее отошла, не для чего ей жить — не над кем ей властвовать, — Аксюша согласилась.

А когда я ей рассказал, что дал денег, чтобы купила корову, кур, гусей, навозу купил для огорода и что в наступающее голодное вре-

мя с этим хозяйством она будет и детей кормить, и внуков, — Аксюша процвела. И тут я понял, что в душе она уже стоит на стороне Павловны...

Да, конечно, если у Веды это творчество жизни, движенья, то у Аксюши — творчество покоя. Так она, бедная, и сказала:

— И чего вы ищете? В Загорске у вас покой, корова будет, куры...

На том мы и согласились, что я все меры приму, чтоб Аксюшина душа не стала полем битвы.

Не выдержу я до 18-го, возвращаюсь в Москву!

Всего несколько дней тому назад я писал ей о спасении от сладкого яда на путях Песни Песней. Каким это кажется вздором теперь! И проблема «сладкого яда» скоро разрешится так же просто, и хорошо, и честно, как разрешено было напыщенное письмо самым простым поцелуем.

Так и помнить надо, что весь порочный аскетизм начинается с того момента, когда «сладость» понимается *ядом* и от него ждут спасенья. Аскетизм является целомудренным, пока он есть пантеизм.

Когда нет живого и единственного предмета любви, приходится мудрить над тем самым, что по существу своему просто и требует молчания.

Оставим буйным шалунам
Слепую жажду сладострастья.
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.

Баратынский

Глава 7

Химера

14 февраля (вечер). Подхожу к своему дому и думаю: вот раньше подходил и не думал ни о чем худом, а сейчас волнуюсь, не случилось ли чего. Какое-то злое предчувствие.

Прихожу — в квартире нет никого. Вспоминаю — суббота, значит, Аксюша на всенощной. И ни малейшего следа пребывания В. Бросился к конторке, где лежит конверт с нашей перепиской — ее письма ко мне в нем не оказалось. Значит, была и унесла. Вдруг мое

письмо к ней представилось мне во всей оскорбительной глупости. Я вообразил себе, что она оскорбилась и не пришла. Такая великая скорбь охватила меня, что я почувствовал неправду моего романа: так влюбляться нельзя, это уже и до смерти. И тут-то стали понятны эти типы «сверхчеловеков», вроде Печориных. После такого обмана жизнью остается одно удовольствие — обманывать самому и мстить.

Нет, такой глупости, какая вышла с К. Б., с этой не может случиться: слишком умна и серьезна. Но все-таки я приставил себе нож к сердцу: какой-нибудь случай, даже самый малый, — и все будет кончено. Нельзя, наверное, сделать и то, что я хотел: бросить все и жить и писать для нее одной. Союз может быть только во имя третьего, а не для нас самих — иначе непременно появится химера.

Почему же она унесла письмо? Потому что выболтала мне всю свою жизнь и теперь открыто сомневается, что я сохраню тайну. Какой эгоизм, какая куриная слепота! Вообразила во мне своего героя, а настоящий мой, действительно героический путь не видит... Соединив все, почувствовал впервые возвращение тоски и ночью написал ей письмо:

«...Вы любите во мне воображаемого Вами человека, сочиненного Вами отчасти с помощью героя «Жень-шеня». Ваша любовь к герою ничем не отличается от любви политиков к будущему человечеству: все-все в будущем, а настоящего нет.

Чего Вы ищете? Я с самого начала сказал Вам, что лучшее во мне — ребенок, будьте ему матерью. И я вел себя в отношении Вас все время как ребенок: вспомните, я начал с того, что просил Вас вместе с Вашей мамой переехать ко мне, все, вплоть до героического письма в день моего рождения. Я чувствовал от Вас в себе счастье, какого никогда не знал, но теперь понимаю, что я как ребенок обрадовался. Вы и это мое состояние не поняли и откровенно считаете его глупостью. Где же Ваше «будьте как дети» — самое священное, самое великое для меня? Нет, ничего, ничего не взяли Вы себе из того лучшего моего, что я так наивно, с такой безумной расточительностью развернул перед Вами.

Вы трусите, что ошиблись и отдались в ненадежные руки. Я не надеюсь пробудить в Вас и женщину в отношении себя: я не могу прийти к этому, когда нет простоты, и не хочу искать в сожалении. Но я люблю Ваше страданье, оно трогает меня, влечет, я не мог бы расстаться с Вашей задумчивостью... И мне очень нравится Ваша

улыбка... Должно быть, все-таки я люблю Вас. А глупости своей, так и знайте, я не боюсь и письма рвать не буду.

Я не очень-то открывал Вам и вообще людям мою жизнь за 35 последних лет, в моем автобиографическом романе я ее оборвал на этом пороге. В горе своем, в нужде, в тоске по любимому человеку я создал из таланта моего себе утешение привлекать к себе людей и во множестве детей. Но Вы мне поверьте, что без сознательного строжайшего выполнения «будьте как дети» я не мог бы вынести этой жизни.

В эту большую бессонную ночь я достиг того, что, посылая Вам свои слова, не боюсь за них, и, мало того, никогда Вы больше этого не узнаете, что Михаил Пришвин перед Вами будет бояться за свои слова или за свое поведение, клятву клятвенную даю — никогда...

Ваш М.».

17 ФЕВРАЛЯ. Написанное в том первом «героическом» письме, оказывается, было правдиво, особенно тем, что сказано, что когда самоуничижение дойдет до конца, то начнется возрождение. С каждым часом крепну и готовлю для этой бедной женщины обвинительный акт:

1. Цветной карандаш на рукописи свидетельствует о ее малокультурности, отвечающей времени (как дернулся Раз. Вас., увидя эти пометки!).

Миша, ведь ты же сам мне в письме велел: «Валяйте цветным карандашом!»

2. До нее не запирал ящиков. Я спрятал конверт с нашей перепиской нарочно в том ящике, куда всем запрещено, где лежит светочувствительная бумага. Она в тот ящик пробралась и там нашла. И еще меня упрекает, что не запираю! Следствием было то, что я велел починить замки... Это явление бытового нигилизма, соответствующего эпохе.

3. Безобразное бумажное хозяйство портит вид кабинета. Я посвятил все утро приборке. Входит Раз. Вас.:

— Это она прибирала?

— Нет, я.

— Что же она у вас делает?

Я сказал, что мы пишем вместе рассказ, и потом прочитал Р. В-чу этот рассказ. Ему понравилось.

4. Я не могу назвать, как это скверно: сама по личному почину жизнь свою мне рассказала, а теперь, не скрывая, взвешивает меня, могу ли я, достоин ли хранить ее тайну. Это у нее от травмы — психоз! Впрочем, такое время, все друг друга боятся...

Вчера я сказал Яловецкому [10]:

— Все вокруг меня шепчут: «Будьте осторожны!» А я просто дивлюсь, чего это мне говорят? Ведь скажут мне — «Сталин или царь?» — я выберу, по совести, Сталина. Если спросят: кого я желаю — Сталина или моего друга Раз. Вас., — скажу, конечно, — Сталина, и не дай Бог Р. В-ча. И если к этому еще: «Почему же не Р. В.», — скажу: Р. В. завернет еще круче, и людей еще больше погибнет.

Спросят: желаю ли я победы Красной Армии? Я, не колеблясь ни на мгновение, скажу: «На всех фронтах желаю победы».

Тогда в чем же дело? Чего мне бояться-остерегаться? Кроме того, ведь в формуле своей «будьте как дети» я любовь проповедую и мне в этом не мешают: во всех букварях на весь многомиллионный народ печатаются заповеди царя Берендея. Так что, повторяю, бояться мне вовсе нечего. Бог меня любит.

Я из интеллигенции единственно уважаю В. А. Фаворского, которого на чистке спрашивали:

— Что вы делаете для антирелигиозной пропаганды?

И он на это ответил:

— Как я могу что-нибудь делать, если я в Бога верую?

За эти слова Фаворскому ничего не было, а того, кто спрашивал, — посадили. Почему же других мучают за веру, а Фаворскому можно? Потому что Фаворского, как и меня, Бог любит.

...а Веда мученица и трусиха за то, что Бог создал ее для любви, а она полной любви предпочла полулюбовь. За то вот и мучится, и все ждет ее. Ее пожалеть надо, помочь, приласкать, а никак не ругать и не сердиться на нее, бедную... Это ведь она из плена вырвалась! Нет, нет, надо терпеть, — хорошая она. Буду любить, пусть не как хочется, ради счастья, — и с тоской можно любить.

В каком глупом положении должен быть тот, о ком она подумала: «Не он ли?» Приходят несовершенные и уходят как от русалки. Единственное средство для такого, это убедить ее, что, конечно же, он — не Он. Но что и не Он — тоже неплохо, если от него приходит ласковое внимание и уход. Только такой Берендей и нужен.

Она столько перебрала причин моих провалов, из которых будто бы ей надо меня вытаскивать («ох, трудно с вами!»), но самое главное забыла: при всех кипучих переживаниях я ведь пишу, заканчиваю трудную вещь, и чувство, которым пишется, совсем противоположно тому, которое относится к ней. Происходит борьба за свое одиночество. А когда художник бывает освобожден, то отношение к другу становится внешним. Тогда пишешь ей честно от ума, хоть кажется, что сделал ей самое хорошее. Вскоре, когда кончишь писать и опять захочется друга, как лучом света осветит «умную глупость» написанного, но бывает поздно, стыд охватывает, страх, что уйдет. И она приходит и начинает «вытаскивать».

Писать — значит, прежде всего, отдаваться целиком, в полном смысле душой и телом, выражая «да будет воля Твоя». И когда найдешь таким образом точку равновесия, тогда-то начинается воля моя. Все делается обыкновенно, привычно, ежедневно, как у верующих молитва. Теперь же я не могу сделать это сразу: я несколько раз повторяю молитву: «Да будет воля Твоя, а потом моя», меня перебивает воля другая, с большой радостью бросил бы работу на время, выбросить нельзя: все расползается и журнал теребит.

Какая-то сила влечет меня в сторону от себя самого, своего художества... Было бы совершенной глупостью думать, что все сводится к греховному влечению куда-то в сторону... Все, понятно, есть. вплоть до самого простого, но главное — в стремлении к большей уверенности, к большей прочности, чем какое получается у меня в одиночестве.

...А электричество в туче все больше и больше скопляется.

Я должен строго проверить, не та ли это сила, которая личного человека уводит на общий путь: вместо пути, по которому приходится все лично прокладывать, путь, где все готово, где все идут... Сила, которая увела и Гоголя, и Толстого от их художества, и эти гении стали как все...

Но самому уйти уже нельзя назад, и отказаться от нее ради своего художества, покоя, привычек — становится все больше и больше невозможно.

19 февраля. Весенний солнечный луч ведь из хлама же выводит жизнь существа! Так вот, и ко мне весна пришла, и сколько нужно греть лучом мой залежалый хлам, чтобы из него вышла зеле-

ная трава! На этом мы и порешили, что все мои эти муки, подозрения — все хлам!

И как вот не видишь самого-то себя: все думалось, что я как ребенок чистый и готовый на жертву и любовь. Так был уверен в том, так уверили меня и мои читатели: «Царь Берендей»! И когда стал проверять — не Берендей, а человек из подполья какой-то.

Но Милостивая пришла, и помиловала, и погрозилась, что если так все и будет проходить в сценах, то придет такой день, когда она и не помилует.

Все мои тайные и хитрые какие-то купеческие домыслы и разные надумки от «большого ума», все это она возвращает мне и прямо показывает. Можно бы умереть от стыда, получив такие подарки, но в то время, как я получаю эти щелчки и просто вижу, какой я дурак, она в моих глазах становится такой большой, такой любимой, что все обращается в радость, и такую, какой в жизни я не знавал.

Гигиена любви состоит в том, чтобы не смотреть на друга никогда со стороны и никогда не судить о нем с кем-то другим…

Какая же глупая голова! Как не мог я сразу понять, что о своем и еще таком бесконечно дорогом человеке думать можно только впрямую, а не забегать мыслями со стороны, не подсматривать.

До сих пор, пока я был в расплохе и не мог понять этих естественных правил, мне кажется теперь, в то время не было у меня ни мыла, ни полотенца и я ходил неумытым.

Если думать о ней, глядя ей прямо в лицо, а не как-нибудь со стороны или «по поводу», то поэзия во мне прямо ручьем бежит. Тогда кажется, будто любовь и поэзия два названия одного и того же источника. Но это не совсем верно: поэзия не может заменить всю любовь и только вытекает из нее, как из озера ручей.

Люблю — это же и значит магия, обращенная ко времени: «Мгновение, остановись!» Вот было, она, не тратя слов, опустила на грудь ко мне свою голову, и я, целуя каштановые волосы с отчетливыми в электричестве сединками, смутно думал: «Ничего, ничего, моя милая, теперь уже больше не будет этих сединок, это пришли они от горя. А теперь мы встретились, и все кончено, теперь они, проклятые, не станут показываться».

Как будто во мне самом заключалась сила, чтобы остановить мгновение и не дать расти седым волосам. Или я эту вечность мгновения почувствовал, ту вечность, где нет нашего суетного движения. Или в этот миг моей настоящей любви зарождалось во мне чувство бессмертия…

Заруби же себе на носу, Михаил, что ни думать тут не надо много, ни догадываться, а единственно — быть всегда уверенным, что желанье всей твоей жизни исполнилось, что это именно и пришла та самая, кого ты ждал. Долой, Михаил, все мученья, все сомнения! Покупай хороших каленых орехов и отправляйтесь вместе в кино.

21 февраля. Приносила карточки родителей: понял отца, мать — нет. Вечером ходил к ее старушке знакомиться. Душе было почему-то тесно. А когда вышли с В. к трамваю, то через шубу почувствовал дрожь всего ее тела, как будто все тело ее вскипело или газировалось, как шипучая вода. Может быть, это было и от усталости, а может быть, и от напряжения, которое она переживала во время моей беседы, и я, может быть, вел себя не так, как ей хотелось. Но я не мог себя иначе вести: мне ведь нужно было привлечь сердце старушки.

Глава 8

Болото

Аксюша ездила в Загорск и объявила нам, что переходит на ту сторону.

Веда вошла серьезная, напряженная, внутри взволнованная, извне окаменелая, села на стул и сказала:

— Вы дурачок!

И повторила:

— Совершенно глупый, наивный человек!

После первого ошеломления, услыхав «наивный», я спохватился:

— А может быть, вам это нравится, что я такой дурак и не умный?

— Очень нравится, — ответила она, — но только не понимаю, как же вы так долго могли жить на свете с такой глупостью?

— А дуракам счастье! — ответил я.

22 ФЕВРАЛЯ.

— Все что-то делают!

— А разве это не дело — складывать две жизни в одну?

Аксюша думает так: если эти отношения с В. есть духовная любовь, то почему же и она тоже не Она, почему перед нею закрываются двери? Вчера я прочел выбранные рукой Веды места из моих дневников Р. В-чу в присутствии Аксюши. Очень ей понравилось. И я ей сказал:

— Это выбрала В. Ты бы ведь не могла этого сделать?

— Нет.

— Ну вот!

Но я сжульничал: отношения мои с В. не духовные в смысле Аксюши или, вернее, — не только духовные. Мы в этих отношениях допускаем все, лишь бы мы, странники жизни, продвигались дальше по пути, на котором сходятся отдельные тропинки в одну. Разница с Аксюшиной верой у нас в том, что мы сами участвуем в созидании жизни, она же выполняет готовую и расписанную по правилам жизнь.

И та же самая цель, а пути разные: наш путь рискованный, у нее — верный. Ей легче: она молится готовыми молитвами, мы же и молитвы свои сами должны создавать… Самое же главное, что у нас религия Начала жизни, у нее — религия конца. Недаром и профессия ее такая: стегать ватные стариковские одеяла и читать по ночам у покойников.

Вчера взял тетрадь дневника с отметками В. цветным карандашом. Я ли это был, когда упрекал ее за эти отметки? По отметкам я читал написанные мною отрывки и сам удивлялся, как это я мог написать так хорошо. Мне казалось это чтение таким интересным, что и на всю ночь хватило бы бодрости читать. Но вышло так, что, когда отметки кончились и не осталось никакой надежды увидать на моих страницах руку друга, вдруг такая скука меня охватила от себя одного, что я лег в девять часов и заснул так основательно, что проснулся лишь утром в пять часов.

Как ни чудесно это чувство, но бывает и страшновато перед неизведанным. В любви, как и в поэзии, есть свое хозяйство, вот и думаешь, как бы не сделать в этом хозяйстве ошибку, соблюсти меру. Эта тревога, наверное, происходит оттого, что мы в этом чувстве не дошли до чего-то неопровержимого, после чего…

За ужином я увидал ее не такую, как всегда, стал в нее вглядываться и вспоминать, кого я в ней вижу ясно. И вдруг вспомнил:

— Джиоконда!

— А что это — лукавство? — спросила она.

— Нет, — говорю, — это *своя* мысль.

— Верно! — сказала она, — у Джиоконды не лукавство в лице, а именно своя мысль. Но я сейчас хочу сказать о лукавстве: с вами у меня это бывает очень редко, с вами я бываю почти всегда — с вами.

— Меня, — сказал я, — огорчает это ваше «почти». Я думал, у вас со мной никогда не бывает лукавства.

— Вы не понимаете, — ответила она, — как вы много хотите от женщины! Но я вам скажу, что в последние дни я над собой работаю: я хочу прийти к решению в отношении вас навсегда расстаться с женским лукавством.

Я человека в ней нахожу такого, какого я впервые увидал и открыл. И оттого, когда смотрю в ее лицо, то мне бывает очень хорошо: смотришь и не насмотришься.

Мне захотелось тоже поднести ей от себя какой-нибудь дар, и я сказал ей, что скоро настанет голодное время и тогда я ей отдам свой последний кусок хлеба.

Она даже бровью своей не повела:

— Последний кусок хлеба?

Мне казалось — так много, а ей было так мало: «хлеба?»

Разве тут докажешь что-нибудь хлебом? И я понял, и стал выше, и начал любить высоту.

Она готова любить меня, но ждет в себе решительного слова. Намекнула мне, что ее смущают мои возможности, то есть мое положение, имя, даже и обстановка, квартира и, особенно… люстра.

Эта прекрасная люстра вообще у нас стала символом соблазняющего благополучия.

Настоящим писателем я стал только теперь, потому что я впервые узнал, для чего я писал. Другие писатели пишут для славы, я писал для любви.

Моя любовь к ней есть во мне такое лучшее, какое я в себе и не знал. Я даже в романах о такой любви не читал, о существовании

такой женщины не подозревал. Меня поразило сегодня, что все, перечитанное ею в дневниках, она так помнит, будто сама пережила.

Я ей высказал это, а она мне:

— Вижу, как всякую мелочь вы во мне хотите возвеличить.

Спрашивает:

— Любите?

Отвечаю:

— Люблю!

— Знаю, — говорит, — что любите. Это больше, чем я заслужила. А я вам сказать так не могу. Со мной происходит небывалое, и нет человека, кто мне был бы так близок и кому бы я так открывалась, как вам. Но я все-таки не могу так сказать: «Люблю». Ведь у меня долги! А если я люблю, то долги тем самым оплачены и отпадают. Сейчас — я вся еще в долгах. Значит — не люблю? — закончила она нерешительно вопросом.

Беда с Аксюшей: влюблена! Очень, очень ее жалею, но, слава Богу, В. помогла ее успокоить. И к этому в тот же день еще Клавдия Борисовна звонит — хочет возвратиться и работать у меня. Не хватает Павловны — вот болото!

У Аксюши любовь на высокой снежной горе, а они там внизу — и тоже называют это любовью. И она сходит к ним в долину, она идет к ним, и они ее встречают словами: «Люблю — люблю!» И Аксюша плачет.

Так бывает, снег от тепла ручьями в долину бежит и журчит, а у женщины это любовь ее расходится слезами.

Ей Аксюша никогда любовь ко мне не простит. Аксюша теперь думает, что сберегла себя из-за Павловны. Тогда из-за чего же она, Аксюша, береглась? Вот за свою ошибку она и не простит В. И тоже Клавдия Борисовна никогда не простит В. за то, что сама упустила. А уж если сорвется Павловна — и все это на В.!

Она встретила своего друга Птицына, рассказала ему о наших отношениях и предстоящих трудностях. На это он сказал ей о трудностях, что это хорошо: «Трудности покажут, настоящий ли он, ваш М. М., человек».

Неужели теперь из всего моего хаоса сложится настоящий человек? Есть ли он во мне?.. Вот этого-то она и боится, и ей временами так трудно!

Доведу любовь свою до конца и найду в конце ее начало бесконечной любви переходящих друг в друга людей. Пусть наши потомки знают, какие родники таились в эту эпоху под скалами зла и насилия. Это и есть дело современного писателя...

24 февраля. Если б не умер Олег, то она вывела бы его в жизнь и для того применила бы силу женского лукавства. (Это мой домысел.) Мне же она хочет обязаться этим лукавством никогда в отношении меня не пользоваться.

Я этот подарок принял с радостью, потому что свое чувство должно быть совершенно свободным... Отсутствие посторонней силы (лукавства) расширяет границы возможностей своего «люблю».

25 февраля. Есть в человеке момент бескорыстия, когда открывается в любви неведомая сила, и с этой силой какой-то страсти бесстрастной почти всегда всего добиваются от возлюбленной. В наше время богиню Венеру оплевали и ее именем называют гнуснейшие вещи.

Раз допущено и в самой ничтожной доле между нами то, о чем не пишут, то мысленно можно допустить, что как-нибудь случится и дойдет до конца. И не зарекайся! Не зарекайся! И пусть!.. Но при одном непременном условии: нужно, чтобы она оставалась и после этого неизменно прекрасной невестой моей, какую ждал я всю жизнь, стоя голыми ногами на раскаленном железе, какую встретил и какую хочу сохранить в себе до конца.

Тогда можно все допускать, но не думать, не достигать. И первое — самое первое: не по себе равняться, а по ней... Надо быть более осторожным и больше беречь сено от огня. Для того беречь, чтобы больше, больше, больше было у нас неодетой весны.

Это был не стыд, а мужская оторопь перед тем, как надо разбудить спящую красавицу.

Все происходит так, будто мы были на горной высоте и постепенно в течение месяца спускались в долину. И когда мы сошли в долину, где уже все цвело, ни малейших укоров совести у нас не было. Вокруг все было прекрасно, а прошлое — это снежные вершины — они сияли над нами! И по всему было похоже, как они переходили от весны света к воде и потом неодетый лес одевался.

Неужели в любви моей к женщине всю жизнь была у меня одна только неодетая весна?

Глава 9

Запрещенная комната

То ли голова у меня болела, то ли она мудрит или умалчивает о чем-то по своему праву... В душе стало темнеть, и все нажитое прекрасное закрылось, и связь моя потерялась до того, хоть плачь! С упреком в душе я обращался к ней в молчаньи:

— Как, милая, ты не можешь понять, что я не святой, как Олег, я как всякий человек — дай ему тысячу комнат и запрети только одну — и он непременно идет в запрещенную. Что же мне делать теперь, как дальше жить при запрещенной комнате? Путь Олега был отойти, отречься. И этим все кончилось: она осталась в суете жизни, он погрузился в творчество и умер святым.

— А вы, — спросила она, — как бы вы поступили?

Я молчал. Но не я ли сам тогда подошел, когда она работала, и сказал так простосердечно: — Мне же ничего от вас не нужно, будьте сами по себе, я — сам по себе, и мы будем просто счастливы только потому, что двое вместе.

А женщина в существе своем высшем только и ждет этого, и так понятно, что мои слова привлекли ее, и странно, через это именно продвинулось сближение до запрещенной комнаты.

Так неужели же мне предстоит признать себя слабее Олега и уступить мертвому господство, а себе быть «при ней» и повторять судьбу ее несчастного мужа? Нет! Я чувствую в себе всякую силу и только не знаю, как вернее ее применить. У меня и теперь возникает сомнение в правильности пути Олега: не слабость ли это, просто уйти от соблазна? Не сильнее ли тот, кто должен взять, значит, подвергнуться величайшему риску, значит, выпить весь горький сосуд и в то же время звезду сохранить? И ты, Михаил, не думай, что обойдешь вопрос и спасешься работой... «Вот я, бери, если хочешь, но только уж я посмотрю на тебя и тебя проверю насквозь и узнаю, какой ты настоящий...»

Что «люблю» — это несомненно, это заключено в образе. Можешь беситься, проклинать, бить, и не убежишь. Образ будет везде с тобой. Значит, люблю — это твердо. А дальше, как второй этаж этого

«люблю», — бескорыстие, совершенная преданность и растворяемое в смирении эгоистическое самолюбие. Надо в этом положении добиваться бескорыстия, точно так же, как я писал «Жень-шень»: был в унижении газетных нападков, писал с коптилкой, — отняли у писателя электричество, а у соседа, слесаря-пьяницы, оно горело.

Писал, не надеялся даже на признание, подавляя мысль об уходе из жизни.

И написал!

...Если бы от нее осталась только душа, которую бы можно носить с собой в замшевом мешочке около сердца, то как бы я был счастлив, как бы я эту душу любил, и берег, и советовался с нею, и шутил... Буду ждать. И будь спокоен, Михаил, ты это выдержишь.

Мне встретился сегодня на улице писатель из новичков, совсем необразованный, как теперь это бывает, и растрачивающий золотой багаж своей наивности на общее дело своего писательства. С возникновением новых требований к литературе дела его пошатнулись, бедный вовсе замаялся в поисках заработка, встретил меня как собачка с разинутым ртом — и язык на виду.

— Здравствуйте, мой друг, — сказал я ему, — поглядите, какое сегодня небо прекрасное!

Он стиснул рот, поглядел острым глазом на небо, потом опомнился и вернулся к своей поэтической детскости глаз и легкомыслию.

— Представьте себе, — сказал он, — я до того замучился, что всю неделю неба не видал. Вы сказали: «Небо!» — и я вернулся к себе.

Меня тоже удивили эти слова несчастного поэта о том, что в делах можно небо забыть и что так вообще можно людей разделить на тех, кто смотрит постоянно на небо, кто иногда поглядывает, и кто никогда на него не обращает никакого внимания.

Олег смотрел только на небо и верен небу остался. А Пушкин проглотил весь сосуд и получил рану в живот. Со смертельном раной лежал Пушкин, у него пуля была в животе, который есть у каждого человека, у зверя — у всех. А души такой, как у Пушкина, ни у кого не было, потому что в «животе» его все было испытано.

Но Олег ушел на небо, не испытав пути; Олег вышел в святые, а Пушкин остался язычником.

— Ну, как же, Михаил, — спросил я себя, — с Олегом идти или с Пушкиным?

Вопрос канул куда-то в душевную щель для переварки, и мысль вернулась к несчастному поэту с потерянным небом.

Весь смысл внутренних наших бесед, догадок в том, что жизнь есть роман. И это говорят люди, в совокупности имеющие более 100 лет, и говорят в то время, когда вокруг везде кипит война и только урывками можно бывает добыть себе кое-какое пропитание. Никогда не была так ясна сущность жизни, как борьба с Кащеем. Никогда в жизни моей не было такой яркой схватки с Кащеем за роман — за жизнь. И она это знает, но только все еще не уверена во мне, все спрашивает, допытывается, правда ли я ее полюбил не на жизнь, а на смерть.

Никогда в жизни не было мне такого испытания: это карта на всего человека.

27 февраля. И опять, как только я увидал ее, так мгновенно исчезла запрещенная комната — куда что девалось! Так при первых солнечных лучах исчезают ночные кошмары.

Целуя ее, я сказал:

— Вы не сомневаетесь больше в том, что я вас люблю?

— Не сомневаюсь.

— И я не сомневаюсь, что вы меня тоже немного любите.

— Люблю.

Я очень обрадовался.

— Неужели это правда?

— Правда: я скучаю без вас.

И поцеловала в самые губы.

После нее остался у меня голубь в груди, с ним я и уснул. Ночью проснулся: голубь трепещет. Утром встал — все голубь!

...Близко к любви было в молодости — две недели поцелуев — и навеки... Так никогда любви в жизни у меня и не было, и вся любовь моя перешла в поэзию, всего меня обволокла поэзия и закрыла в уединении. Я почти ребенок, почти целомудренный. И сам этого не знал, удовлетворяясь разрядкой смертельной тоски или опьяняясь радостью. И еще прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми мирами.

Мне казалось тогда, что взамен своего счастья я весь мир люблю, но это была не любовь, а распространенный на весь мир эгоизм: «Все во мне, и я во всем».

Милая, не знаю, могу ли, но верую, и ты помоги моему неверию, и вникни милостиво в мои слабости, и, главное, помири меня с собой, и поцелуй, и как хочешь сама назначь: идти по-прежнему к Звезде или, как мне хотелось бы, — строить вместе жизнь возле себя простую и прекрасную.

29 февраля. Объяснение с Аксюшей до конца и ее готовность идти к Павловне на переговоры о том, что М. М. жизнь свою меняет. Теперь остается слово за В. Только записал — получаю письмо от В.:

«Дорогой М. М., пришла я от Вас домой и вижу: мама лежит как пласт беспомощная, лицо кроткое и жалкое, но крепится. Мама не спит от сильных болей — все тело ноет и дергает, как зуб, но ведь то один зуб, а тут все тело!

Она не спит, а я думаю: милый Берендей, мы оба «выскакиваем из себя» (это наше общее с Вами свойство) и потом, возвращаясь к своей жизни, пугаемся, будто напутали что-то. Мы создаем себе «творчески» желанный мир, и нам кажется, что он настоящий, но это еще не жизнь. А вот то, что около меня сейчас, — это моя настоящая жизнь. И я думаю, никогда не проглотить Вам сосуд моей жизни со всеми моими долгами!

Милый Берендей, не смущайтесь — Вы ничего еще лишнего не сказали и не сделали — я не хочу, чтобы передо мной Вы были должником или несвободным. И я думаю дальше: все это около меня — моя настоящая жизнь. А где же Ваша? Ваши книги? — но это Ваша игра. В конце концов останется *сам* человек, который через эту игру рос и вырастал. Где он и каков?

Один раз я ощутила того человека, в тот раз около машинки, когда писатель говорил мне о своей человеческой любви, и эта минута заставила шевельнуться мое не поэтическое, нет! — а человеческое сердце.

О, мои долги! почему мы, люди, не можем любить, ничего не бросая, а лишь присоединяя к любимому новое существо! В этом одном может быть только конечная цель наших усилий и страданий. Настоящая любовь — свобода, а если сердце стеснено — это признак плохой, это подделка.

В тот день, когда я так обрадовалась Вашим словам, было мне словно веяние свободы, как волна из мира, где нет времени и пространства. Этот ветер дает ощущение достоверности. Это уже не «творчество»...

Я лежу на своем сундуке и думаю, думаю: не творю ли я сама Вас для себя? Забудьте, забудьте скорей то, что я прошлый раз Вам сказала. Это я «выпрыгнула» — это шаткая почва, на ней нельзя строить дом».

Аксюша:

— Если старца спросить, то он скажет: «Это искушение», — и велит вернуться в покинутый дом.

И смысл этого неглупо объяснила тем, что от своей любви надо отказаться, — откажешься от своей — и будешь любить всех.

В этом, конечно, и есть смысл аскетизма в общем их понимании. И мой «пантеизм» этого же происхождения: вместо одного человека — любовь ко всему. Аксюша думает, что ее мудрость нова, и не знает, что всю-то жизнь я только и делал, что служил голодным поваром у людей. Но вот пришел мой час, и мне подают кусок хлеба.

Аксюша всю ночь рыдала, всю ночь не спала, и когда в 6 часов я завел радио, вошла ко мне и вся в слезах сказала:

— Она колдунья!

— Ты с ума сошла.

— А что вы думаете — ее любите?

— Так люблю, что уйдет — выброшусь из окна. Скажут: она вернется, только постой на горячей сковородке, — и я постою.

— Ну конечно, околдовала. И какой человек возьмет в дом тещу — зачем вам старуха?

— В. любит мать — и я буду любить. Что ей дорого — и мне будет дорого.

— Вот и околдовала! И я знаю, когда околдовала.

— Когда же?

— А вот когда она вам лимончик подарила, в этом лимончике и было все.

И опять реветь, реветь, и опять несчастный Бой глядит ей в глаза печальными глазами красными... И она это видит, принимается обнимать его и лить слезы на его рыжую шерсть.

Бедная Аксюша, она и не знала, что так любит меня! С точки зрения их собственнической любви другая любовь — колдовство, а В. — колдунья. У них любовь — движенье в род; у нас — в личность, в поэзию, в небывалое.

— Колдунья, колдунья, — повторяла Аксюша.

Ничем я не мог ее унять и, наконец, рассвирепел.

— Пусть колдунья, — сказал я, — что же из этого?

— А то, что вся эта любовь на миг один, на минуту.

— Пусть на минуту, — ответил я, — ты же ведь этого не испытала.

— Чего?

— Что этот миг с такой прекрасной колдуньей покажется больше столетия…

Она мне не дала договорить.

— Тьфу! — плюнула старая дева и удалилась, убежденная, что все началось с лимона.

Все сильней огнем, пожаром охватывает желание войти в запретную комнату: кажется, войдешь — и будешь обладать настоящим. Но настоящее это пройдет — и, может быть, весь дворец исчезнет? Нет, не надо входить, и пусть сохранится дворец во всей красе, с его запретной комнатой…

Настоящее вступило в жестокую борьбу и с будущим, и с прошлым. Прошлое — это наше прошлое с того дня, как она отморозила себе ногу. Будущее — это наше будущее с разлуки до встречи в первый и третий день шестидневки. И надо выбросить из головы все придумки, все замены: любовь — это все, и если это есть у тебя, то все, что взамен, теперь отбрасывается: только Любовь!

Все думал, что это можно: она будет на моей жилплощади, я с ней могу тогда как с сестрой. Я хотел ее с чистым сердцем позвать, а сейчас думаю, что отказаться уже не могу. И, значит, если она придет, то будет моя.

1 марта. В. не приходит, мать больна. В отношениях прибавилось много ясности и спокойствия. Теперь надо лишь сдерживать себя и ждать, как пахарь: вспахал, посеял и жди, когда вырастет. К вечеру навестил В. Она проводила и у меня провела вечер.

Глава 10

Хрустальный дворец

Сегодня я опять уверял ее, что люблю, и опять вспомнил «кусок хлеба», что отдам ей последний кусок хлеба, если заболеет — не отойду. И много такого наговорил и насулил. И она, выслушав все, ответила:

— Но ведь так все делают.

— Как же это все? — спросил я.

— Все хорошие люди, — ответила она спокойно и уверенно.

И в этой уверенности я узнал, что есть на земле какая-то страна в невидимых для посвященного границах, где живут только хорошие люди. Оказалось, об этой стране я и думал, когда в молодости ходил с мужиками искать невидимый град в керженских лесах!

И тогда мне вспомнилось, что я сам клятву себе давал, когда впервые пришел мне успех от моего писательства, чтобы писать только о хороших людях.

Мне бессмысленно показалось тогда обращать внимание людей на пороки, потому что обращенное на порок внимание его только усиливает. Мне казалось, что нравственность всего мира попалась на эту удочку греха: пороки беспрестанно бичуются моралистами и беспрерывно растут.

Но почему же в сторону поэзии все лучшее, все тысячи комнат хрустального дворца, а в сторону, где возникает самая жизнь, — не одна даже комната, а какой-то лишь полутемный чуланчик необходимости? Откуда взялось это темное чувство, что во дворце есть одна комната, где и совершаются все чудеса, но вход в нее запрещен — иначе весь дворец исчезнет? И поэтому создается Недоступная...

При неразрешимых вопросах я всегда обращаюсь к первоисточнику своему — к тому, каким я родился, к своему детству.

— Деточка моя, Курымушка, — говорю я, — подскажи мне, старому, когда и кто внушил тебе этот страх к одной комнате в нашем хрустальном дворце?

— Таким я родился, — отвечает Курымушка, — не виноват был ни в чем, а выходил грех. Что ни сделать — грех и грех! Вот тогда я догадался, что есть запрещенная комната и в ней — Кащей живет. От Кащея пошел весь грех.

— Я понял, Курымушка, мысль о запрещенной комнате и создала весь порок. Не обращать на него никакого внимания и усиливаться в сторону света — вот как победим мы с тобой Кащея, мальчик!

Так почему же я забыл о своей клятве писать только о хороших людях? Ночью я пробудился, написал маленький рассказ в темноте и утром переписал его на машинке, а вечером прочитал его ей. Вот этот рассказ:

«Художник. Никакой любви в жизни этого старого художника не было. Вся любовь, все, чем люди живут, у него ушло в искусство. Ове-

янный поэзией, он сохранился ребенком, удовлетворяясь разрядкой смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы.

Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер бы, уверенный, что такая и есть жизнь на земле.

Но однажды в его Хрустальный дворец пришла к нему женщина, и он ей сказал свое решительное слово: «Люблю».

— Что это значит? — спросила она.

— Это значит, — сказал он, — что я открываю запрещенную для меня комнату жизни и вхожу в нее без всякого чувства греха и страха. Теперь я не художник, а — как все. Если у меня будет последний кусок хлеба — я отдам его тебе. Если ты будешь больна — я не отойду от тебя. Если для тебя надо будет работать — я впрягусь как осел…

— Но ведь это у всех, так делают все, — сказала она.

— Мне вот этого и хочется, — ответил он, — чтобы у меня было как у всех. Я об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным и быть как все хорошие люди — без стыда и страха»[11].

Она не сразу поняла рассказ, долго молчала, похрустывая сухариком за чашкой чая, и мы стали было говорить уже о чем-то другом, как вдруг она вспыхнула, глаза ее засверкали:

— А ну-ка прочтите мне еще ваш рассказ!

Потом задумалась, как будто вовсе даже забыла обо мне. И когда вернулась ко мне, то сказала:

— Я не сразу поняла, что это про самое главное. А вы ведь решаете задачу всей моей жизни! Знаете, Олег до сих пор во сне посещает меня и всегда почему-то строг, не улыбается, не скажет ничего, и я всегда перед ним виновата. Неужели я все еще виновата?

Он считал меня царицей — и я была ему царицей. Он считал меня невестой и матерью — и я была ему всем: через меня, как через мать, проходило все его творчество. Он писал мне в Москву из своего одиночества: «Я не знаю, где кончаешься ты и начинаюсь я». И мы должны были жить раздельно. Я любила его — вот почему ни разу не пришла мне мысль о нем для себя. Если б я знала тогда, что для себя должна была звать его в мир, в тот мир, где живут хорошие люди, — мы могли бы и это сделать священным!

— Вернуться во дворец, — подсказал я, — в тысячу комнат, в котором нет придуманной взрослыми тысячи первой, влекущей к запретному.

— Да, да, в хрустальный дворец без запретной комнаты. И там мы стали бы царями!

В 1941 году Пришвин запишет: «В рассказе „Художник“ намечена, но не совсем раскрыта тема первенства жизни перед искусством: я говорю о жизни, преображенной деятельностью человека, где искусство является перед нею только средством, пройденным путем (как ожидание друга и сам друг).

Искусство рождается в бездомье. Я писал письма и повести, адресованные к далекому неведомому другу, но когда друг пришел — искусство уступило жизни. Я говорю, конечно, не о домашнем уюте, а о жизни, которая значит больше искусства.

— Есть ли такая жизнь?

— А как же! Если бы не было такой жизни, то откуда бы взяться и самому искусству?

Сегодня так далеко забежал вперед, что уж не она, как прежде, говорила мне новое, а я ей принес весть, и она воскликнула, изумленная: „Думала ли я когда-нибудь, что здесь найду объяснение своей жизни!“»

Было совсем еще светло, когда я провожал ее через Каменный мост. Вдруг она встревоженно прижалась ко мне и насильно повернула меня в другую сторону; через минуту она отпустила меня и сказала:

— Там мой муж прошел. Он хороший человек и настоящий герой. Он продолжает любить меня, ему сорок лет, а он седеет, и от меня, только от меня! И не перестает любить, и делает открытия…

— В чем?

— В математике.

— При чем же тут в любви математика?

— А и математика его тоже от меня. Это взамен меня. Помните наш разговор о запрещенной комнате? Олег отказался меня ввести — я ушла к этому…

— И он ввел?

— Нет… Но он герой.

Все было загадочно, почему человек, имевший задачу одолеть Кащея, вместо того делает открытия в математике и оттого стал героем.

Я сказал ей:

— Так-то, пожалуй, и я герой. Я, пожалуй, больше герой: должен был войти в запрещенную комнату, а вместо того создал хрустальный дворец в тысячу комнат.

— И все-таки вы не герой, а он герой.

Она с улыбкой посмотрела мне в лицо, и я понял, это она из жалости к нему, а меня «героем» просто поддразнивает.

— Принимаю вызов, — ответил я, — я напишу поэму, вы будете плакать и перестанете меня дразнить. Ваш геометр пришел к вам по прямой линии, я же приду по кривой.

Она с недоумением посмотрела на меня и просто сказала:

— Мы с вами очень подходящие, я чувствую себя с вами так же, как с Олегом, но вот человек прошел мимо, и мне за него больно... Это мои долги! И я не знаю, люблю ли я вас, или впрямь пришло мое время... Нет, я не хочу времени: заставьте, помогите мне забыть долги и время — и я с вами на край света пойду.

Мы расцеловались на прощанье по-настоящему, как родные с детства люди, и я впервые сказал ей «ты».

Вот это самое главное чувство — время преодолеть. Можно в 20 лет сказать все, как Лермонтов, а если срок не дается, то в старости будешь как юноша писать.

И вот почему искусство — это форма любви. И вот я люблю, и моя юность вернулась, и я напишу такое, чтобы она растерялась и сказала: «Да, ты герой!»

3 марта. Ночь почти не спал. Я повторял:

— Зачем это я сделал, зачем тратил на забаву или самообман драгоценную человеческую жизнь!

Днем перед ее приходом я трепетал: мне представилось, будто во мне самом, как в торфяном болоте, скопился тысячелетний запас огня. Я это придумал, и оттого пробудился во мне тоже давнишнего происхождения страх за себя и стыд.

Но когда она вошла, в глазах ее было так много какого-то неведомого мне богатства, что страх и стыд прошли при ее появлении.

— Ничего, — сказала она с милой улыбкой, — наверно, без огня нельзя жить на земле!

— Но, мне кажется, это опасно для нашей дружбы.

— Я когда-то тоже себя так пугала. Только это может быть и иначе: что опасного, если ребенок просит молока?

Я не знал, что ответить, я не понимал ее...

В этот раз вышло так, что казалось — вот оно и все... Но в этом «все» не хватало какого-то «чуть-чуть», и через эту нехватку «все» превращалось в ничто.

— Я обещала вам, что не буду с вами лукавить. Сама женщина это ни во что не ставит, и все это «грудь Психеи, нога газели» — это только приманки, а сущность-то есть в каком-то «чуть-чуть». Я не буду лукавить: если хотите, вы все можете брать, но все это без «чуть-чуть» будет ничто — чепуха.

— А что же не чепуха?

— У вас редкий ум, — ответила она, — вы сейчас единственный, с кем я открываюсь, и у вас сердце, — ах, какое у вас сердце! И все-таки я не вся с вами. Догадайтесь, в чем дело, чего не хватает, — и я отдам вам всю жизнь.

— Это похоже на сфинкса: все открыто и ясно; природа как везде и во всем, но в лице сфинкса есть какое-то «чуть-чуть», и его нельзя разгадать. Мне кажется, разгадать это для меня, а может быть, и ни для кого невозможно: зачем же иначе сфинкс? Вы-то ведь сама тоже не знаете!

— Но, мне кажется, это можно заслужить, и тогда все само собой откроется, как сундучок без замка. Как же вы думаете заслужить?

— Служить, — сказал я, — это значит собирать внимание к тому, что любишь. Все, все туда!

— Как хорошо! Мне кажется — это правда. Откуда вы это берете?

— Из своего опыта: я в молодости давным-давно влюбился и все лучшее на земле собиралось к ней. А когда она исчезла, то все собранное в ней стало обратно становиться на свои места: какой-нибудь заячий следок, голубеющий на белом снегу, отчего он стал мне прекрасен? Оттого, что пришел сюда от нее. Или звук шмеля на цветке ранней ивы, или северный свет, или южное море, и все на свете, все было из нее и все прекрасно.

А теперь я буду служить вам, и все, что вышло тогда от нее, собирать обратно в этот сосуд. Я буду делать это Вниманьем.

Она молчала. Я посмотрел: она свернулась собачкой в углу дивана, поджав ноги, стала маленьким комочком — не женщина, а дорогой мой ребенок. Глаза большие сияли радостно, и щеки горели.

Вечерело. Я примостился рядом и слушал, как билось ее сердце.

— Подождем! — сказала она. И я послушался, и мы стали вместо того обмениваться словами. Но слова эти рождались на той же почве, как будто в душе было два выхода: через жизнь и через мысль.

Я:

— А может быть, люди научатся управлять этой силой?

Она:

— Об этом есть еще у Шекспира: любовь Ромео и Джульетты примирила два враждующие рода.

Я:

— Женщине дана такая сила и такая власть над людьми, больше которой на земле нет ничего. И как же глупо она силу эту растрачивает!

Она:

— В мире до тех пор счастья не будет, а только война, пока не научится женщина управлять своей силой.

Я:

— А может быть, обычную женскую уклончивость, это ваше «подождем», и надо понимать как начало этой силы в действии?

— Так долго длиться это не может! — ответила она.

И вот как радостно, и вот как мучительно страшно, как бы нам не попасть в руки Кащея. Надо освободить ее от «долгов» и, если бы это возможно было, самому бы за долги заплатить. Как? — Не знаю. Я не знаю, когда это будет и как именно совершится, только знаю, что это будет как свет: тихий свет придет, и мы что-то вместе поймем, и вдруг бросимся друг ко другу, и навсегда.

...После того мне стало так, будто я крутом открыл всю ее душу и она мне стала как своя душа. Когда она ушла — ко мне вернулось спокойствие, смешно было вспоминать о «торфе», и я отлично уснул.

Встал бодрым и сильным. Надо честно отнестись всерьез к простейшему. Как будто солнечный луч пронизал мне сейчас эту паутину, и я должен во всем разобраться до конца. Буду читать письма Олега.

Необходимым условием стало решение: до тех пор, пока она не войдет ко мне в дом мой, — ничего. Пусть это обещание соберет мою силу в сторону достижения цели — быть настоящим и единственным мужем этой женщины. Вся моя, в моем доме, и я весь ее: и хозяин, и работник.

Ей встретился на улице друг ее Птицын, и она ему по-дружески рассказала о всем, что с нею происходит...

— Все выйдет само собой, и не нужно придумывать себе заранее препятствия, — сказал Птицын. — Наверно, он долго сидел на

цепи, теперь сорвался, — так пусть покажет себя. В этом движении и есть сущность любви.

Мне понравилось птицынское сравнение меня с собакой, но только себя я чувствую не цепной, а охотничьей собакой, собакой на стойке.

Вот она стоит вся в готовности, сдерживая страсть в монументальной неподвижности. Так и стоит монументом с поджатой одной лапой, чтобы этой свободной приготовленной лапой птицу поймать. Но она умная охотничья собака, готовая прыгнуть, и в то же время знает, что птицу поймает не она, а выстрел стоящего за ее спиной охотника.

И вот мне теперь, как я себя чувствую, мое дело быть собранным, и готовым поймать, и сделать вечностью пролетающий миг жизни.

...А совершит это все стоящий за мной Охотник.

Думаю теперь, что слова «большой» и «маленький» таят в себе какую-то не только количественную, но моральную сущность. Так бывает, когда от маленького дела переходишь к большому, то являются на помощь не свои, известные, взвешенные, измеренные силы, а неведомые, непрошеные, не требующие труда твоего и печали, и тогда чувствуешь на своей утлой лодочке под собой несущую тебя большую океанскую волну.

Да, конечно, под лодочкой океан, а в человеческой жизни, в большом деле, — когда ты на него станешь, — весь человеческий род от сотворения мира ста́новится на твою сторону и, вызывая на бой темные силы, открывает священную войну за тебя самого.

Она так презирает быт, так слаба в борьбе, что я не могу себе вообразить ее любящей, если придется столкнуться даже с одной Аксюшей... Я боюсь ее: ей это станет противно! Без настоящей любви — невозможно!

Она очень похудела на моих глазах. Худеть можно и от одного ущемления девственной гордыни, и мало ли от чего, и это вовсе ничего не говорит о любви...

— Ну, — сказала она, — конечно, надо сделать так, чтобы другие от нас меньше страдали, но если жизнь скажет свое слово, что *надо*...

— Если будет надо, я возьму вашу руку, выйду из своего дома и больше не вернусь. Я это могу.

Самое большое, что я до сих пор получал от В., — это свобода «физического» отношения к женщине, то есть при духовном сближении стыд исчезает и, главное, уничтожается грань между духовным и физическим.

Раньше мне казалось это возможным лишь при сближении с примитивными женщинами, где «духовное» сознание становится ненужным: «пантеизм». А теперь вот именно вследствие этого равенства и постоянного обмена и происходит рождение чувства единства духовного и телесного.

Вычитал из юношеской их переписки, что ее возмущала в то время даже сама постановка Олегом вопроса о применении аскетических приемов против опасностей любви. То и замечательно, что в этом их романе пики острейшие двух разных миров стали друг против друга. Борьба эта закончилась трагично.

Потом пошли долгие черные годы одиночества. Где-то, неведомые ей, шли мои такие же годы. Наконец мы встретились, и теперь я думаю о нашем романе, что два подобных желания или мысли среди миллиона разных людей жили в двух и этим двум суждено было встретиться и этой встречей увериться, что это не сон, не поэзия, а так оно и есть, и должно быть.

Замечаю, как В. резко схватывает и ничего не забывает из моих рассказов о себе: это делается силой родственного внимания. И я тоже не по дням, а по часам усваиваю ее во всех подробностях.

В этом и состоит любовь, ее святая природа, это и приводит к тому, что у всех... Но с этим простым результатом никогда не может мириться поэзия монашеская (Олега).

Подозреваю, что та редкая радость (будто взыграется что-то в душе), радость, не забиваемая ни годами, ни нуждой, ни оскорблениями, — эта радость у нас с ней общая, она и соединила нас. И отсюда наша общая с нею ненависть к удовольствию, заменяющему радость. И мы нашлись два таких. Верно ли?

У нее всю жизнь была борьба за радость на два фронта: против эгоистического удо-вольствия и против аскетической любви.

5 марта. Со стороны Москвы подхожу к Троице-Сергиеву, и в свете вечерней зари необычайной красоты сияет Лавра с древними

башнями и церквами. Я вспомнил красивое письмо юноши, навеянное ему любовью к женщине, которую я сам так полюбил.

Я подошел к Лавре и увидел колокольню без колоколов, вспомнил всю мерзость запустения в море злобы, кипящей вокруг древних стен. То, что мне было красотою, в жизни возбуждало злобу, служило источником зла.

Как это могло случиться, что подвиг любви Сергия Радонежского стал источником зла среди людей? Раздумывая об этом, я опять вспомнил письмо юноши и растерзанную страданиями женщину, из души которой он черпал свою любовь к Прекрасному.

А теперь я люблю ее, эту ограбленную…

Но что эта злоба вокруг древних стен! Мне стоит к любому из этих людей подойти, стоит чуть-чуть его обласкать, как откроется, что он — жалкий невольник зла, и стоит протянуть руку — он схватится за нее, чтоб вырваться. Так чего же мне скорбеть о внешнем, обращенном в мерзость запустения, если внутренняя жизнь наша, она здесь налицо передо мной, и небо тоже, и наступающая весна!

А письма… что мне в них, если источник со мной! Я обладаю самим источником красоты. Никогда я ее не чувствовал так, никогда не был в состоянии такого священного ожидания! Мне кажется, я построил прекрасную хорому, и долгожданная вошла в нее, и я сказал ей «люблю», и она мне сказала свое «люблю», и мы ждем, чтобы кто-то третий вошел, и благословил нас, и убедил нас, что мы сами видим любовь, а не только нам это видится.

А это ведь и есть музыкальная тема души этой женщины: «Вижу или мне это видится? Чего-то не хватает, какого-то „чуть-чуть“ недостает до Целого, и оттого я не пойму: вижу я или это мне видится…»

Нет, я не пойду в те леса искать дупло, в котором Олег прятал когда-то свою рукопись. Я сам напишу свою «Песнь Песней».

6 марта. (Неотправленное письмо.)

«Раз в году бывает у нас как на высокогорном снегу: в солнечных лучах можно раздеться и жечь тело в присутствии снега.

Встаю радостный, каким бывал только мальчиком, утром в Светлый праздник, и не слышу обычного голоса какого-то сурового и страшного Бога: «Можно ли теперь радоваться?»

Спрашиваю себя:

— Отчего таким прекрасным мне кажется наступающий день?

И начинаю искать причину моей радости, как утром в праздник искал спрятанный родными подарок. Обежав, ощупав свою радость со всех сторон, я догадался... Как будто в согласии с догадкой моей, с утра полетели сверху откуда-то на снег золотые капели. В полной силе пришла весна света, и голубеют в лесу на белом снегу следы зверьков: везде двойные следы, везде гон! И уже не пинь-пинь, как зимой, а полным брачным голосом распевает синица.

Медленно, с какого-то случайного облака спускаются и садятся на темно-зеленые ели снежные пушинки. Как раньше я любил весну света, это святое целомудрие любви Мороза и Солнца! Бегая на лыжах по голубым следам пушных зверьков, сколько в жизни своей надышался я этим целебным воздухом весны света. Но теперь больше не завлекает меня неведомая сила бежать вперед по следам. Для меня теперь где-то сходятся в одну точку нити от всего мира, и там эта моя весна сияет как маленькая подробность всего прекрасного.

Мои старые и вечно юные боги весны, неизменно прилетающие каждый год с южных морей, — синие, голубые, зеленые боги, — теперь тоже, как я, стремятся в наш общий дом.

Вот теперь и открывается все, отчего я сегодня как мальчик в праздничное утро: сегодня я тоже спешу в тот дом, куда стремятся все прекрасные силы весны. Сегодня иду я к нему. И когда я приду туда, пусть попробует тогда голос сурового и самого великого и страшного Бога упрекнуть меня:

— Можно ли теперь радоваться?

Пусть позовет и, может быть, даже покажет огненный Лик, тогда я сам загорюсь и Ему покажу свой возмущенный лик и скажу:

— Отойди от меня, Сатана! Единственный и настоящий Бог живет в сердце моей возлюбленной, и от Него я никуда не пойду.

Глава 11

Отступление

— Вы меня любите?

— Люблю. Вы верите?

— Верю. Но я вас не люблю.

— Как же быть?

— Мы люди подходящие, и я знаю, что могу быть вам бесконечным источником, неисчерпаемым...

Мы переходили с ней в это время Москву-реку по Каменному мосту.

— Да, конечно, — попробовал я отшутиться, сам не понимая еще, шутит она или всерьез говорит, — конечно, эта река текла и при Грозном, и какие-то мамонты дочеловеческие к ней приходили напиться...

Она отклонила шутку и строго мне ответила:

— Но вы для меня можете исчерпаться!

— Интересом ко мне как к писателю?

— Нет! — я в человеке не уверена: вы слишком писатель... Олег был тоже такой: он стремился тоже по прямой, а жизнь наша круглая. Вы напрасно думаете, что ваша линия кривая, — вы обманываете себя.

— Что же делать?

— Если любите — берите какая есть: рискните.

— А вы?

— Я тоже рискну.

7 МАРТА. Я при Павловне сказал Р. В-чу, что взято три билета на концерт, а если он не пойдет, мы пойдем вдвоем. Павловна вдруг накинулась на меня: «Знаю, знаю, не погуляешь, все разрушу и ляпну в самое место!»

Р. В. был изумлен:

— В шестьдесят лет? Это нервы!

После Р. В. нападение возобновилось. И тут я выказал неизвестную самому в себе твердость. Я сказал: мои условия — до гроба к ней мое внимание и благодарность, а если у меня будет связь — я откроюсь.

Чувствую, как потупел в своем чувстве жалости к людям: я слишком много жалел...

8 МАРТА. Если бы она любила меня просто и как надо — чего бы ей стоило, увидев меня смущенным, сказать: «Затворите дверь», — а потом: «Ну что с вами, милый?»

Она же холодными изучающими презирающими глазами смотрела на меня, и нарочно заставляла пугаться, и нарочно мучила. Это жестокость, а не любовь... И если ей отдаться, как «подхо-

дящей», возможно, и полюбит, но, возможно, меня, старика, просто замучит.

> Если б он мог подозревать тогда, с какой дрожью в сердце я дожидалась к назначенному часу его приезда, замерев в неподвижности на диване в его кабинете. Он вошел, мне показалось, смущенный...
>
> Как желала я от него простого движения — вошел бы, закрыл дверь, стал бы рядом на колени, обнял, сказал: «Ну что с тобой, милая?»
>
> А он: «изучающими презирающими глазами...»

Нам обоим до смерти хочется любить, и от этого мы ужасно спешим и «выпрыгиваем», как рыба из воды. Я это во всем чувствую, ее «не люблю» понимаю как последнее сопротивление разума. Избежать этого я считаю преступлением против жизни. Эта наша связь должна стать связью с землей, Л. должна почувствовать примирение с тварью, и милость, и страстную радость милующего внимания. Этот священный момент (мы должны сделать, чтоб он был священным), при условии полнейшего разгрома моего быта, из-за спешки может не только не сделаться священным, а изуродовать все наше чувство. Вот почему «отсрочка» сейчас необходима, и самое лучшее, если она будет проведена в деловой работе дружной. Кроме того, надо работать над созданием возможности жить вместе без помех. Ум же должен сказаться в ритме: не надо спешить, но не надо и зевать.

Ее задушевная мысль — это поэзия любви, что для акта любви нужен тот же талант, как и для поэмы... На свете мало таких озорниц, и как раз мне такая нужна.

9 марта. Она ненавидит размазывать разговор по телефону: «Говорите только что нужно!» Почему?

> Потому что говорю по чужому телефону от соседей и они слушают.
>
> А ты по невниманию к моей жизни и это делаешь «загадочным».
>
> И вот звонок:

— Не приду завтра. Не пускайте Аксюшу в Загорск.

Написал письмо в тревоге. Мне кажется, что письмо настоящее. Тревога же моя вот в чем: в последний раз за ужином после вина, уходя, она прошептала: «Нехорошо». И я только сейчас понял: нехорошо, что я отпускаю ее куда-то одну на улицу после всего... И после того на другой день взамен пропущенного мгновения — рассуждения.

...Есть опасность, что Л. предложит разделиться хотя бы на время. Тогда я могу предаться писанию, увлечься этим — и так нарушится здоровый ход нашего сближения.

Если бы Л. умерла у меня на руках — как это легко, как это богато в сравнении с тем, что ушла!

Тревога, что «уйдет». Эта тревога коренится в самом же чувстве. Потому что и она, когда обрадовалась «Весне света», сказала мне, вся в слезах: «Не бросайте меня!» Тревога эта противоположна «счастью», то есть приятности остановки после достижения.

Однако в чем же ее тревога, почему этот странный звонок? Узнаю, а пока обещаюсь: ни одного намека никому, о чем мы говорим. Вот когда только я понял то, чему она меня учила: беречь нашу дружбу от «сглазу»!

10 марта. И вот поди тут! Написал «обещанье» и прямо после этого Р. В-чу рассказал о своем намерении писать «Песню Песней», в смысле том сказал, что новым человеком собираюсь жить и на старом ставлю крест. Прочитал ему «Весну света».

— Очень сильная вещь, — сказал Р. В. Но через несколько времени говорит: — Март, апрель — в мае все будет готово.

— Что? — спросил я.

— А «Песнь Песней».

Набрав в себя воздуху, говорю:

— Как бы хорошо я ни написал «Песнь Песней», она ведь будет даже в самой лучшей удаче не больше как свидетельство того, что человек ее спел: важен сам, человек, а не его песня.

Тогда Р. В. вдруг меня понял. Я же его наставлял дальше о том, что вот в этом смысле и должна расходиться Церковь с искусством, то есть что если на чаше весов сам Бог, а на другой Его изображение, — что тяжелей? Был бы Бог — Рублев явится. А нет Бога — и Рублева не будет.

...Странно, что даже Р. В. не может отделаться от этой многовековой борьбы верующих и неверующих художников с попами за свободу искусства.

Завет себе: для духовной связи с В. и через нее со всем миром хороших людей — обрести свободу от предрассудков интеллигенции в отношении Церкви, равно как и от предрассудков Церкви в отношении живого, настоящего искусства. Словом, чтоб мне самому ни с той, ни с другой стороны не мешали.

Ознаменовать этим мой переход к новой жизни.

11 марта. Р. В. рассказывал, что Павловна знает о каком-то письме Аксюши. Вот она, Аксюша-то! И вдруг стало ясно, почему В. позвонила вчера, и не пришла, и не велела Аксюшу в Загорск пускать.

Так что Аксюша всем насолила: мне, Павловне, В. и стала главным героем романа. Поймал ее с поличным. Покаялась, поклонилась в ноги, обещалась превратиться в камень или уйти.

— Конечно, если бы меня стали теснить, я имею право жить на *своей* площади. Но добровольно — уйду.

— А как же ты обещалась уйти по первому слову, только чтоб не ставили тебе «антихристову печать» в трудовую книжку?

Молчит. Но через несколько часов сообразила, что я узнал о ее доносе не от Павловны, а от Р. В., и набросилась на бедного Р. В. со слезами.

Р. В. сказал, что положение в Загорске такое: если я скажу, что ничего нет у меня, — то все будет по-старому. Если же иначе — дверь туда будет мне закрыта. Теперь остается сговориться с Л. Чуть-чуть страшновато, еще бы немного подождать…

Виноват ли я? В Павловне, какая она есть собственница, я виноват: я распустил ее, я смотрел как на ребенка, не переломил, не воспитал и не расстался, когда надо было расстаться.

Аксюшу тоже я распустил, создал ей соблазн, и она «сдуру» наделала всем беды. Почему же я, старый дурак, так делал? А вот как это вышло: я лишен способности принуждать людей и дипломатически проводить свою мысль в отношениях. Я могу быть с людьми только равным, считая равными всех. Мне противны педагоги, дипломаты, политики, всякого рода хитрецы и насильники. «Будьте как дети» — есть моя природа.

Виноват ли я, что так создан? И кому было плохо от этого? Всем было хорошо. Кто же виноват? Могу ли я винить и того, кто пришел ко мне действительно как равный, вытащил меня из детской комнаты на достойное меня место, а дети, лишенные друга, завопи-

ли и обнажили не лучшую, а худшую, собственническую сторону своей природы? В заповеди «будьте как дети» не хватает какого-то прилагательного к детям, вроде «хорошие дети».

...Так окончилась неодетая весна нашего романа.

Получено письмо В.:

«Может быть, потому, что мы оба склонны к юмору, не только ваше „Гебургстаг", но и мое признание совершается через домработницу. Таким образом, устанавливается какое-то равновесие: я повторяю вас, и не преднамеренно.

Я довольна и тем, что Аксюша написала мне оскорбительное письмо, — без него я бы долго колебалась. Оно выбило меня в определенность, и хотя новое состояние мне очень тяжело, но зато я знаю — что делаю, а это главное.

Со вчерашнего дня я узнала, что жить без вас тревожно, места себе не нахожу. Я думаю, это оттого, что я узнала об опасности: нас хотят разлучить. Вы этого, признаться, добивались — вот и получайте: теперь я могу быть только с Вами или совсем без Вас. Расстанусь без слез. И письмо я пишу не для того, чтобы делать пространные признания, а чтобы получить четкое направление дальнейшей жизни и перестать страдать. Мне так много пришлось мучиться в жизни, что я боюсь страданий, ненавижу их, и даже страдающие люди внушают мне сейчас страх и отвращение.

Слушайте внимательно: я решаюсь с радостью на то, чтобы быть с Вами, и не только в благополучии, но и во всех возможных трудностях и несчастьях. Все мои долги потеряли надо мной власть, как только я почувствовала, чего хочу и на что имею право.

Если Вы меня любите не литературно и имеете силы, чтобы сделать все как надо, — мы получим свою долю человеческого счастья. Если нет — я прошу Вас, ради Бога, еще раз проверьте себя, не обманывайте нас обоих, — я круто поверну, так как должна жить, должна быть здоровой и сильной.

Не бойтесь мне сказать горькую о себе истину, — любить человека, недостаточно меня любящего, я не хочу, — не буду!

...Не сердитесь на Аксюшу — это скорее ваша, чем ее, вина: нельзя требовать от человека большего, чем способно вместить его сердце и ум, и надо самому быть больше человеком, чем писателем, в отношении той же Аксюши.

Боже мой! Неужели Вы — не тот человек и это снова обман? Откуда взять силы, чтоб дотерпеть до конца».

12 МАРТА. Вот что я придумал! От этих двух месяцев напряжения, в котором были отражены земля и небо без удовлетворения, нервы расшатались до того, что теперь больше совсем не похожу на себя, а на бабу. Какая-то неудовлетворимая женщина, вроде русалки: щекочет, а взять нельзя. И не она не дается, а как-то сам не берешь: заманивает дальше! А в сущности, оно и должно так быть, если уж очень хочется любить и желанием своим забегаешь вперед.

Для оздоровления жизни нужно просто начисто бросить эту любовь и делать что-нибудь чисто практическое, благодаря чему можно создать близость и привязанность, из которых сама собой вырастет, если мы достойны, настоящая и долгая любовь.

Практический план: в обмен на свою комнату она берет две мои прежние и селится с матерью. Таким образом достигается хотя бы скромная реальность, что мы — соседи. Тревога: «любит — не любит» значительно смягчается. Если он — она разлюбит, вот ее половина и вот его. В то же время и для всех нет никакой видимости для судачества: квартира была моя, почему бы не занять ее двум семьям? И покончены внешние обстоятельства и помехи.

С другой стороны, если у нас пойдет все хорошо, то наши отношения могут постепенно развиваться. И все мои привычки остаются со мной, и все ее мечты о литературной работе тут: переходи в кабинет и работай. Кроме того, мне легче будет им помогать, когда наступят черные дни, а они наступают.

Так что люби сколько хочешь. А поругаемся — она к себе, а я — к себе. Идеально! — а глупые люди говорят, что любовь не зависит от внешних условий.

И так надо сделать, иначе наше чувство испортится: на нервах долго не проживешь. И вообще, как-то глупо и несовременно до крайности: люди умирают от голода, а мы — от любви.

Не надо думать, однако, что выход из стесненного положения получится именно через «практику»: нет, сама эта практика есть не что иное, как фазис чувства в таком его выражении: «Любишь кататься, люби и саночки возить». И вот именно «люби!», потому что если по правде любишь, то любя и тащишь санки вверх.

Никак не могу представить В. за делом, упорно достигающую какой-то цели. Из ее рассказов видишь ее в состоянии постоянной затеи, вроде «школы радости» [12] (в 1920 году), и тоже в постоянном ро-

мане. Но это, конечно, взгляд со стороны: ведь точно так и обо мне говорили, пока я не стал на свою полочку и не начал всех удивлять, потому что во мне признали человека, к которому никакие обычные мерки не применимы.

13 МАРТА. Первый раз видел В. во сне. В торжественном зале я лежал на диване. Входит она, берет меня за руку: «Вставай!» — приказывает. Я встаю, и мы под руку с ней куда-то идем.

Или я нездоров, или, может быть, так этому и быть: прошло как будто это напряжение, небывалое в моей жизни состояние, — и днем и ночью в теле пожар. Тогда все время было «люблю». Немного грустно, зато проходит тревога и рождается свет тихой радости.

Хотя она и кичится передо мной практичностью и рассудительностью, но, по существу, так же, как и я, в порывах своих расточительна, щедра, до «все или ничего». Взять хотя бы эти письма, которые она мне пишет: в них «все» — и ни малейшей осторожности.

14 МАРТА. Мало ли какое сомнение тронуло голову ночью, тогда не можешь заснуть и начинаешь от нечего делать…

А у нас положено ведь все говорить, и такие мы сами, что все стараемся на себя больше и больше худого навалить: пусть знает такого, пусть любит такого, а хорошего-то всякий полюбит.

— Все, все говорите, до конца!

— Если до конца, то вот этой ночью было мне худо от мысли, могу ли я теперь, как раньше, стать с глазу на глаз с природой — я один и природа — и сказать: «Да будет воля Твоя».

Она так была ужалена этим, что залилась слезами, съехала с дивана на ковер, повторяя: «Старик, старик, десять лет тому назад надо было нам встретиться, не понимаешь, старик!..»

Удар мой пришел ей прямо в сердце: она же и есть моя муза, она сама поэзия, и *это* надо видеть, а кто не видит — тот слепой или старик.

— Старик, старик!

Мне пришлось опуститься с дивана самому на ковер…

Она права: в моих словах выражался мой страх перед новой жизнью, и больше ничего.

Вся моя поэзия была как призыв: приди, приди! И вот она пришла, та самая, какую я знаю, лучше той прошлой женщины с какой-

то неведомой планеты (Невесты). Так зачем же теперь-то мне обращаться к пустыне и вызывать оттуда на помощь поэзию: она со мной теперь, поэзия, я достиг своего…

Но как же мне было и не отступить? До 13 марта она не говорила ни «да», ни «нет». Ее можно было целовать — это да. Любите? — она отвечала «нет», но и это не было «нет». Она разъясняла, что «нет» относится к ее личному глубокому небесному пониманию земной любви, а так — она почти готова.

И вот, имея только это «почти», я из-за глупости Аксюши вступил с Е. П. в борьбу за свободу и нанес ей почти смертельный удар. Мое положение было очень трудное. Я был на пути русалочьем: идти без конца… И вдруг под влиянием Аксюшиного письма (не могу понять, чем это письмо подтолкнуло!) крепость хоть и не пала, но стала моей крепостью, вошла в ее состав, и оба мы с ней твердыня в борьбе с жалостью.

13 марта было знаменательным днем: В. сожгла все свои корабли, все долги, вся жалость полетела к чертям. Любовь охватила ее всю насквозь, и преграды оказались фанерными. Все рушится. За ужином мы все объявили Аксюше. Она с виду была спокойна и обещала хорошо служить. Но когда я, проводив В., вернулся домой, бедный «Вася» рыдал в истерике. Взглянет на Боя, и зарыдает, взглянет — и зарыдает. Я ухаживал, мочил голову, давал валерьянку, а сам внутри ничего не чувствовал, я связан личным чувством, я прав…

Сегодня пойду к матери В. во всем повиниться и попрошу ее благословения.

Есть такое право у всех живущих на земле существ, без которого сама жизнь на земле становится бессмыслицей. И даже больше, бессмыслицей становится и сама небесная жизнь… Без дрожжей такого счастья в мире остаются только страдания и жалость с обманом. Нельзя ли сказать, что жалость есть *тень* счастья?

При позднейшем перечтении запись М. М.-ча на полях:

«Русалка, русалка, — а если человек в болоте и русалка его выманивает вылезти из тины, то чем плоха женщина, если даже она и русалка?»

Вечером у матери она читала мне стихи с таким выражением, с такой любовью, и так была она при этом прекрасна, что «практиче-

ские соображения» этих дней (устроиться жить с ней под одной крышей) вдруг явились передо мной во всем своем ничтожестве. Я просто струсил за себя. Но мало-помалу преодолел себя и уж начал было пьянеть от поэзии, парить в музыкальном тумане, как вдруг в дверь постучались и вошел доктор Раттай [13].

Вспоминаю, как она «вытаскивала» меня с предупреждением, с назиданием и мало-помалу заставила меня поумнеть, заставила поверить в большую любовь.

Так же точно она сама преобразила своего мальчика Олега. Эта требовательность к настоящему чувству есть ее основная черта. Вторая черта, чтоб в поступках быть всегда «по-своему», это вера в право жить и думать по-своему и не спрашивать у других. И еще: прямота в борьбе за любовь и точное знание, где кончается большое и начинается малое: лукавство, дипломатия и т. п. И еще: она женщина без перегородок: все отделы ее существа постоянно находятся в обмене. Редчайшее в женщине гармоническое сочетание религиозности, просвещенности и натуры. И еще самое главное то, о чем сказано в моем рассказе «Художник», — это ее любовь изображена.

Итак, если я посмею, то через нее причащусь на эту любовь.

Свиданье у Третьяковской галереи: дома нельзя — Аксюша... Брезгует атмосферой Аксюши и не хочет идти в мою квартиру.

16 марта. Во второй половине дня Павловна приехала «лечиться» в Москву. Остроумный выход: под предлогом болезни явиться и все расстроить. Собрались сыновья — диккенсовская картина!

Самое страшное в том, что В. до того измучена жизнью, что боишься нагружать на нее пошлость в столь огромной дозе, — боюсь, что не вынесет она пошлости. Мелькнула страшная роковая безысходность.

Лева кричал на меня в своем безумии, что «женку» мою посадят, а с меня ордена снимут. Это было так непереносимо больно и ужасно, что во мне что-то оборвалось навсегда.

Позвал к себе Петю, который мучится над тем, являться ли ему в военкомат. Я и начал с этого, и Петя мне сказал, что воевать не хочет, что его товарищ убил финна и бородка мертвого человека, торчащая из снега, осталась у него в глазах и его преследует.

— А я бы с ума сошел от бородки, — сказал Петя.

— Петя, — сказал я, — у меня создается трудное положение.

Молчит.

— Хочешь, расскажу?

— Нет.

— Может кончиться бородкой финна.

Молчит.

— Ну?

— Решайте сами.

Я понял, что дружба наша в этот момент окончилась. С Левой и говорить нечего. Итак, единственная опора — В.: она как надежда.

17 марта. Чувство такое, словно с тебя живого сдирают шкуру. Зашел к Е. П., разговорились, и оказалось, что она согласна теперь на мою жизнь с В.

— Прощай, — сказала она.

— Здравствуй! — ответил я. И мы крепко поцеловались.

Однако к вечеру выяснилось, что и Аксюша имеет претензии на комнату, и Павловна, и Петя, и нам с В. надо идти вон, — что я гол как сокол.

18 марта. Ночь опять мало спал. Но утром почему-то встал с мирным настроением, хорошо поговорил с Аксюшей и с Павловной и почувствовал, что если в этом тоне действовать, то все можно устроить по-хорошему. В 12 встретился с В. в Третьяковке, и пошли обедать в ресторан. Историю вчерашней борьбы я ей передал, как было: то есть что я, услышав из уст Левы угрозу ей, бросился на колени умолять Е. П. о прощении, чтоб отпустила меня. Вся история потрясла ее.

Весна приостановилась. — 10°. Е. П. утром встретилась в коридоре и, увидев меня, зарыдала, и долго мы с Аксюшей не могли ее унять. От жалости В. закрывается туманом, и ее чувствуешь вроде как бы категорический императив: «Надо!» — и больше ничего.

Глава 12

Жалость

Вчера она сказала:

— Если мне придется от вас уйти, то я вернусь к мужу, для себя жизнь кончится, а он будет счастлив.

— Какое же может быть ему счастье? — подивился я.

— Он иногда говорил: «Мне хорошо, плохо только, что тебе не так, как мне...» А вы куда, если мы расстанемся?

— Не знаю, — ответил я, — занимался охотой, потом автомобилем... Наверно, займусь самолетом!

— Вот вы где-то написали, — сказала она, — как страдает глухарь в своей любовной песне, и потом сказали, что все животные переживают любовь как страданье; только человек сделал из любви себе удовольствие. Теперь по себе можно понять, какое это «удовольствие».

— Не все же, — ответил я, — не одни муки, есть и сладость.

— Мало у нас сладости было, — сказала она.

В сущности она, все она платит и по моим долгам!

— Так вот, — сказала она, — если мы решили жить вместе...

Я глаза вытаращил:

— Да разве вы не решились?

— Нет, у меня решено, я же сказала вам, что у меня решено и все кончено.

Значит, обмолвилась...

Без сомнения, она мучается, колеблется, страдает и в то же время однажды что-то поняла (что можно перейти через долги), и это стало у нее категорическим императивом.

Ее письмо в эти дни:

«Простите меня, что я Вам, измученному, говорю о себе. Но кому же мне пожаловаться, как не Вам, когда мне больно? Я еще никогда такой боли с Вами не испытывала, как после сегодняшнего нашего расставания, и единственное облегчение — беседа с Вами. Надо еще пережить длинную ночь и еще полдня, пока мы снова будем вместе. Я нашла несколько мыслей, на которых попробую утвердиться. Им, а может быть, и Вам это кажется сомнительным, но я люблю Вас, и сегодня больше, чем вчера, потому что еще больше Вас узнала. И так я, может быть, буду любить Вас все больше и больше и все больше буду мучиться.

Я чувствую как бы нить, идущую от меня к Вам, но она протянута в пустоту, потому что Вы далеко. И вот по этой нити непре-

рывно идет боль, она прекращается, только когда я принуждена отвлечься каким-нибудь делом (в школе — забываю). Это — от пространственной разделенности. Когда я с Вами — мне все не кажется таким безнадежным и страшным.

Как только Вы около меня, я представляю себе, что держу Вашу голову, и вся боль прекращается. Не упрекайте меня, что Вы зажгли этот огонь, — он из сердца. Если б никогда страсть не вернулась в Ваше чувство ко мне (чего Вы так нелепо боитесь), мне довольно, поверьте, Вашего внимания, общей мысли и простой пространственной близости. Так мне кажется сейчас... Но быть вместе и в то же время врозь — я не вынесу. Я мучаюсь от этих встреч, каких-то краденых, в ресторане, в вестибюле... Что же будет со мной, если у Вас не хватит сил и Вы сдадитесь!

Я доверяю Вам, может быть, Вы и вправду умней меня своим особым умом, но не он ли наделал все эти беды? Помните, как Вы меня убеждали, что Е. П. давно живет одна и привыкла к Вашей свободе, а что сыновья — те все понимают и, конечно, поймут и будут друзьями. Что это было — страх взглянуть правде в глаза и в то же время страх меня потерять или Вы правда не понимали обстановки и людей?

Может быть, эта Ваша «кривая» нас и вывезет. Но когда? И я хочу достичь временного покоя в полном полагании на Вас, а с другой стороны, готовлю себе защиту — мысль, что мне эта любовь дана не будет, что я не достойна радости. Я готовлюсь расстаться с ней, в то же время всем существом своим надеюсь на Вас. Я хочу просить Вас не видеться со мной, потому что я не могу быть сытой беседой на улице, и душа потом болит вдвое сильней.

Не думайте, что это слова. Это правда. Я буду пока жить своей привычной жизнью, работать, заботиться о маме, считая Вашу любовь мечтой. Эта мысль будет защитой, потому что я, с тех пор как Вас люблю, стала беспомощной и мне все становится сейчас не под силу. Мне легче было бы жить на Вашем месте: у Вас в руках действие, а у меня полная зависимость и ожидание. Когда Вы освободитесь — Вы придете за мной. Не насилуйте только себя — мне вымученное чувство не даст радости. А я устраняю свою волю и ум.

Продолжение утром. Только ночью я поняла: Вы просто усомнились во мне под влиянием домашних, может быть, усомнились даже в своем ко мне чувстве. Вы предложили мне временно поселиться с Вами в чужой квартире, а Е. П. будет жить у вас и „охра-

нять“ Ваше имущество на случай, если Вы во мне ошибетесь (ее слова). Вдумайтесь, какое это унижение!

Они бьют самым верным оружием — они разлагают Вашу веру. Вам ли я буду говорить о достоверности веры, о том, что без нее вся наша борьба будет бессмыслицей. Ваши два рассказа — тогда и от них надо отречься, да и от всего лучшего отречься, что сделано и сказано на земле, потому что все — из этого источника.

Отдохните в одиночестве, потребуйте себе хотя бы временного одиночества, посмотрите в свое сердце, взвесьте силы, положение и тогда поступайте как можете. Вы должны понять, что я не буду бороться их оружием, но я не буду терпеть их подозрения.

Я пережила за эту ночь обиду и вижу, что нет иного пути для меня, как выход из этой борьбы.

Я почти не надеюсь, что у Вас хватит сил: слишком сильны Ваши «благожелатели», слишком добры мы с Вами. Это крест. Вы не выбрали его на Новый год, но он сам Вас настигает.

Я надеюсь еще на какое-то чудо, но, конечно, я просто смягчаю боль расставанья с мечтой.

Не судите меня, что я оставляю Вас в неравной борьбе. Поймите: я одна, с мамой больной на руках, потрепанный страшными ударами человек и сейчас еще выбитый из колеи.

Вы можете все там плакать, кричать, драться и не спать, потому что Вам можно болеть, лежать и утешать друг друга. Я же должна завтра идти на работу и работать хорошо, иначе я погублю свою мать и потеряю всякую почву в жизни.

Е. П. требует жалость и получает и жалость, и заботу — она вяжет Вашу совесть. А я всю ночь плачу в подушку, чтоб не слыхала мама, а когда бываю с Вами, мне жаль Вас и я стараюсь, чтобы Вы не видали глубины моего горя.

Они отнимают у Вас капля по капле веру в меня, — да разве во мне тут дело, разве до меня Вы не о том же писали и думали? Я-то прочла Ваши прежние дневники!

Я отстраняюсь не из-за страха борьбы, а из-за страха унижения Вами — Вашим неверием и предательством моего лучшего, что сейчас делает из меня, мечтательницы, человека. Еще — я не хочу сеять вокруг себя эту вражду. Если бы я знала, что Вы настолько связаны с Е. П., я не пошла бы Вам навстречу.

Еще раз прошу Вас — потребуйте себе одиночества и в покое взвесьте все: верните мне всю свою безрассудную любовь, то щед-

рое и прекрасное чувство, которое породило и мое ответное. Тогда я приму любое Ваше решение с закрытыми глазами. Но как я могла вчера согласиться на какие-то временные мены квартир, когда я чувствовала, а сегодня ночью и поняла, что тут все основано на недоверии и Вы действительно наполовину согласились доверить Е. П-не охрану своего житейского благополучия на случай моего предательства. Она будет охранять квартиру и вещи, а мы поживем пока временно: Вы проверите себя и меня... Ведь так она вам предлагала? Но Вы не согласились, не правда ли, Вы не могли так думать обо мне?

Если дело непоправимо, так и скажем: мечты не воплощаются. Пишите о них, если это Вас тешит, а я Ваших книг читать не буду. Я прощаю Вам от души все то зло, какое Вы невольно мне причинили, не зная своих сил и своего плена.

Вы сами предложили и настаивали, чтоб мама жила с нами. Вспомните, я вначале отказывалась от этого, а Вы мне сказали: „Кого вы любите — буду любить и я". Это Вы говорили из любви, и это было прекрасной щедростью. И в два дня, под влиянием людей, меру понимания которых Вы знаете, мама превратилась в „тещу".

Знаете, я Вас так люблю, что готова была отказаться от совместной жизни с мамой. (Хотя Вы знаете, что нас с нею связывает!) Но сейчас поздно, и побеждает не тот, кто отказывается, а тот, кто требует. И поэтому единственный выход, это уйти из этой страшной жизни. Только не пугайтесь, я не грожу Вам стрихнином. Я ищу благородного и даже радостного выхода: я снова приведена к той двери, перед которой некогда стояла с О. Я знаю, он, умирая, думал только об одном — о том, чтобы я вышла на свободу из житейского плена страстей. И надо же, чтоб он участвовал в нашей с Вами любви, чтоб все и началось-то с моего рассказа о нем, с чтения Вами его писем. И все это было, чтоб подготовить эту жестокую и, может быть, благодетельную катастрофу, освобождающую меня от человеческого утешения.

Я не скрываю, что это я вижу как бы сквозь стекло сознания и душа моя все еще в плену у чувства, но я выйду на свободу.

Может быть, на прощанье Вы оцените, что я не связываю Вашей совести даже своим горем, а нахожу положительный выход и радуюсь ему сквозь всю свою боль. Сердце, конечно, слабое, ему жаль расставаться, но оно научится радоваться.

Верните мне письма Олега. Машинку я Вам верну: она не может быть моя, а только общая».

21 марта. Сколько раз я повторял в своих писаньях, что я счастлив. И они теперь меня об этом допрашивают, не понимая того, что своим заявлением «я счастлив» я отказывался от дальнейших претензий на личное счастье, что я в нем больше не заинтересован, я ничего не домогаюсь. Отрекаясь от этого личного счастья, я движусь духовно в творчестве. Мое творчество и есть замена счастья: «там» все кончено, все стоит на месте, я «счастлив»; здесь, в поэзии, все движется, я самый юный писатель, юноша, царь Берендей. Рождается сказка вместо жизни, вместо личной жизни — сказка для всех. И вот тогда при отказе от себя возникает любовь ко всякой твари.

Что же, разве это не путь человеческий, прекрасный?

Но пришла она, и «то» стало болотом, и все мои зайцы побежали к ней, и птицы полетели, и все туда, туда! И мне стало все равно, куда ехать — на север, на юг, везде хорошо с ней: она причина моей радости и на севере и на юге.

Решено, что мы уезжаем. А куда? — на север хорошо, и на юг хорошо, нам везде хорошо. А жить будем в одной комнате.

Болезнь Павловны. С утра начались рыданья. Прощается с Аксюшей, хочет умереть. А когда я к ней с упреком: «Хочешь мир творить, а вот: это ведь не в себя, а в меня!» Она отвечает: «Ничего, ты сильный, ты переживешь!»

...Вызвал двух психиатров: ничего страшного нет. Все бросил и один уехал в Загорск.

22 марта. Живу один в Загорске. Был на вечерней прогулке, и такая меня тоска охватила, и впервые было так безучастно в природе; на закате месяц выходил бледный, большой и словно отворачивался, и так все-все, — облака, снег, следы зверей даже чем-то противны: столько лет занимался такой глупостью. А дома — патроны, ружья: нужно же было на детскую шалость тратить столько времени. И так все от меня отвертывается, или я сам отворачиваюсь... Вся жизнь собралась в одной-единственной точке, и раз я от нее оторвался, то вокруг нет ничего, и я сам будто сосланный. А поди я с В., как бы он запрыгал, заиграл, бессовестный месяц!

— Погоди, погоди, — говорил я ему, — вот придет день, посмотрим, как ты запляшешь, когда я покажу тебе Лялю.

Свет весны всю душу просвечивает и все, что за душой, — и рай, и за раем, дальше, в такую глубину проникают весенние лучи, где одни святые живут... Так, значит, святые-то люди от света происходят и в начале всего, там где-то за раем, только свет, и свет, и свет. И от этого райского света вышла моя любовь. Кто может отнять у людей свет зарайских стран? Так и любовь мою никто не может истребить, потому что моя любовь — свет. О, как я люблю, о, какой это свет!

Я иду в этом свете весны, и мне вспоминается почему-то свет, просиявший в подвале сапожника, хорошего человека, приютившего ангела. Когда просиял ангел — просиял и сапожник [14].

Но почему же мне в свете весны теперь приходит в голову этот свет в подвале сапожника? Перебрав все в своей душе, я вдруг увидел это все как бы просиявшим и понял: я — это как сапожник — хороший человек, приютивший наказанного ангела, и этот свет мне только за то, что я не плохой, и тоже приютил у себя ангела, и помог ему, когда он страдал от воплощения в человеческий образ. Как он ужасно страдал! И я пожалел его, и приютил, и за это дана мне такая любовь, этот божественный свет. Кто может отнять его у меня?

Письмо (Чем люди живы). «При первом свете выхожу на Каменный мост, направляюсь пешком на Северный вокзал и, глядя на Кремль, вспоминаю твои слова: «Никогда не устаю смотреть на Кремль!» Я тоже смотрю и не устаю думать о тебе и в согласии с тобой приводить в порядок свой внутренний мир.

Сегодня я почему-то считаю себя хорошим человеком, похожим на того сапожника, который пожалел наказанного Богом ангела, страдающего в человеческой плоти. Помнишь этот чудесный свет, доставшийся сапожнику, когда его подмастерье превратился в ангела?

Смотрю на кремлевские главы, освещаемые первоутренними лучами весеннего солнца, и думаю: откуда же этот дивный свет, если мой подмастерье еще вместе со мной шьет сапоги?

Милая моя Ляля, как много ты по ночам плачешь и долго-долго спишь по утрам, я очень хочу сделать, чтобы ты не плакала и раньше вставала. Если бы ты только знала, с какой великой силой утренний весенний свет работает для нашей любви! Если б этот свет не очищал мою душу многие годы, я бы не мог узнать живущего в

тебе ангела и полюбить его, как я страстно желаю, навсегда и до конца.

Теперь мне кажется, — так давно это было, — ты повторялась в сомнениях, видишь ты меня как человека, достойного твоей любви, или же тебе это только видится. Теперь же, когда он с тобой, ты не унимаешься в твоих ночных сомнениях и спрашиваешь:

— Что это — человек пришел или пришло твое время любить?

Милая моя, не хочу времени — хочу человека, хочу при помощи живущего в тебе ангела создать свое новое время.

Скоро поезд приносит меня в Загорск. Здесь так сильна весна света, что от боли в глазах слезы текут, и самую душу просвечивает, и проникает за душу, куда-то, может быть, в рай, и дальше за рай, в такую глубину, где только святые живут… Святые… и тут впервые я думаю, что святые происходят от света и что, может быть, в начале всего, там где-то, за раем, только свет, и все лучшее происходит от света, и если я буду это знать, никто любви моей от меня не отнимет и моя любовь для всех будет светом…

В лесу на снегу, еще нетронутом, много следов, как зимой, но полдневные горячие лучи помогли деревьям стряхнуть с себя весь зимний снег. Только в самой глубине в развилке уцелел зимний ком снега и не падает. В прежнее время я бы придал этому снегу какое-то значение, может быть, снял фотографию или записал об этом в книжку, чтобы, складывая потом записи, сделать из них узорчатый ковер. Десятки лет с непостижимым терпением занимался я этим тканьем в смутном предчувствии, что по этим коврам придет ко мне ангел, родной моему Михаилу.

Все совершилось, точно как я ожидал: по этим коврам пришел мой друг желанный. И вот теперь больше не надо мне замечать, записывать, снимать, складывать и сочинять. Теперь друг мой со мной и освобожденный дух мой веет, где хочет.

Ну вот, я достиг своего домика, тоже с полуподвальным помещением, точно таким, в котором жил тот сапожник, хороший человек, приютивший наказанного ангела.

Такая тишина, такое одиночество, и в то же время сознание спокойствия и гармонии, какое невозможно было достигнуть прежним обыкновенным человеком.

Милая Ляля, не покидай своего сапожника, пока твой ангел не будет прощен.

Любящий тебя Михаил».

Сегодня В. представилась мне как в таинственном рассказе ангел. Там как сапожник, тут как машинистка. Там осветился темный подвал, тут же подвал человеческой чувственности: то, что у множества «стыдное», здесь яркий свет (заслужил!).

А все вокруг нас судят «по себе», и этот суд по тону своему похож на унижение ангела при воплощении в человека... Потому-то так ярок свет ее для меня: она горит не для себя, а для меня...

Как будто на острие ножа, воткнутого в сердце, мне привили тебя [15], так что когда поднимается боль, то мне кажется, она у нас вместе, — не я один. И еще похоже, как будто «шестикрылый серафим на перепутье мне явился» и с тех пор в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока... [16] ...Рожи... в невероятной тоске... душевный отврат... и никакого отдыха. Сном, гигиеной тела и духа тут не возьмешь.

23 марта. Утром было — 20°. А потом вскоре капель. Давно бы уже время грачам и даже жаворонкам, но не видно грачей, и жаворонков не слышно. Только один воробей токует: чирик-чирик, да синички: пик-пик.

А в сущности, и я тоже, если упростить мою философию до крайности, повторяю, как птица: Ля-ля, ля-ля.

Все-таки надо добиться мира со старой семьей, полного спокойствия в переговорах, как бы ни была возмутительна для меня их «любовь».

Письмо: «Милая, никогда я не испытывал ссылки в том смысле, что нахожусь где-то поневоле. А вчера под вечер вышел в лес и первый раз в жизни почувствовал вокруг себя чужую природу. Думаю о тебе и ни на что вокруг смотреть не хочу. Я думаю о том, как бы мне сделать, чтобы ты тверже стояла на земле и уверенней на меня опиралась.

И я придумал сделать тебе большой и хороший подарок. Я подарю тебе весь мой архив, над которым работает Р. Мы будем его беречь, ни в коем случае не продавать. Это будет крупным материальным фондом на случай катастрофы — это раз, а второе — изучив этот архив, присоединив к нему наш опыт вдвоем, ты легко можешь написать книгу, сбыт которой обеспечен значимостью моей в литературе. Передачу тебе архива сделаю нотариальным порядком. Не думаю, чтобы этот подарок произвел на тебя сам по себе впечатле-

ние: слишком это деловое что-то. Но я тебе пишу об этом, лишь чтобы дать пример борьбы моей с положением ссыльного.

В то время, как я об этом думал, сумерки сгущались, месяц больше сиял, надувался, я стал глядеть на него, чтобы войти с ним в знакомую мне родственную связь...

Мне хочется сказать тебе об этой родственной связи, родственном внимании, которым она достигается. Я давно этим пользуюсь и достигаю больших результатов. Чтобы с какой-нибудь тварью, мышонком, елочкой, зайцем, установить эту родственную связь, нужно ведь всего себя со всем целым миром привести в связь. И я это делал, я каким-то своим, мало сознаваемым способом делал, и на основании такого расширения души до Целого достигал, и многих писанием своим удивлял.

А теперь вот навел луч родственного внимания на месяц, и он вроде как бы даже от меня отвернулся. Тогда я стал свой луч на все наводить, знакомое мне, родное, и все это от меня отвертывалось. Им как будто не нравилось, что я думаю об одной тебе, они все, как и семья моя, не зная человека, все против него.

Холодно, равнодушно глядел я на месяц, в сердце же открывалась боль, и вдруг я почувствовал, что боль эта наша, что мы тут вместе. До того это было в чувстве четко, до того душа твоя слита с моей душой, что это было все равно, если бы ты и вся тут была. И когда я теперь уже с тобой вместе взглянул на месяц, честное слово — он плясал от радости. А потом и все вокруг нас заплясало, и я понял, что природа нас с тобой уже давно обвенчала, соединила, не хочет видеть каждого из нас в отдельности. Извещаю тебя об этом: в природе мы обвенчаны. Напоминаю о 25-м в 6 часов. Твой *Михаил*».

Тяжело это перенести, их эгоистическое горе. Тяжело думать, что всю жизнь провел в детской комнате и дети ничего-ничего хорошего от меня не взяли. Это конец всему.

Лялю я как-то от всего отбил, надо ее устроить. Например, подарю ей и оформлю подарок — мой архив. Она и работать будет над ним, и верное обеспечение.

Послал третье письмо из Загорска о месяце («В природе мы обвенчаны»).

Был у попа-пчеловода. Посмотрел на него, посмотрел в зеркало на себя, и страшно стало: а вдруг как он через свое поповство про-

зрит, что я в своем возрасте, в своем положении повторяю в душе своей одно только «Ля-ля», «Ля-ля». Еще я думал, глядя на него: «Да невозможно же представить себе такое, чтоб молодая женщина могла полюбить вот такого попа!» Тоска вошла ко мне в сердце, стала ужасно мучить с повторением: «Что ты наделал, что ты наделал!»

Когда же я пришел домой, отдохнул, пообедал, побрился, вымылся и поглядел в зеркало, то сразу все прошло: «Я не похож на попа!»

И еще один морозно-солнечный день. Хотя внутри все повертывается по-разному, но средняя линия — это полная уверенность в своей правоте и совершенное спокойствие: без этой встречи моя жизнь была бы непонятной.

В моей жизни было две звезды — звезда утренняя (29 лет) и звезда вечерняя (67 лет), и между ними 36 лет ожидания. 40-й год загадал: «крест» или «приди», и она пришла, и жизнь моя стала прозрачной и ясной. «Жень-шень» — это о звезде утренней, теперь должно возникнуть нечто о звезде вечерней... «Звезда вечерняя моя».

Роль поэзии в этом сближении: приманивает, заманивает, и отдает, и передает куда-то... Замечательно и необыкновенно, что в нашем случае вовсе не было грани между Эросом и Полом.

Есть поэзия — действует пол.

Нет — и пола нет.

И когда пол действует — поэзия светит.

Чувство полной уверенности, что в мою жизнь послан ангел-хранитель. Мои глубокие и позорные провалы чувства заключались в безвыходности нарастания «корневой» силы... Довольно одного взгляда на Лялю, чтобы ущемленность превращалась в радость, а ласка сразу создавала бы разлив души.

Ее заветная мечта — «рай плоти». И вот именно из-за того, что это самое ее желанное, ей оно и не давалось. И вот ее «ошибка» (брак) и ее вздох: «Ах, зачем я это сделала!»

«Вот чепуха!» — воскликнула она, указывая на свое тело (т. е. все это без любви — че-пу-ха!).

25 марта. За три месяца до встречи в Париже с невестой моей поэзии родилась настоящая невеста моей жизни — Ляля.

Читаю письма Олега, дивлюсь возвышенной силе его творческого самосознания. Чем он отличается от самого Бога в своем построении вселенной? И вот такой-то творец бежит от девочки, рискнувшей ему предложить «рай плоти». Не бежать он должен был, а или взять ее в свой горний мир для сотворчества, или самому сойти с ней в долину любви человеческой и на некоторое время, как наказанный ангел, стать как все. Он ни того ни другого не сделал и через этот корректив девочкой жизни вскрыл свое люциферовское происхождение.

Через много лет ты запишешь о том же, но иначе: «1953 г. 2 мая. В результате чтения дневника (т. е. писем) Олега понял непонятное в Ляле и проникся величайшим уважением к О. Он, по-моему, достиг в своем духовном развитии такого состояния, которое мне казалось недостижимым: самому своими усилиями победить чувственность, зависть, ревность и все прочее, связанное с чувственной любовью, и остаться торжествующим...»

Шел в лесу по дороге и не мог никуда в сторону свернуть: по сторонам проваливается снег больше чем на полметра. Увидал пень, согретый солнцем, долез до этого пня, уселся лицом против солнца и замер.

Как волнуется жизнь моя! Если я устал, то к усталости присоединяется угнетающая мысль: как же ты такой будешь ободрять свою подругу? А когда является бодрость, то сейчас же является сильное желание к ней дотянуться.

Я шепчу ей из леса:

— Ты страдаешь за своего Олега, помни, только за него. Он тебя любить и не мог, и замечал он тебя, лишь когда ты ему говорила что-нибудь в путь.

Какая наша страна стала теперь голодная, ободранная, безнадежно скучная, как и во всем-то мире стало скучно, до того скучно, что и не ждешь даже никакой катастрофы.

И вот зато в своей личной затаенности до чего же хочется пустить все к черту и самому, несмотря ни на что, сорваться с цепи и жить — жить — жить!

Мать с ребенком на руках похожа больше на явление собственности, чем любви. Почему же принято это считать примером люб-

ви? В связи с этим вопрос — как же нам-то быть? И пошли они, вопросы жизни, один за другим, как вагоны...

Но вот пришло время, и она сама полюбила, и больше не могла собой жертвовать, и поняла значение своей «чепухи» для себя, то есть, в сущности, она себя поняла. С этого момента в девушке зачалась женщина, влекомая слепой судьбой к жизни рода, чтобы родить и сделаться собственницей своего ребенка, эксплуататором для него своего мужа, организатором своего дома и т. д.

Вот что именно сейчас и происходит с В., воспитанной на идеях истинного христианства. Она теперь похожа на Церковь, некогда ставшую перед необходимостью считаться с рождением плотского человека, а не только духовного.

В силу своей духовности (воспитания в нигилистическом отношении к материи) она теперь будет как-то иначе относиться ко всему материальному.

А то было — скажешь: «Вот я сегодня нахалтурил денег!» Я радуюсь, а она: «Да на что это нужно?» Или вот я хотел квартиру сменять, а ей противно этим заниматься в то время, как любовь в самом разгаре.

Если у нее даже и не будет ребенка, то все равно она меня превратит в своего ребенка. Итак, если думать о себе, то ребенка не надо иметь, если же думать о ней, то для ее личного счастья это нужно.

«Бог любит не всех одинаково, а каждого больше» (из письма Олега, — он там приводит эти слова к нему Ляли и говорит, что в них выражено христианское откровение о значении Личности), — вот чудесно-то!

Жить надо как живу, погружаясь в ее душу: она неисчерпаема. «А вы исчерпаетесь», — сказала она мне когда-то. Это возможно... Только когда еще это будет и будет ли когда-нибудь?

Если она неисчерпаема и если я люблю ее, то как могу я исчерпаться?

Вот когда понял я, за что она так грубо накинулась на меня («Вы стары, вам надо было сойтись со мной 10 лет назад»), когда я сказал, что страшусь нашего вечного «вместе», что для поэзии, кажется, необходимо одиночество. От моих слов она прямо упала на ковер, стала на коленках и рыдала, рыдала как ребенок. Между тем я это сказал не о существе дела, а о привычке бытия. По существу, вся суть,

вся мораль этого переворота, что, в противоположность Олегу, я соединяюсь с ней в духе и в плоти: я все ей отдаю, как и она все мне отдает.

Христа я понимаю со стороны и как хорошее Начало чувствую с детства. Но как живую Личность я его не чувствую. Это у нее Он как живой. И я могу воспринять Его только через нее. Сильней и сильней любя ее, я могу приблизиться к Нему.

Загорск. Мое письмо. «Скоро 12 часов 24-го, а завтра я должен дать ответ окончательный, решительный. Правда, ты не ставила мне ультиматума, но я чувствую, что так надо сделать, и сам себе ставлю такой ультиматум от твоего имени: я или они. Ну вот, я все обдумал, все взвесил. Отвечаю тебе. Моя повадка относиться к людям попросту, исходя из моего наивного и обычного в русском народе верования, что будто бы Бог любит *равно*, — эта повадка, признаю, больше мне не годится. Отсюда произошел мой «мезальянс», по словам Герцена, посеянное несчастье. Через мою любовь к тебе вскрылась бездонная пошлость моего бытия.

Теперь я думаю по-другому: «...не всех одинаково, а каждого больше». Теперь я перехожу на сторону автора этого выражения решительно, без компромиссов и навсегда. Не говоря, в какой форме, я порываю связь. И на вопрос: «Ты или они» — решительно говорю: «Ты». Это и да будет исходной точкой моей попытки создать нам обоим как будто бы и заслуженное удовлетворение вроде счастья.

Дать такой ответ мне было недешево, и едва ли у меня хватит сил жить без тебя. Вот почему, если попытка моя не удастся, то, куда ты пойдешь, тоже пойду и я (к той двери, о которой ты мне писала) — и мы будем вместе».

Секрет наших отношений, что художник напал на своего рода художника с ярким лучом внимания к ней самой, а не к принципу, как это делает ее Каренин[17]. Ему дела нет до нее, ему важен принцип брака, в глубине которого таится личная потребность уверенно заниматься чем-то своим, не имеющим никакого отношения к жизни.

Записи М. М. последующих лет:

«Всякое искусство предполагает у художника наивное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям такую ин-

тимно-личную жизнь свою, от которой в былое время даже иконы завешивали.

Розанов этот секрет искусства хорошо понял, но он был сам недостаточно чист для такого искусства и творчеством своим не снимает, а, напротив, утверждает тот стыд, при котором люди иконы завешивали».

«Да, конечно, путь художника есть путь преодоления этого стыда: художник снимает повязки с икон и через это в стыде укрываемое делает святым. Но Ляля, не владея никаким искусством, стала делать любовь свою как искусство.

Вот почему только художник мог понять ее и только художника могла она полюбить».

«...Меня это поразило с самого начала, что Ляля была уверена, как великий художник, знающий, куда она идет...»

«Вдруг мне блеснуло, что муж ее поповского происхождения, что он требовал только от нее семейственности и труда, не возвышаясь до искусства, до поэзии.

Мне вспомнилось, как Розанов не то мне говорил, не то где-то написал, что духовенство наше бездарно в отношении поэзии.

Когда я об этом сказал Ляле, она вспомнила одну свою рубашечку ночную, столь изящную, что мужу своему она так ее и не посмела показать: перед ним ей было *стыдно*».

Александр Васильевич был несравнимо глубже и, главное, несчастней. И еще — он был человек достоинства и чести... Но пусть останется здесь так, как записал.

27 МАРТА. Ее плен горше моего в тысячу раз и есть настоящий плен Кащея Бессмертного. Ее «Кащей», забравши в себя идею христианского единства любви, очень практически использовал ее: под покровом обязательного единства он вообще может выбросить вон самую страшную борьбу человека за живое чувство к женщине, за обязательство и риск быть на каждый день по-новому, быть живым и следить за ее переменами с напряженным вниманием. А Кащей, обеспечив себя верой христианина в формальное единство любви, покойно живет себе и занимается своими делами.

Дай Бог мне тоже не остановиться на чем-то своем… и забыть о внимании, потому что любить — значит быть внимательным.

Вот теперь стало понятным, почему, не разделавшись с прошлым, она не смела сказать мне «люблю». Потому что в ее «люблю» входит и само дело любви; но как любить-делать, если руки связаны, если душа в плену?

При разговоре все обычные понятия, даже очень высокие, как Бог или любовь, она непременно берет в кавычки (в смысле «так называемые»). Делать это можно различными способами. Она делает это как-то по-своему. Она в постоянной борьбе с бытом, с пошлостью. И это и может служить двигателем в дальнейшем нашем путешествии. Сила же любви во внимании: надо быть к ней внимательным.

29 марта. Весна воды в полном разгаре. Грачи, но ни жаворонков, ни скворцов еще нет. Ездил снимать жилище в деревне Тяжино под Бронницами для нашей весны и нашел такую прелесть, о какой и не мечтал. Переживая вместе с весной обмен мыслей с Л., утверждаюсь все больше и больше в своем праве на это счастье и обязанности своей его достичь и охранять…

30 марта. Все думаю о покинутой мною женщине. Мне тяжело не от ее страдания, столь простого, а от соседства моей сложнейшей любви (от которой должно родиться нечто не только для моего личного удовлетворения, а может быть, и еще для кого-нибудь), соседства этой любви со страданьем впустую.

Точно так же, как на войне, теперь надо сознать себя, свое устремление и не оглядываться на падающих людей.

И еще: правда — есть суровая вековечная борьба людей за любовь [18].

Мы стремимся друг ко другу через всякие препятствия — человек это или пусть даже Бог, — это не Бог, если он нам мешает, и не человек.

Настоящий Бог, настоящий человек нам мешать не будет, потому что наше дело правое, на этом вся жизнь стоит, и без этого вся жизнь на земле просто бессмыслица.

Мы с тобой

Дневник любви

«Фацелия» — так назвал эту фотографию М. М. Пришвин. Тяжино. Весна, 1940 год

Миша Пришвин восьми лет

Город Сергиев Посад (Загорск). Фотография М. М. Пришвина. 1920-е годы

Михаил Михайлович и Ефросинья Павловна Пришвины среди гостей в своем доме. Сергиев Посад. 1939 год

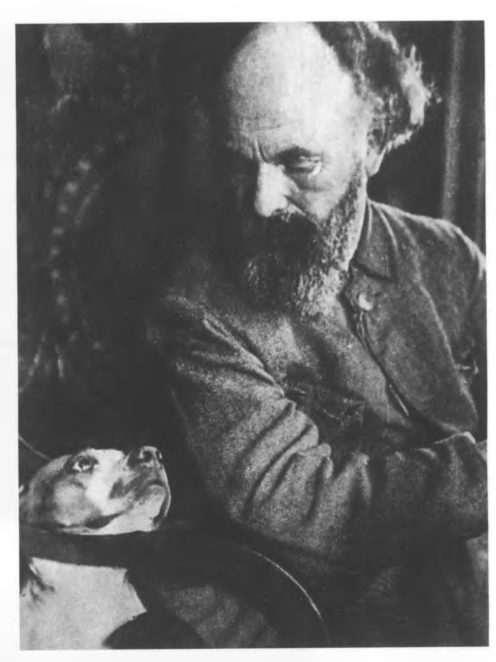
Дом М. М. Пришвина в Сергиевом Посаде, в котором писатель жил с 1926 по 1937 год

Младший сын Петр. 1920-е годы

Сыновья писателя: Петр Михайлович (слева) и Лев Михайлович (в центре) на охоте, под Сергиевым Посадом. 1920-е годы

Аксюша. Конец 1930-х годов

*М. М. Пришвин
с Аксюшей
во время поездки
в Костромскую область.
Весна, 1938 год*



*«Люблю я эту собаку, у нее такие прекрасные глаза…
Быть может, никого у меня и нет, кроме Лады…»
М. М. Пришвин с Ладой в московском кабинете.
Конец 1930-х годов*

Солярий на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке

Кабинет М. М. Пришвина. Москва, Лаврушинский пер., дом 17, кв. 65

Олег Поль (иеромонах Онисим). Последняя тюремная фотография. 1930 год

Портрет Р. В. Иванова-Разумника. Фотография М. М. Пришвина. 1940-е годы

Записные книжки М. М. Пришвина

В. Д. Лебедева. Москва. 1935 год

*Фотография М. М. Пришвина,
подаренная В. Д. Лебедевой в одну из первых встреч.
25 января, 1940 год*

Ляля. 1908 (?)

Ляля в восемь лет

Фотография справа:
«В лесу мы нашли дерево,
на котором был вырезан
крест…»

«Тяжино, куда я увез из Москвы Лялю...»
Фотография М. М. Пришвина. Апрель, 1940 год

«Наутро после похищения Ляля вся в слезах...»
Фотография М. М. Пришвина. Апрель, 1940 год

Ляля с Ладой.
Тяжино. Апрель, 1940 год

«Церковь в Кривцах возле Тяжино...»
Фотография М. М. Пришвина.
Апрель, 1940 год

Валерия Дмитриевна с матерью, Натальей Аркадьевной Раттай, и Р. В. Ивановым-Разумником. Фотография М. М. Пришвина. Тяжино. Апрель, 1940 год

«Сохраненность детства и есть источник ее привлекательности и свежести души...»

«Иногда я думаю, глядя на Л.,
что она гораздо больше того,
что я способен открыть в ее существе...»

Начинаю себя чувствовать в этой любви как сахар в горячей воде или как воск на огне. Чувствую, что весь как-то плавлюсь и распускаюсь. Так, наверное, еще много будет всего, пока все во мне переплавится и выкристаллизуется.

1 АПРЕЛЯ. Настоящая война, и разрушительная сила, и такая же очистительная. И так же, как при войне, и воевать-то не хочется, и тоже вовсе не хочется вернуться к спокойствию порядка до войны...

Это настоящий переворот — переход от «счастливой» и глупозастойной жизни к серьезному. Пусть от всего переживания останутся только муки, и эти муки лучше мне, чем то прошлое счастье. Пусть даже и смертью все кончится — эта смерть моя войдет в состав моей любви, — значит, не смерть, а любовь.

Весь этот последний период нашего замечательного и быстрого романа будет называться «война за любовь».

Глава 13

Война

Я чувствую, как весь в своем простодушном составе переделываюсь в этой войне за Л. Поэтическая лень, страх перед возможным беспокойством, особенно чего-нибудь вроде суда, и многое такое меня теперь оставили. Когда поднимается в душе неприятность, я вспоминаю, *за кого* война, и снова возбуждаюсь, как бедный рыцарь, поражая мусульман.

...За что ты меня сколько-то еще и тогда (как давно это кажется!) могла полюбить, такого глупого и беспредметно-рассеянного в счастливом благополучии писателя? Вот только теперь, во время войны, собранного для жестокого и умного действия, ты меня полюбишь и...

Е. П. довела свой показ злобы до последнего: вот-вот и случится что-то! Она притворяется, лжет, когда говорит, что отпускает меня и скоро уедет. Она сознательно хочет и ведет к тому, чтобы разрушить мою жизнь и, может быть, довести до суда.

И еще было во время этого бедственного дня — вдруг мелькнула мне во время езды на бульваре березка. Тогда из человеческого мира, в котором сейчас я живу и так страдаю, через березку эту я перенесся в мой прежний мир поэзии природы. И мне поэзия эта показалась бесконечно далекой от меня, и мне удивительно было представить себя снова, как прежде, мальчиком, играющим в охоту, фотографию.

Похоже стало, как было на войне 1914-го года увидел я во время боя какие-то церкви обитые, умученные снарядами, и вся красивая природа для меня исчезла.

Вчера доктор, вызванный к Павловне, взглянув на меня, сказал:

— А вы тоже больны, нельзя не быть больным в этих условиях.

Буду лечиться своим способом, то есть бороться за близость к Л. На этом пути помогают силы природы. Я уже чувствую, что могу быть жестоким, когда надо война так война.

И становится понятным, почему иной любящий втыкает нож в своего любимого это тоже из войны, вроде того, как на войне взрывается собственный крейсер, с тем чтобы он не достался врагу.

Звонил Коноплянцев, друг с гимназической скамьи, который, несмотря на Левину передачу, высказал мне сочувствие. Весть эта как первая ласточка из того мира, где все стоит за мою любовь.

Павловна, поплакав сильно, пришла в себя, села у окна. Я поцеловал ее в лоб, она стала тихая, и мы с полчаса с ней посидели рядом.

Все может кончиться тем, что они смутно поймут, какая любовь настоящая.

Сегодня Л. наконец-то поверила в меня и написала мне об этом, что поверила: «Прими же теперь, — пишет она, — мою веру, как раньше принял любовь, и с этого дня я считаю себя твоей женой».

Так что на мое предложение брачного договора она ответила согласием через десять дней.

3 апреля. Ночью проснулся с отвращением. Я и так-то ненавидел созданное рукой губернаторши мещанство своего «ампира»[19]. Теперь же эта война со мною за мебель разбудила во мне дремлющее

отвращение к чужим вещам красного дерева. Острая боль пронзила меня насквозь, и первой мыслью было освободить землю от себя.

Но я перечитал письмо и отказался от мысли освободить всех от себя: сделать это — значит обмануть Л. (она мне сказала: «Прими мою веру»). Сделать это — значило обрадовать всех претендентов на мебель.

6 апреля. С утра работаю и разрушаю все без сожаления, и без упрека себе, и даже без грусти: пришло время.

На основе пережитого можно понять идею происхождения войны. И еще можно написать вторую книгу «Жень-шень» о том, что пришла долгожданная женщина.

7 апреля. Вечером был у Л. Она мне говорила о своей любви ко мне как вступившей в ее душу постоянной тревоге за меня и что это настоящая большая любовь. Я говорил ей тоже, что не вижу в ее существе ни одного «слепого пятна».

— Никто мою душу не мог понять — только ты, — говорила она; и больше говорила, что конца нарастанию нашего чувства не будет.

— А счастье? — спросил я.

— Счастье, — сказала она, — зависит от тебя, это как ты хочешь и можешь.

«Могу!» — подумал я.

Мне было так, будто Кащеева цепь, которую принял я в жизни как Неизбежное, на этот раз разорвалась и я вкусил настоящую свободу.

Надолго ли? Ничего не знаю, но если это Ангел смерти прислан за моей душой и я хоть завтра умру, то и такое короткое счастье свое перед концом сочту за лучшее во всей своей жизни.

Это и да будет точкой моей попытки создать нам обоим как будто бы и заслуженное удовлетворение вроде счастья…

Если же попытка моя не удастся, то я, куда ты пойдешь, тоже пойду, и мы будем вместе.

Мой загад писать ей поэмы так, чтобы они шли не в поэзию, а в любовь, провалился. Она почуяла в них писателя, и значит — это чистый провал. Но один раз в рассказе «Весна света» мною было достигнуто единство, она тогда заплакала и повторяла мне: «Не бросайте меня, я вас полюблю!»

Она писала мне письма, не думая о том, хорошо ли они написаны или плохо. Я же старался из всех своих сил превратить свое чувство к ней в поэзию. Но если бы наши письма судить, то окажется (теперь уже оказалось), что мои письма прекрасны, а ее письма на весах тянут больше и что я, думая о поэзии, никогда не напишу такого письма, как она, ничего о поэзии не думающая.

Так, оказывается, есть область, в которой, при всем таланте в поэзии, ничего не сделаешь. И есть «что-то», значащее больше, чем поэзия. И не то что я, но и Пушкин, и Данте, и величайший поэт не может вступить в спор с этим «что-то».

Всю жизнь я смутно боялся этого «что-то» и много раз давал себе клятву не соблазняться «чем-то» большим поэзии, как соблазнился Гоголь [20]. Я думал, от этого соблазна поможет мое смирение, сознание скромности своего места, моя любимая молитва: «Да будет воля Твоя (а я — смиренный художник)». И вот, несмотря ни на что, я подошел к роковой черте между поэзией и верой.

Вот тут-то, мнится мне, и показывается слепое пятно не у нее, а у меня: слепое пятно на моем творчестве. После нее не захочется описывать мне своих собак, своих птиц, животных. Вот эта ее сладость духовная, поддерживаемая небывалой во мне силой телесного влечения, делает все остальное, включая художество, славу, имя и пр., чем-то несущественным — на всем лежит слепое пятно.

И в то же время это не Чертков и не о. Матфей. Ее смелость в критике бытовой Церкви... Она в нравственном мире такая же свободная, как я в поэзии.

Итак, если с точки зрения поэтического производства у нее и есть будто бы слепые пятна, то они объясняются моим недопониманием.

Надо иметь в себе достаточно смелости, чтобы войти внутрь ее духовной природы, постигнуть ее до конца, обогатиться по существу (не поэтически) и потом с достигнутой высоты начать новое творчество по большому кругозору.

И так будет: писать теперь не «красиво», а как она — по существу.

При моем последнем докладе она сквозь обычное свое недоверие к моим словам о борьбе с безобразием в моем доме снисходительно и чуть-чуть удивленно и радостно улыбнулась моим «победам». Ее мать при этом решилась даже сказать:

— Как же ты не понимаешь, что М. М. сильный человек.

Услыхав это «сильный человек», Л. дернулась было и вдруг поглядела на меня, как на ребенка, с такой любящей материнской улыбкой, будто заглянула в колыбельку и шепнула себе: «Вот так силач!»

Мне хотелось выразить ей свое чувство вечности в моей любви к ней в том смысле, что мы сейчас дерзкие, все вокруг себя разрушили в достижении сближения, и мы добились, мы вместе. Но придет время, придется нам, быть может, повернуть, и мы тогда не врозь пойдем в лучший мир, а тоже вместе (вечность).

Когда мы сидели за столом и я ей это говорил, она не понимала меня. А когда мы перешли на диван, и я примостился с ней рядом, и корабль стал отплывать, я сказал ей или шепнул:

— Как же ты не понимаешь меня, вот мы с тобой отплываем в какой-то чудесный мир.

— А он же — это и есть настоящий мир, настоящая жизнь.

— Ну да, это я понимаю, но я думал о том другом мире блаженства, за той дверью, перед которой вы стояли с Олегом.

— Как же ты не понимаешь, — сказала она, — мы же и сейчас в него идем, — настоящий мир *один* и вовсе не разделяется.

Не знаю, были ли на свете такие любовники, чтобы, любя, не переставали мыслить и, мысля, не переставали любить?

Эта не покоренная страстью мысль была похожа на руль, которым мы направляли корабль свой в Дриандию[21], страну свободы и блаженства, где всякая грубая чувственность просветляется мыслью и всякая мысль и рождается и подпирается чувством.

Небывалое и единственное переживание мой философ оборвал словами:

— Ну, поплывем обратно!

8 апреля. Был у Ставского, раненного еще в декабре[22]. Теперь он еще в постели. Нога болит. Когда он увидел меня, то стал восхищаться моей книгой «Жень-шень».

— Разве вы только теперь прочли?

— Я десять раз прочел, — сказал Ставский, — а теперь только понял.

— Что же вы поняли?

— Сейчас я понял книгу как мучительный призыв, чтобы пришла настоящая женщина...

Тут я остановил его и сказал, что он верно понял и он не один так понял: женщина, для меня самая прекрасная во всем мире, про-

чтя «Жень-шень», пришла ко мне узнать, есть ли во мне живом хоть что-нибудь от того, который описан в книге. И вот она узнала меня во мне, и я узнал в ней ту, которую всю жизнь ожидал. И, узнав друг друга, мы соединились, и я объявил состояние войны за ту женщину и за свою любовь... И так в свои годы я начал новую жизнь.

Ставский был потрясен моим рассказом. И мне очень понравилось у него, что, когда я потом намекнул ему, с каким мещанством встретился я, воюя со старой семьей за новую жизнь, он поправил меня:

— Это неправда, что они мещане, просто огорченные люди.

«Откуда это у него?» — подумал я. И только подумал, вошли дети Ставского, почти взрослая девушка и совсем маленькие. И оказалось, что дети от трех, сменяющих одна другую, женщин. Так вот, понял я, откуда у него взялось сочувствие к огорчению покидаемых женщин.

Когда мы расставались, он сказал мне, что если надо будет в чем-нибудь помочь — он поможет.

— Да мне, — сказал я, — это едва ли...

— Я думал не о вас, — ответил он, — а о вашем новом друге.

Сегодня, когда я шел к Ставскому по Крымскому мосту, моросил теплый весенний дождик, «серые слезы весны». Я мечтал о том блаженстве, когда мы уедем в Тяжино, когда я буду через несколько дней вводить Л-ю в свои владения, и называть не виданных ею, не слыханных птиц, и показывать зверушек, и следы их на грязном снегу, и что это будет похоже на рай, когда Адам стал давать имена животным. И тут вспомнилось библейское грехопадение, и в отношении себя протест: не может быть грехопадения!

«И во всяком случае, — раздумывал я, — мы столько намучились и так поздно встретились, что нам надо обойтись без греха, а если то и может быть «грехом», то преодолеем и грех».

Мы сами, конечно, можем где-то ошибаться, но людей в нашем положении легко можно представить себе преодолевающими обычные разочарования друг в друге и последующий плен.

«Может быть, я сделаю эту ошибку? — Нет! Я-то не сделаю. Вот разве она? Ну, уж только не она!» И я погрузился в раздумье о ее замечательных письмах и ее прекрасной любви, и девственной, и умной, и жертвенной, и обогащающей.

За что же мне достается такая женщина? Подумав, я за себя заступился: «Ты же, Михаил, не так плохо воевал за нее». И, вспомнив все муки пережитого в этой войне, повторял: «Неплохо, неплохо...»

История нашего сближения. Я все хватал из себя самое лучшее и дарил ей и все обещался и обещался. Она принимала эти «подарки» очень спокойно и раздумчиво, уклоняясь от своего «да» и своего «нет».

У Ляли душа столь необъятно мятежная, что лучшие зерна большевистского мятежа в сравнении с ее мятежом надо рассматривать под микроскопом. Я давно это понял, и, наверно, это было главной силой души, которая меня к ней привлекла. Это революционное в священном смысле движение.

Как это ни смешно, но впервые я в ней это почувствовал, когда на вопрос мой: «А где эта церковь?» — она ответила: «Эта церковь у черта на куличках».

Как же ей противно, как должна была она мучиться, какому испытанию подверглось ее чувство ко мне, когда Павловна открыла войну из-за своей личной огорченности.

В сущности, Ляля содержит в себе и весь «нигилизм-атеизм» русской интеллигенции, поднимаемый на защиту Истинного Бога против Сатаны, именуемого тоже богом. В этом я ей по пути.

В своем физическом существе я давно уже чувствую ее тело как свое, и через это в беседе с ней как бы прорастает зеленая новая трава через прошлогодний хлам.

Так вот, она высказала известное мне с детства:

«Я — есмь истина». В ее высказывании явилась мне, однако, моя собственная излюбленнейшая идея о необходимости быть самим собой, и дальше эта основная идея моей жизни превратилась в деталь этого «Я есмь истина». И я впервые понял сущность этого изречения.

Второе пришло мне при разговоре о разрушении мира. Я вспомнил свою детскую веру в прямолинейный прогресс и как потом это прямолинейное превратилось в движение по кругу: получилось похожее на буддизм (закон кармы, перевоплощение и т. д., и т. д., без конца). Теперь же через Лялю меня вдруг насквозь пронзила мысль о прогрессивности и творческом оптимизме при разруше-

нии мира: в этом разрушении и рождается для человеческого сознания идеал Царства Божия — нового совершенного мира. И что такое сознание не есть, как думалось ранее, идея христианского сознания, а, напротив, идея нашей повседневной жизни.

Мне стало вдруг понятно, что такие переходы, скачки из старого в новое через катастрофы, совершаются постоянно. Взять хотя бы даже эту нашу любовь, это чувство радости, рожденное в страдании разрушения привычной моей жизни... Вот откуда родился в религии образ Страшного Суда. Вот откуда в истории революция. И вот еще почему всякая большая любовь с точки зрения устроенного быта *пре-ступна*!

Физический плен и освобождение через Лялю, только через Л., потому что с другой, пусть разумной, но не вдохновенной, — нельзя. Это будет искажение духа.

Проследить у Л. борьбу черного Бога аскетов с Богом светлым и радостным, а имя и тому и другому одно.

Запись 1941 г.: «Коренное свойство Л. есть то, что она находится в вечном движении, что она — смертельный враг всем костенеющим формам, с ней всегда интересно, она всегда в духе, если только ты сам движешься вперед. В ней есть та возрождающая сила, которая вела Боттичелли в его борьбе с Савонаролой».

Изыскания литературоведа. Раз. Вас., описывая мои дневники, нашел запись в 1916 году о том, что я построю дом на участке, доставшемся мне после моей матери, и покину эту семью.

Так и сделал я в 1918 году, но на стороне ничего не нашел и вернулся.

Еще он нашел в 1916 году запись о «Фацелии». 26 лет вертелось, пока был написан рассказ.

9 апреля. Вчера во время разбирательства с Левой у Чувиляевых мелькнула мысль о том, чтобы купить себе где-нибудь в Бронницах домик и жить в нем с Л., наезжая в Москву. Тогда борьба за квартиру станет борьбой «за люстру» и вообще чепухой. Как просто! Надо только спасти от них архивы — и, главное, Лялю от их мстительного преследования.

Трудность ее в том, что ей приходится быть в напряженном со-

стоянии: ждать худого или хорошего. Но она давно уже привыкла ждать только худого.

И еще в этом романе выдался убойный день, такой трудный, такой тяжелый! Самое плохое было, что, вспоминая в то время о друге своем, из-за кого и происходит у меня эта война, я чувствую, что и у нее на груди нельзя мне отдохнуть.

Мне ведь и прошлые разы было стыдно, что я заставляю мать и дочь переживать эту подавляющую грязь. Я еще тогда дал себе слово в следующий раз молчать. И в то же самое время думаешь и так: а какой же это друг, если стесняешься поделиться с ним своей бедой. Хочешь не хочешь, а так оно и есть: друзья мы, конечно, большие. А в то же время во всем у нас больше «хочется», чем «есть».

Неправда, что Ляле нельзя всего говорить и что речь идет о чем-то внешнем, если приходится утаивать. Ничего внешнего в смысле причины для нее не существует: пусть буду я даже гол как сокол. И нет ничего тайного, что ей нельзя было бы открыть. Единственное «нельзя» в отношении нее, это нельзя приходить к ней с душой смятенной, вялой и пораженной, — к ней приходить надо с победой. Ай-ай-ай, как хорошо написалось!

Вижу, я не угас, отрешаясь от былого обожания природы, все, что было прекрасного в этом моем чувстве природы, теперь пойдет на чувство к Л. и останется в нем навсегда. И гигиеной этого чувства будет правило, что к Л. приходить можно только с победой.

Вечером был у Л. Почти решено уезжать 12-го. Маленькая ссора непонятно из-за чего. Но когда мать вышла и пятнадцать минут за дверью грела чайник, мы успели помириться. Фазис войны за Лялю подходит к концу.

Если бы они могли, эти «любящие», личность мою как источник их благополучия захватить, то они бы взяли и превратили ее во вьючного осла. Но они личность мою не могут забрать и потому хватаются за вещи. Комната в квартире, однако, ближе всего к личности, и потому прежде всего надо захватить комнату.

Аксюша вгляделась утром в меня и сказала:
— М. М., вы стали теперь не таким, как прежде.

— Каким же?

— Детство свое потеряли.

— Как так?

— И глаза у вас не такие, как прежде, и сердце ожесточенное. Теперь вы не будете, как раньше, любить природу.

— Довольно, Аксюша, природы: вот она, матушка, сама видишь, как она наколошматила, еле жив остался. То время прошло, теперь я иду к душе человека.

— Я знаю, только, если бы не В. Д., вы, может быть, так в простоте и прожили, и хорошо! Сам Господь сказал: «Будьте как дети».

Сердце мое сжалось от этих слов и… Но таков путь сознания: хочешь двигаться вперед — расставайся с пребыванием в детстве. И, во всяком случае, «будьте как дети» есть движение сознания к идеалу детства, но не покойное в нем пребывание.

В свое время Церковь из верующих создала свое церковное животное вроде Аксюши. Как и всякое животное, прирученное человеком, Аксюша послушна, Аксюша смиренна, Аксюша вполне совершенно глупа! Самое девство ее от безмыслия становится бессмысленным: она благодарит Бога за свое девство потому, что время тяжелое, в ее возрасте женщины имеют по пяти детей и мучаются, она же свободна, одета, обута, сама себе барыня, то есть благополучна.

Вот в этой-то именно точке, где животное получает дар слова, и происходит отталкивание друг от друга Аксюши с Л. Аксюша подозревает в Л. какую-то для нее непонятную мысль: не затверженную мысль, а мысль свою собственную, которую от себя как высший дар свой человек прикладывает к той установленной, собранной веками мысли. Л. же старается скрыть свою брезгливость к существу безмысленному, к этому церковному животному.

Аксюша сейчас переживает искушение, на нее «находит», и тогда разговаривать с ней невозможно.

— Михаил Михайлович, я не могу больше молчать, она теснит мою душу.

— Ты у меня служишь?

— Служу…

— И служи. Какое же тебе дело до моих отношений с людьми?

— Но зачем же она теснит мою душу?

Взбешенный, я прогоняю ее, а через несколько минут она опять стоит в дверях, как прежде послушное животное, и монашеским ус-

ловно-сладким голоском мне докладывает о мелочах нашего хозяйства.

Церковное животное во многих своих разновидностях «христовых невест» вроде Аксюши, попов и дьяконов неверующих, старцев-самозванцев, кликуш — играет большую роль в деле разрушения Церкви.

Через Аксюшу и всякое церковное животное смотрю на весь животный, растительный и минеральный мир как на продукты разложения совершеннейшего организма, в котором когда-то все это было одухотворенными частями единого Целого. Да и сейчас, когда приходишь в дух и глядишь на мир, на землю и особенно на небо с творческим вниманием, то каждая тварь, каждая мелочь становится радостно-прекрасной в Целом.

Вот истинный путь, наверно, и есть дело восстановления Целого, а не бездейственное пребывание в неподвижном порядке.

Вспомнил обвинение меня в том, что я столько лет жил возле семьи без любви... А вот Коноплянцев[23] служит в Наркомате Легпром, не любя этого дела, и вообще все люди, кроме горстки счастливцев, разве тоже не привязаны и не живут без любви?

Я хотел разделить участь *всех* людей...

Заметить: в этой войне за Л. сама она мало-помалу, при ожесточенности моего сердца, превращается в принцип. Если бы не наши свиданья, восстанавливающие живую связь, то, может быть, после войны я и не узнал бы ее, и не захотел, и подивился: из-за чего же кровь проливал?

10 апреля. В Загорске складываю вещи, налаживаю машину, покидаю семью, быть может, навсегда. А весна задержалась.

Ночь на 11-е апреля. Все рассказал Яловецкому и ужаснул его, и он, как все хорошие люди, схватился за мое здоровье.

— Разве вы не видите, — сказал я, — что я выгляжу лучше?

— Вижу, — вы стали на вид совсем молодым. Яловецкий требует удаления Аксюши — нельзя положиться.

Яловецкий открыл мне, что собственническое чувство на отца вообще присуще детям, и потому объединение вокруг матери сы-

новей с точки зрения психологии людей кремневого века вполне понятно. Это собственническое объединение прикрывается заботой обо мне, как бы я не попал в руки такой же собственницы, как они, и все зло, против которого они выступают, олицетворяется в образе «тещи».

Со мной это часто бывает, что от всего сердца хочешь чем-то обрадовать, а потом, когда сделаешь что-нибудь, как задумал, вдруг поймешь, как я это сделал неловко, и чем больше проходит времени, тем становится стыднее вспоминать.

Так вот, я, предлагая свой брачный договор, написал, что беру обязанности по обеспечению средств существования; это еще ничего, но вот «чего»: тут же предложил деньги на переезд (они обменяли, наконец, комнату). Это, уж конечно, из далеких купеческих недр: купчик влюбился и швыряет деньгами.

Л. чуть-чуть дернулась, чуть-чуть сконфузилась, но взять не отказалась, чтобы не пристыдить меня. Сейчас вспомнишь и покраснеешь! Одно утешение: пусть смешно, да не худо, а самое главное, что я сознаю.

11 апреля. Ходил к Л. (переехали), увидел Л. без подготовки к моему приходу и ахнул: до чего она извелась. И мать извелась. А я ходил и не замечал. Мать хотела на кумыс ехать — осталась, боится за дочь. Дочь хочет со мной ехать — боится мать оставить. Л. сказала мне: «Напрасно резиновые сапоги покупал, я теперь могу только лежать, и только этого хочется — лежать и лежать...»

Я понял, что не понимал трудность своего положения, не понимал потому, что на себя, на свои силы рассчитывал и не думал, что Л. сохнет, теряет последние силы.

И почему не я помогал при переезде, а другой человек? Все произошло потому, что я в жизни своей никого не любил и вот теперь попал в огонь.

...Ну и что же? Если Л. слабая, надо ей помочь; не сумею помочь, я буду любить ее... Мне кажется, что я так люблю ее, что любовь эта от болезни сильнеет у меня и спасет ее.

Аксюша спросила меня:

— Вы сознаете, М. М., что в свое время ошибку сделали?

— Какую?

— Да что сошлись с Е. П.

— Сознаю.

— А если сознаете, то должны ошибку поправить и дожить с ней до конца.

— Это значит — и себя погубить, и свою любимую женщину.

— Вы веруете в Бога?

— Я считаю того бога, которому жертва нужна, как ты говоришь, Сатаной. Я же служу тому Богу, который творит любовь на земле.

Ляля, конечно, замечательная женщина, но ведь и я тоже, наверно, замечательный, если в своем возрасте могу так любить. Но вот чего не хватает у меня: не хватает сознания своей значительности. Я вообще похож на царя Аггея, который покинул свое царство, чтобы поглядеть на жизнь народа, и, когда увидел, не захотел возвращаться на трон [24].

Да, тут у меня на Л. поставлена жизнь, и если тут провалится (только этого не может быть), то мне остается уйти в странничество, и тут возможна радость такая, какой я не знавал. Вообще, главный источник радости является, когда жизнь бросается в смерть, и эта добровольно принимаемая смерть уничтожает в сознании страх и зло физической смерти («смертью смерть поправ»).

12 апреля. В 3–4 часа дня «Мазай» [25] приехал на Бахметьевскую. Увожу Л. в Тяжино. Л. сидела на стуле желтая, измученная до «краше в гроб кладут» и, как после оказалось, готовая к отказу мне (расстаться на время равносильно отказу). Ее мать, смущенная, отстранялась на этот раз от сочувствия мне. И когда Л. сказала мне: «Не верю тебе», мать безучастно смотрела на меня, будучи в полной зависимости от дочери.

В этот момент представилось мне, как я полчаса назад в пальто вошел к Павловне, положил перед ней деньги и она мне сказала: «А комната моя, никому не отдам». И я ответил холодно и резко: «О комнате решит суд». И вышел.

И вот теперь: там все сгорело и тут «не верю». Я почувствовал в себе холод, начало злого решительного действия. Однако холод не стал как-то распространяться по телу, замер, и пришла слепая точка души, когда все делаешь механически. И Л. тоже механически отдала свой чемодан. Ехали в раздраженном состоянии, я вовсе не понимал, в чем я виноват, за что она мучает меня.

Глава 14

Незаписанная любовь

19 АПРЕЛЯ. Прошла с 12 апреля неделя сплошь солнечная. Прошли дни, которых нельзя было записать. Но счастье в том, что дни эти не только не прошли, а не могут пройти, пока мы живы, дни останутся. И если записать нельзя, то можно о них написать: в природе была неодетая весна — у людей незаписанная любовь.

Сегодня Л. уезжает на какой-то день-два, много три, но мы прощаемся, как будто расстаемся на три года. Она меня перекрестила и велела себя перекрестить, и, когда я руку свою, меряя по себе, повел справа налево, она поправила и помогла вести от меня слева направо. Это вышло у меня оттого, что, крестясь иногда, я думал только о себе и впервые подумал о другом.

Около 6 ч. мы вышли в поле. Оба согласились, что двум стоять в ожидании автобуса, когда одному ехать — другому оставаться, нехорошо. И она пошла полем в Кривцы, я — в лес на тягу. Долго мы оглядывались, пока она не скрылась за хвостиками леса. Я почти не чувствовал утраты, потому что душа ее прилетела ко мне и сопровождала мой путь в лес.

Дождик теплый, и на глазах вызывал из земли зеленую траву, обмывал почки. Я, чтобы не вовсе промокнуть, стал под большой сосной, ружье положил на землю, руками назад обхватил дерево и стоял два часа в ожидании вальдшнепов точно в таком со-стоянии с деревом, как с Л. Тогда вихрем вырвались из сладкого единства мысли разные, как протуберанцы из солнца, и глаза в то же время спокойно и безучастно следили, как по веточкам у почек сбегались светлые капельки, росли, тяжелели и падали, как прилетела маленькая птичка — хохлатый королек и в двух шагах удивленно глядел на меня...

Раньше мне всегда казалось, будто я вхожу в природу как бы с краю и дальше она постепенно меня охватывает и покрывает собою, как покрывает лес высокий все свои маленькие существа, и я оттуда, из недр природы, взываю к Целому миру как ничтожная часть его: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Теперь же я, обнимая сосну, как будто всю природу обнимаю и заключаю в себя, и все совершается если не прямо во мне, то где-то близко, где-то у меня на дворе.

И это все, весь этот переворот, происходит только потому, что я теперь не один и согласен в чувстве величайшей благодарности с другим существом. Раньше мне надо было смиряться до твари, взывая из темного леса: «Да будет воля Твоя». Теперь, как в раю, тварь приходит к нам, теперь мы и ее раз-личаем и каждому лицу даем свое имя.

Вальдшнепы сильно тянули, но старыми патронами рассеянно и плохо стрелял.

За два часа в со-стоянии с сосной перебирал этапы движения моего чувства «незаписанной любви» и все старался распределить материал пережитого в нарастающих кругах развития одной и той же мысли о единстве материального и духовного мира, плоти и духа.

И мне казалось, что если бы удалось мне на глазах у людей раскрыть эту завесу, разделяющую мир духа и плоти, то мне удалось бы создать полный распад всего того, что мир обманчиво называет «устоями жизни». Тогда бы Мысль человека была всегда в своем происхождении из чувства любви и любовь бы стала одна во всем мире для всех людей, как родина Мысли, Слова и Согласия.

Л. прочла мне какое-то письмо, переживая его, я уснул у нее на руках возле груди в каком-то легком хрустальном сне, и когда проснулся, увидел ее над своим лицом в необычайном радостном возбуждении. Она была счастлива тем, что я спал у нее, что я был для нее в этом сне как ребенок и она как мать. И у нее от этого наяву были тоже хрустальные сны.

Утром на рассвете я просыпаюсь от мыслей, и один, как ни бейся, заснуть не могу. Но стоит мне перейти на постель спящей Л., положить руку на ее тело, и я засыпаю, и просыпаюсь вместе с ней бодрый и веселый.

Перед сном, на постели мы с ней все говорим — мы супруги. Наша постель — это место, где души сливаются в одно. Если о любви писать, о ее оправдании, то нужно, прежде всего, такую постель оправдать.

Я стал пить чай. Она осталась одна. Я и чувствовал, что не надо бы ей *после этого* одной оставаться... Ее охватила ревность за идею, она подумала, что, может быть, я и совсем отошел от нее, что я «до-

стиг». Ее же идея в том, что нет достижения и всякий момент любви, духовной или чисто плотской, равноправен в движении.

К вечеру она стала мрачнеть и затаиваться. Во время приготовления ужина я поцеловал ее в локоть, она подумала, что я этим поцелуем хотел маскировать отсутствие чувств, и отодвинулась к окну. Я же подумал, будто я ей надоел. Так мы поужинали, и я лег в кровать. Она тоже легла с отчаянной мыслью, что вся любовь пошла прахом.

— Ты о чем думаешь? — спросила она.

— Я думаю о лужицах, по которым мы сегодня ходили, — ответил я.

— Врешь, — сказала она, — прощай! — И замолчала.

Через некоторое время она сказала:

— Ты что же это, значит, не придешь ко мне?

— Разве можно? — удивился я и бросился к ней. И долго, долго спустя был у нас разговор:

— Ты чувствуешь царапину?

— Да, чувствую, но мне хорошо, я наслаждаюсь состоянием единства в полном безмыслии.

— Так надо, конечно, а потом надо усилием поднимать чувство выше.

— Туда, где мысль начинается?

— Туда, где мысль и новое единство в различии: каждый по-своему и оба в единстве. Понимаешь?

И когда я ушел к себе, она сказала:

— Ну, теперь я спокойно усну, теперь я опять могу любить!

Так она боится и борется за единство любви. По-видимому, в этом и есть ее призвание: отвоевать мысль из страстного единства, быть акушером новорожденной мысли.

Ново в ней и, может быть, единственно, что, отстаивая мысль, она ни капельку не делается «умной» женщиной, а остается исполненной нежности и игры чувства.

Вдруг понял: поэзия — это и есть та самая «страсть бесстрастная», о которой писал Олег. Если углубляться в сущность ее, то и поймешь, почему это во всей мировой литературе у женщины лейтенант предпочитается поэту (дуэль Пушкина). Ляля — это исключение.

Новый документ из эпохи любви Л. и О. мне прочелся, как глава из романа о Мадонне без Младенца на руках. Но «Песни Песней»

тут нет и быть не может, потому что страсть бесстрастная не может ее напитать.

Есть вера как знание, понимаемая нами как знание истины с помощью всех свойств и способностей человека.

Эта «вера» складывается в борьбе столь различных элементов ее, что Л., по-моему, вмещает в себя весь атеизм и нигилизм русской интеллигенции. А что остается в натуре ее, или в заработной части своей личности, то и есть ее вера.

Так вот, в память отца она каждую «Вербную» должна соединиться с матерью: ее родители встретились впервые в этот день. Но если она сейчас любит — эта любовь живая больше прошлого, покойники могут подождать, а «Милый» ждать не может. И она идет к Милому.

В «Крейцеровой сонате» сказалась вся сила изуверства в презрении к плоти и его ложь. И через это раскрываются глаза на всю культуру этого разделения: нужно всем глаза на это раскрыть (мысль Л-и).

20 апреля. Л. все-таки уехала к матери.

С утра туман и теплый дождь, первое начало позеленения на дорожках, в первый раз после Святой недели в отсутствие Л. берусь за перо. Настолько сильно чувствую ее возле себя, что от разлуки не страдаю и мне хорошо.

Вспоминаю вчерашнее. Я вышел из дому, месяц светил, звезды. Почему-то я вдруг почувствовал себя старым, немытым, небритым, неинтересным, а ее блестящей кокеткой в светском обществе. И мне стало жалко себя до слез. Вернулся с мутными глазами…

— Ревность? — удивилась она. — Вот так выдумал! — ревность к женщине, которая собиралась уйти из жизни и приняла эту любовь как отсрочку смерти.

— Глупо, конечно, — ответил я, — но ведь и всякое отклонение от основного русла жизни кажется глупым. Разве ты не можешь полюбить кого-нибудь?

— А если так будет, ты представь мое письмо как документ.

— Умная женщина, а говоришь о документе в любви. Ты сама написала мне, что веришь мне и считаешь себя женой, а двенадцатого сказала: «Не верю». Любовь свободна, и я готовлюсь сжечь все

документы... Я ведь только перед месяцем и его звездочкой выказал свою тревогу и тебе сказал лишь на основе нашего договора о правде. Это не у тебя, не у меня, а в составе самой любви заложено чувство ревности, но как человек я готовлюсь к жертве на случай необходимости.

На это она ничего не ответила. Я же ей напомнил Олега:

— Что мог сделать О., когда ты пошла за другого? А разве не могу я попасть в его положение? Только я должен на случай приготовиться и не упрекнуть. Так и буду любить тебя и буду готовиться к тому, что ты меня бросишь, готовиться облегчить не свою, а твою боль обо мне. Трудно подумать о такой возможности, но, как хороший хозяин, я готовлюсь теперь, когда всем обладаю, к невозможному.

Начинаю до крайности ясно разбираться в судьбе Л. Попади она только на путь искусства — была бы она интересная большая артистка, и никто бы ей слово упрека не сказал за ее многообразную любовь.

Но случилось, из-за катастрофы в своей личной судьбе, она вступает на путь искания «достоверного» и заканчивается в сфере любви в самом глубоком смысле слова. Тогда, через высокие требования любви и жажду любви настоящей, все искусства, весь быт человеческий и даже вся земная жизнь в ее сознании попадают в сферу недостоверности.

Будь она «чудачка», так бы она и жила чудачкой, но она, интересная, жила нормальной жизнью, и вот из-за этого она летала в жизни, как ласточка над водой: ласточка коснется воды крылышком — внизу кружок на воде, Л. коснется жизни — любовь.

Читали последнее письмо Олега, и его страдания вызывали образ Распятого. Мне было особенно близко заполнение его душевного мира скорбью об утраченной душе Л-и (когда она решилась на брак). В мире больше ничего не оставалось — ни людей, ни природы, ни искусства, кроме этой скорби об утрате Л-ли.

Мне было близко лишь это заполнение своей души другой душой, но основное чувство, конечно, обратное. Мне теперь складывается все так, что цельный физически-духовный образ Л. целиком сливается с тем, что я достигал своими писаниями.

Смысл моего будущего искусства, его назначение заключается в том, чтобы привязать Л. к земной радости. Я, конечно, и раньше бес-

сознательно точно так же относился ко всему искусству, мне всегда хотелось своими силами удержать на земле преходящее мгновение. Теперь это мгновение — в сердце Л., и судьба моя теперь как писателя совершенно сливается с моей судьбой как мужа Л. Сколько мне удастся удержать Л. рядом со своей душой, столько же удержусь и я как писатель.

Раньше в природе я как в море плыл, и меня природа окружала как на корабле. Теперь же в природе я стою как у берега моря, и этот берег — мой друг.

> Запись 1942 г.: «Ночью думал, что любовь на земле, та самая обыкновенная и к женщине, именно к женщине, — это все, и тут Бог, и всякая другая любовь в своих границах: любовь-жалость и любовь-понимание — отсюда».

Еще думал на тяге о справедливости разрушающей силы всего нового Большого, идущего против старого Маленького и сокрушенного. И что есть милые прелестные существа и создания, обреченные на гибель. Это — закон развития. Но есть в этом всеобщем исполнении закона непонятное исключение: в этом Малом, обреченном, открывается такая сила сопротивления, что на его сторону становится само Будущее.

Так, мы знаем все, что в «Медном всаднике» будущее не за Петром, а за Евгением. Так и борьба этой девочки через всю жизнь вплоть до нашей встречи за себя, за свой любимый мир.

Собирая том «Дневника» [26], читаю свои искренние записки и даже в этих чисто художественных вещицах чувствую упрек своей прежней жизни. Так вот, описывается, как приходит тоска, и об этом говорится, будто она неизбежна. Между тем, с тех пор как знаю Л., нет этой тоски. И так вот жизнь эта отшельническая по существу «духовная», по существу только эгоистическая, с аскетическим презрением *к самой жизни*. И это в глазах чудаков имело вид «Пана», и сам я — охотник.

Ай-ай-ай, выходит, аскетизм-то был предпринят ради литературы о Пане! Из-за этого призрака замариновал себя в банку и так провел жизнь, как наконец все оборвалось, и захотелось того, что есть почти у каждого.

После обеда явилась из Москвы дочь нашего дачного хозяина и сказала, что в Лаврушинском ее встретила «небольшая плотная женщина». Этого достаточно было: «Не уехала!» И насколько счастья прошло за неделю, настолько здесь злобы. Теперь я уж больше ни видеть, ни говорить с ней не в состоянии. Очевидно, полученный шок при напоминании режет душу.

Вот отчего тот или иной человек «ни с того ни с сего» вдруг дергается, мигает, таращит глаза, кривит рот…

Лично не участвовать, работать и беречь Лялю. Тужить теперь не надо: мое главное, чего тогда не было, теперь со мной, а для двух — все пустяки.

Пишу сейчас лишь для того, чтобы унять поднимающуюся тоску от вести о Е. П.

Сегодня удалась моя внутренняя молитва. Я просто, как Друга, просил И. Х. помочь мне уберечь Лялю с собой до конца жизни. И в ответ на это получил уверенность в том смысле, что «все зависит от тебя самого. Если ты будешь в духе — она неизменно будет с тобой».

После того я увидел ее как бы окруженную тем паром или дымком, которые исходят от земли в апрельские дни, через которые смотреть — все видимое колышется и преображается. Мне она была и как обыкновенная женщина, и как еще нечто, чего у всех нет.

Странно было, что через это мне открывалось правило практическое, правило отношения к ней. Ни в коем случае не надо мне влиять на нее в отношении литературной помощи (чисто практической), кроме того, что если самой захочется. Ее нужно искать в отношении внутренней помощи, что же касается внешней, то она этим и так по существу своему исполнена во всех отношениях слишком достаточно.

Надо, напротив, стараться дать ей самой пожить хорошо. Она это заслужила. И вот этим именно усиленным вниманием и можно удержать ее навсегда. И это в своих руках: любишь и будешь держать, разлюбишь — уйдет.

23 АПРЕЛЯ. Я сказал ей:

— Мне кажется иногда, что источником моей любви к тебе служит особенное сочувствие к твоему страданию: мое состраданье. И подчеркиваю, как странность для меня: чужое страданье мою при-

роду отталкивает, а твое, напротив, служит даже источником моей природной мужской любви — как это понять?

— Это понять можно, — ответила Л., — ты любишь меня по-настоящему, и я тоже тебя люблю по-настоящему, и тебе отвечу, мне кажется, если даже буду сама умирать.

Не забыть бы, как бродили мы тем утром в лесу по снежному оврагу; в каком свете купалась душа; как радостно было, что я могу без сомнения и страха взглянуть прямо в лицо твое. (Ах, эти тайные взгляды в лицо! Сколько их бывало в прошлом и с какой болью вспоминалось сейчас.)

Ночью призывал к себе Л. и постепенно к утру понял, что любовь моя к ней — *вся любовь.*

Продумав это, я уверился в правде своей при борьбе с Е. П. и ненависть к ней, которая вчера поднялась, перестал испытывать.

По-моему, Л. полюбила меня по-настоящему именно в те минуты, когда я уснул в постели на ее руке, тут что-то ей пришло от «спи, дитя мое», — от ее призвания.

Проснувшись, я изумился на нее: Мадонна, и даже свет от лица…

Получен ответ из Москвы, холодно-расчетливый и без конца циничный. Похоже было, будто я, величественный дуб, был повален ветром и люди смотрели на мои вывернутые корни и говорили: «Вот и все».

Итак, архивы мои в плену и у меня нет жилища. Л. отнеслась к письму до крайности спокойно и даже меня успокоила — ей теперь все равно, где жить.

Этот ответ, однако, расстроил меня, и я думал о «финише» том страшном, когда он зачеркивает и все предыдущее хорошее. Так вот, они своим последним выступлением перечеркнули всю прошлую жизнь с ними, и от прошлого у меня остались только книги, и ничего для себя! В этом же и есть весь ужас смерти, и с этим борется человек, верящий в Жизнь. И вот Почему я стал на путь с Л.

«Сказка о рыбаке и рыбке» [27].

«Дорогой Борис Дмитриевич, с большой радостью и гордостью

сообщаю Вам, что мы с другом Вашим В. Д. согласились на брак, и значит, Вы — наш сват.

Дорогой мой сватушко, любовь, которая привела нас к браку, точно такая же простая любовь, как и у всех живых существ на земле. К этому всемирно-святому чувству единства всей твари перед лицом Господа у нас присоединяется в сильной степени равенство наше в человеческом смысле как животворный обмен двух личностей, и равных и разных. В этом отношении у каждого из нас скоплены такие богатства, что конца этому обмену не видно, и мы верим оба: конца этому обмену и не будет до гроба.

Я знаю, после такой декларации Вы изумитесь и спросите, но как же все произошло? Дорогой сватушко, все у нас произошло как продолжение всем известной сказки о рыбаке и рыбке. Вы, наверное, замечали, читая эту сказку, что она не закончена, потому что роль одного из действующих в ней лиц, а именно Старика, — не раскрыта.

В самом деле: злая Старуха справедливо наказана, огорченная Рыбка уходит в море, но за что наказан Старик, если он же и пощадил Золотую Рыбку?

Не должно быть, чтобы чудесная Рыбка позабыла человеческое добро и оставила Старика на растерзание Старухи. Не может этого быть! И вот мы — рыбка Л. и я, Старик, — продолжили сказку примером собственной жизни.

После того как Старик вернулся от Рыбки домой и увидел свой прежний домик с разбитым корытом, он понял, что Старуха не даст ему жить и запилит до смерти. Сообразив, однако, что у него еще в запасе остается квартира в Лаврушинском, он спешит туда и в ужасе видит, что Старуха поспела раньше его и заняла его жилплощадь. Вот тогда-то бездомный скиталец опять идет к синему морю и там у берега видит Золотую Рыбку, что она плачет, горюет и так убивается, что и золото на ней все сошло и потускнело.

— Как же не убиваться мне, мой милый, — говорит Рыбка, — если, наказывая злую Старуху, я вовсе позабыла своего долгожданного Жениха.

— Государыня Рыбка, — воскликнул изумленный Старик, — какая же я тебе ровня: я стар!

— Глупенький ты мой, — ответила Рыбка, — Старик не мог бы написать «Корень жизни», ты не только самый юный из всех советских писателей, но ты единственный на земле, кто понимает един-

ство священной жизни в олене-животном и человеке и не стыдится об этом вслух говорить.

Тебя я избираю своим мужем, и мы будем раскрывать перед несчастным человечеством секрет вечной молодости и красоты.

В это время от слов Рыбки явился к Старику дар веселья, и он пошутил:

— Вот хорошо-то, мы с тобой не пропадем, шут с ним, с Лаврушинским, и с его люстрой, из-за которой мы столько терпим из-за Старухи, мы с тобой построим фабрику мыла под названием «Секрет вечной молодости и красоты». Мы обмоем все человечество, и все станут счастливы.

Так открылся у Старика через Рыбку дар веселья, и другие дары открывались до того, когда Рыбка, наконец, сказала:

— Ну, довольно, мы теперь равные, а любить можно только равных.

И тут волшебная Рыбка превратилась в женщину, исполненную всеохватывающего желания творчества жизни, собирания земного множества в такое же единство, в какое собраны капельки воды в ее родной стихии — океане.

Вот, воистину волшебно, как в сказке, и совершился наш замечательный брак. 12-го апреля Михаил Пришвин привел свою охотничью машину на один двор, достал малокалиберную винтовку, тяжелые резиновые американские сапоги и вскоре вывел из дома Золотую Рыбку с винтовкой за плечом и в резиновых сапогах.

Он увез ее в лесную избушку и празднует там под гул ручьев святую неделю неодетой весны.

Будьте же и Вы счастливы, Сват, и да будет и Вам как и нам, что не все в кон, а другой раз можно и за кон».

Глава 15

У пропасти

24 апреля. Ходил на тягу с Акимычем (зять дачного хозяина, охотник, помог нам устроиться в Тяжине). Он был в Москве, заехал за моей почтой на Лаврушинский, столкнулся лицом к лицу с Павловной. Она в крайнем возбуждении советовала «сушить сухари на дорогу в Сибирь вместе с В. Д.; она, жена орденоносца, постарается сделать «им» это удовольствие».

— А можете вы эту угрозу засвидетельствовать на суде?

— Во всякое время, — ответил Акимыч.

— Мне она, — сказал я, — еще грозила стрихнином, а через Аксюшу я узнал, что она сулила нож В. Д.

— Я могу и это засвидетельствовать... Странно, что в тот момент, когда он сказал «могу», я вспомнил разговор Ивана Карамазова со Смердяковым и в первый раз в Акимыче увидал то, что долго не мог назвать: что-то мертвенно-смердяковское.

Новость! Павловна уехала огород сеять — весна не ждет. Л. собиралась уже давно в этот день в город за продуктами, я бросил все и поехал с ней. В Москве из осторожности Л. позвонила по телефону, подошла Аксюша.

— Ты одна?

— Одна. Приезжайте, В. Д., очень по вас я соскучилась.

И вдруг вместе с Л. в дверях я! Аксюша опешила.

Мы робко вошли в кабинет, сели в кресла, где сидели в начале знакомства, говорили в первые минуты на «вы»... Так обстановка возвратила нас к пережитому времени романа.

Мы сидели в креслах друг напротив друга и «приходили в себя». И тут зазвонил телефон, но меня опередила Аксюша. Сразу понял: звонит с вокзала приехавшая Павловна. Аксюша односложно ответила, что приехать нельзя, и положила трубку.

Разгадка проста: Павловна знала через Аксюшу, что Л. будет в городе в этот день, но меня не ожидала. Хотели ее заманить. Для чего?.. Помешало, что я приехал.

К вечеру вместо Павловны приехал ее жилец — писатель Каманин с новыми от нее угрозами...

Ночью дошли до того, что решили вместе умереть, «как Ромео и Джульетта».

— А как же мама? — спросил я.

— Мама с нами умрет, — до чего ей жить трудно и надоело.

Когда Л. утром забылась, я подле нее вместо смерти придумал выход в жизнь: ехать к Ставскому — искать защиты от клеветы (вспомнил последнее с ним свидание и предложение помогать, если что).

Так и сделал утром, — поехал. А в это время у нас на Лаврушинском собрались друзья и вместе с Л. тревожно дожидались исхода. Я

вошел неожиданно с букетом от Ставского и с его словами: «Передайте В. Д., что я отныне ее рыцарь».

Ставский обещал «в соответствующих учреждениях» прекратить происки, какие бы они ни были, со стороны наших врагов и вызвать для внушения Леву. Он же посоветовал немедленно оформить наш брак и по возможности уехать обоим подальше.

Вечером были у Ставского. Я сидел как в корсете. Ставский допрашивал Л... Она врала как сукина дочь.

Врожденная духовность Л-и, поддерживаемая лиловым цветом ее платья, скромной прической, нервный подъем, сдерживаемый привычным усилием, создали из нее очаровательное существо, и когда я вошел (она пришла раньше меня), и увидал это, и понял, Ставский сказал: «Любуюсь!»

Время-то было какое! Нельзя было позволить себе никакой откровенности, ну хотя бы о недавнем «путешествии» с мужем в Сибирь. К такому и пытались подобраться в те дни, ничего, к счастью, не ведая, наши «враги».

В этот вечер вспомнилась Л., какой я ее встретил в первый раз в обществе у себя за столом. Она до того всегда внутри себя, что при соприкосновении с обществом нервы ее не выдерживают и она «выходит из себя». Состояние до того мне знакомое, что я смотрел на нее и понимал, как себя.

Зато внешний вид ее, как переживающей глубокое чувство и борьбу, был прекрасный. Она была охвачена тем лучшим в женщине, что я могу назвать изменчивостью, за что я люблю неодетую весну: изменчивость не по дням, а по часам, но неизменно в обещании радости.

Вечером были юристы. Будут устраивать развод и раздел.

Она сегодня говорила, что не любит что-нибудь у Бога просить, что ей это выпрашивание не по душе: «Какая-то торговля с Богом», — сказала она.

— А выпросить, верно, можно. А. В. говорил прямо, что он меня у Бога выпросил.

— Почему ты думаешь, — спросил я, — что он тебя у Бога выпросил?

Она изумилась вопросу и ответила:

— Да, я думаю, ты прав, — не у Бога он меня выпросил.

26 апреля. Я был спокойно и радостно настроен, как казалось, исключительно волею Л. Как только погасили огонь и я остался наедине с самим собою, началась во мне глухая тоска, связанная с мыслью о недостоверности всего моего прошлого. А мое прошлое состояло в подвиге ради поэзии. Вот теперь представил себе столько волновавшие меня раньше явления природы, и удивляюсь себе теперь — как могли они меня волновать?

Мало того, не могу вспомнить ничего написанного мною, что осталось бы теперь как прочная основа моего самоутверждения. Все кажется теперь легкомысленным по существу и тяжким по исполнению.

Лучше уж бы родиться просто каким-нибудь гусаром, что ли! вроде В. С. Трубецкого [28]. И та достоверность, что меня читают маленькие дети и учатся добру, — тоже не удовлетворяет: мне-то что самому, и разве существо мое в детях, и чем они заслужили, чтобы я отдал себя для них? Да и вовсе даже и не отдавал себя, а все добро выходило из моей потребности писать хорошо, все — от артиста.

Вечером я с огорчением не нашел в себе желания. Сегодня нет-нет я об этом вспоминал, а вечером опять у меня желания не было, и Л. не отвечала мне. Я хотел было это свалить на нее, но оказалось, что Л. вообще отвечает только моему желанию и что, значит, причина во мне. Ничего тут нет особенного, и зависит не от нас, и не относится прямо к делу нашей любви, но я забил через это в себе неправильную тревогу за нашу любовь и ничего Л. не сказал. Она же все прочла в моих мыслях и потребовала от меня настоящей искренности, настоящей правды в наших отношениях... Она так долго и так страстно долбила и вдалбливала в меня эту свою мысль о необходимости полнейшей искренности, что наконец меня проняло.

Потом ночью (было это, вероятно, во сне) что-то во мне, как в земле, совершилось, и утром, когда я пробудился, вырос в душе моей какой-то чудесный цветок, и мне ясно, как это ясное морозно-белое утро, было видно: весь путь в любви мой был через сердце Л., и мое отношение к ней должно быть точно таким же простым и собранным, как стал я в это утро к самому Богу.

Так поднялся из моей ночи в это светлое утро цветок, и, чувствуя его в душе своей, я принес из колодца ведро свежей воды, поставил самовар, и умылся, и читал утренние молитвы так, чтобы слова приходили в мир великой гармонии через сердце Л-и.

С тех пор как в Загорске стало мне жить невыносимо из-за отношений в семье (это было в 1932 году), я стал усиленно искать себе где-нибудь в глуши избушку, чтоб купить ее и поселиться в ней одному. Много я пересмотрел везде избушек, уединенней всех и красивей была изба в деревне Спас-на-Нерли. Только случайно я не купил ее, и потом все так обернулось, что желанная избушка Толстого превратилась в квартиру в Москве.

Предусмотрительно я выбрал себе квартиру высоко (на советские лифты нельзя ведь надеяться) [29]. Итак, я устроился и дал Павловне дарственную в Загорске, и стал жить в этой «избушке» хорошо, собирая в нее родных два-три раза в год.

И вот налетела буря и разнесла созданное мною с таким трудом уединенное жилище. Я снова очутился в деревенской избе, но со мной теперь была Л., и я понял, что не избушку я искал, а большую любовь. И ясно-ясно увидел я бедного Толстого, не знавшего любви, не понимавшего, что ему сердце нужно было, а не избушка.

Есть огонь, в котором сгорит все недостоверное, как на Страшном Суде, и никому нет спасения от этого огня. Этот суд приходит к людям, когда они становятся друг перед другом в отношении к Истине. И вот чтобы Толстому достигнуть заветной избушки, ему нужно было бы стать к другому человеку в отношении к Богу. Тогда бы сгорел Лев Толстой со всеми своими претензиями и остался бы не вздутый реформатор, а сам Толстой, как он есть.

29 апреля. На ночь она мне читала Евангелие. Знакомые с детства слова как-то особенно благородно упрощали мне сущность жизни, и сама Л. в самом стиле до того сливалась с простотой настоящей поэзии, что ясно-ясно открывался мне путь жизни моей — понимать и любить Л. просто, без раздумья, такой, как она есть.

Душа моя переполнилась такой безгрешной любовью, что долго не мог оторваться от ее груди, и даже утром, когда проснулись и встали, все, как вчера, наслаждался простотой и благородством то ли ее самой в ее чувстве ко мне, то ли прочитанными ею страницами.

30 АПРЕЛЯ. Ночью она что-то вспомнила и не ответила мне на мою ласку.

— Вспомни, — сказала она, — что за все время нашей любви ты не принес мне даже цветочка.

— А ты вспомни, — ответил я, — до цветочков ли было тогда: сколько мучений!

— Я не меньше мучений испытывала, а хорошо помню, что у тебя на сером костюме на рукаве не было пуговицы, что ниточка даже не была убрана, что в туфле ночной подошва оторвалась и хлопала, что из туфли виднелась пятка и носок на ней был протерт…

— При чем тут цветок?

— Не цветок нужен, а внимание. Когда я видела, что ты живешь без ухода, мне становилось тебя жалко, мое внимание открывало брошенного человека, и мне хотелось помочь тебе, хотелось одеть тебя, вымыть. А ты не хотел заметить во мне женщину, чтобы принести ей цветок, как делают все.

— Миллионы женихов твоих, — ответил я, — не могли бы написать таких писем-поэм, какие писал и приносил тебе я вместо цветов. Ты с этим согласна?

— Согласна. И все-таки я тоскую сейчас, что ты, мой любимый, не сделал как все, не принес мне цветка.

— Позволь же, — сказал я, — вчера же утром, когда ты вставала, я рассказал тебе о том, что ночью во сне как в земле раскрылось брошенное тобой в мою душу семя и за ночь из него вырос цветок необычайной красоты, и я понял секрет нашей дружбы до гроба: что надо быть правдивым с тобой до конца и ничего не таить. Помнишь, как ты плакала от радости на моем плече и благодарила за тот «цветок». Это ли не цветок, не лучший подарок тебе? Так почему же ты, понимая, какой цветок подарил, вспоминаешь, огорченная, о каком-то обыкновенном цветке?

Она долго молчала. Но собралась с духом и ответила:

— Я это знаю, что ты единственный мой и чудесны поэмы твои для меня: ты мне доказал себя как единственного, душа твоя мне открыта. Но ты забываешь одно, что я женщина и каждый, кого бы я ни поманила, принес бы мне обыкновенный цветок. Мне грустно и теперь, что лучшее в мире, то, из-за чего длится жизнь на земле, то, что в тайне души все ждут и на что надеются, наша страстная святая любовь прошла у нас без цветка.

Погрустив немного с подругой моей о цветке обыкновенном, мы

вспомнили, что сегодня первое мая и в лесах теперь есть, наверно, много первых цветов.

— Не нами, милая, — сказал, — созданы эти мучения, из-за которых я забыл обыкновенные оранжерейные цветы, воспитанные людьми. Не вини меня. Но в леса теперь для нас послано много цветов, мы скоро будем ходить по цветам, как по коврам.

Май [30]. Л. сидела за столом возле зеркала и выписывала из моего дневника ценные мысли. Я сидел за тем же столом напротив, занятый той же работой [31].

Вот я заметил в ней перемену на лице. Я понял, что она мысль нашла какую-то большую, такую, наверно, что мы оба разными путями к ней подошли, я это понял и радостно ожидал ее откровенного признания. Но, блуждая где-то далеко своей мыслью, напрягаясь, чтобы выразить эту мысль ясными словами, она заметила бумажку, приколотую булавкой к стене под зеркалом. Заметив эту бумажку, она быстро карандашом сделала на ней отметку.

— Что это, — удивился я ей, — ты записала какую-то мысль?

— Нет, — ответила Л., — я вспомнила, что хозяин отвесил сегодня нам 12 кило картофеля и хозяйка дала 3 кружки молока: я и записала.

— Но ведь ты перед этим сказала, что тебя поразила какая-то мысль?

— Милый мой, я тебя так люблю и мысль моя такая большая, что записать о картофеле ничуть не мешает.

— Какая же все-таки мысль? — настаивал я.

— Раскрыть корни желания «быть как все хорошие люди» из твоего рассказа «Художник». А то люди после нас могут этих слов твоих не понять: «Зачем вам быть как все, — скажут они, — если вы же сами всю жизнь только и делали, что стремились к небывалому и то, что у всех, разрушали?»

Я понял ее и ответил:

— Я тоже никогда не расстаюсь с большой любовью к тебе, когда целую твои колени.

Это было тому назад недели две, когда в лесу оставалось еще много снега. Случилось как-то зимой, по лесной опушке, глубоко осаживая рыхлый снег, прошел, наверное, с большим трудом человек. Эти следы сильно расширились при таянии снега, после того,

как весь снег вокруг растаял, оледенения огромные остались — тумбочки по всей опушке леса.

Следы гигантского человека еще стояли по всей опушке, когда уж и бабочка-лимонница зашевелилась под старой листвой, когда прилетели трясогузка и зяблик. Одна трясогузка даже уселась на след и с одной ледяной тумбочки перелетела на другую.

— А сам-то человек, может быть, и умер давно?

— Очень может быть, — ответила Л., — сам человек, умер или жив, в том и другом случае не знает ничего о своих следах и не интересуется ими.

— Вот, — сказал я, — только тем писатель отличается от всех, что интересуется своими следами.

Глава 16

Непроторенный путь

После утреннего большого подъема любви Л. стала мне как будто беременной, и я водил ее под руку осторожно с редкими словами.

Мы шли по березовой роще, нам мешали сучки под ногами и неосторожные слова, как сучки, и раз я даже чуть-чуть не упал. А то было она покачнулась на мостике из бревна, и я успел поддержать ее. Путь наш был непроторенный, не дорожками…

Зимними морозами убило все сады, и вот когда все вокруг зеленеет, наша деревня стоит в неодетых черных садах.

На опушке, в не закрытой зеленью сухой листве, в солнечных лучах сверкнула сороконожка и, живая, быстрая, понеслась с листка на листок, то скрываясь, то снова сверкая.

— Сороконожка и та сверкает, — сказала Л., — а я почему-то должна всю жизнь ходить в сером среди серых людей.

Наша работа над дневниками в полном ходу, и материалы притекают по трем руслам: 1) Большой дневник как форма нашей идеи. 2) Рассказы «Фацелия» и 3) Календарь.

Приехала к нам жить Наталья Аркадьевна (теща). Встреча матери с дочерью вышла хорошая, и я был очень доволен, потому что я же все устроил.

Не люблю дачников за то, что они живут так, будто природа существует только для их здоровья. Но если Лялина мать ждет тепла и зеленой травы, то совсем другое дело: столько перестрадав, имеет человек право ждать от природы, требовать и бороться за лучшее. Но не только от природы — и от вещей человеческих нужно ждать, чтобы они тоже служили тем, кто настрадался.

Казалось бы, на этой почве и возникло это восстание пролетариев и на этой почве права измученного человека на материальную жизнь создалась эта идея счастья человеческого на земле.

Но почему же идея эта так исказилась, что это «счастье» всякому порядочному человеку стоит как кость поперек горла?

Наша идея, между прочим, содержит в себе и эту идею насыщения всех голодных и утоления жажды всех страждущих. Только она исходит из глубочайших основ бытия, где совершается все творчество жизни. А вокруг нас пока еще торжествует идея покидаемой духом материи.

Наша идея происходит не от нас только, но наше участие в ее развитии должно состоять в том, что мы заключим в нее современность, что мы из области философии переведем ее в жизнь.

Теща моя оживает не по дням, а по часам, и это идет мне в заслугу. Наша жизнь вообще начинает складываться. Мы так начинаем все привыкать друг к другу, что даже угнетенная Н. А. стала петь и шутить. Впервые я в семье, впервые за мною ухаживают, и я впервые по себе, а не по чужому примеру понимаю любовную связь между людьми.

Все, оказывается, просто, любовь проста как хлеб, а мы, как несытые о пище, мечтаем о любви и принимаем всякую дрянь за любовь.

Л. почти ничего не знает в природе и впервые даже соловья слушает, но она как-то, не зная названий (не интересуясь тем, что это поет, летит, ползает), чувствует это все вместе и бывает охвачена чувством. Это оттого, что она вся — внутри себя, человека, и редко выглядывает...

Мы сегодня втроем между клейкими листочками берез, тополей обошли наш большой круг.

Аксюша к нам приехала из Москвы... рассказывала о расчете Е. П.: «Вот как расчетлива, что выложила себя как на ладони», —

если рассчитывать на пожизненную пенсию, то через год я могу умереть и она останется ни с чем; если же сейчас взять половину, то ей хватит на много лет. И есть полное основание думать, что вся борьба у них идет за наследство: «Вместе наживали» — и вся ненависть обращена к Ляле как к возможной наследнице.

...И так вот они столько лет жили с примерно бескорыстным человеком и наживали себе корысть, и человек этот еще жив, а они уже делят вещи его, и страх его физический перед пошлостью они принимают за трусость. И все это мне приходит как расплата за безбожное «равенство», в котором они росли и воспитывались.

Равенство людей возможно только перед Богом, никакого другого равенства быть не может на земле, и с этим надо покончить навсегда. Пусть это будет основной идеей моей новой жизни, и об этом я буду думать всегда.

Быть внутри себя как дети — это надо, но с детьми надо быть старшим, с людьми, стоящими в отношении духовного развития какими-то ступенями ниже тебя, нельзя быть запанибрата. И это грех не меньший, чем обратный — быть заносчивым и гордым с низшими.

Нужно зарубить себе на носу, чтобы взять Л. в железную дисциплину относительно литературной работы. Меня очень тревожит, что она готова все время проводить в суетливой заботе о ближнем. По-прежнему буду жить без чулок и наволочек, но ее воспитаю в работе.

Л. начала работать. Привезли дров из лесу, по-прежнему очень сухо. Лес кишит комарами. Ночь лунная, прекрасная, поют соловьи. Л. встала с постели, подошла к окну послушать. Я почувствовал, что не доходит до нее песня соловья и нет в ней ответного чувства.

— Неважно поет, — сказал я. Она засмеялась.

— Какие все перемены в моей жизни, — сказал я, — вот был я знаменитым охотником, а теперь ни разу не был на охоте.

— Ты, — сказала она, — будешь на охоте, только не так часто; у нас с тобой столько всего, более ценного!

— А природа?

— Глупенький, разве ты не чувствуешь, природа была где-то, а я тут: теперь я — твоя природа.

И вот эта «природа» обняла меня, оставив луну светить для кого-то, соловьев петь кому-то.

Через какое-то время я спросил ее:

— А путешествия? После того, как мы с тобой сошлись, — я перестал думать о путешествии.

— Но разве сейчас мы не путешествуем?

И это была такая правда!

— Мы каждый день изменяемся, — говорила она, — в путешествии этого достигают перемещением себя физически, мы же с тобой не такие дураки, — мы путешествуем в природе самого человека.

Л. работала много времени над моими дневниками. Цветет черемуха всем цветом, так хорошо поет соловей, как Л. никогда еще не слыхала. Загоревал было я, что один в лесу, а Л. работает и не знает сейчас, как много в лесу цветущей черемухи, как хорошо поет соловей. Счастье мое, однако, было столь велико, что я скоро повеселел и сказал себе, пусть она работает и ничего не знает, я так расскажу об этом, что слова мои полюбятся ей больше, чем песнь соловья.

Перед нашим окном оказались бутоны сирени, значит, скоро конец весне. В это время я обыкновенно теряю свою страсть к природе, но Л. люблю все сильнее, и так, что глаз не свожу с нее, и любуюсь ею весь день, а ночью приникаю к ней и все на свете забываю.

Мы нашли в лесу дерево с давно вырезанными на нем крестом и заплывшими буквами. Мы их приняли за Лялины инициалы, и она стала одна ходить к этой березе.

Был у нас Лялин неудачливый поклонник N. Вижу по нему, что я не виноват в невежестве детей своих, а время такое: Л., любимая им женщина, просила его прочесть Евангелие — самую дорогую ей книгу, и он не прочел. Больше того, назвал «гнилью».

— Гниль, — ответила тогда Л., — тоже неплохо, это все равно что навоз в земле: без навоза не родит земля, и мысль не родится, если что-нибудь в себе не умрет и не сгниет.

Ах, как же я ненаходчив! Вместо глупейшей в моем положении гордости петушиной, что стоило бы подойти к нему и сказать: «Почему вы не выполнили просьбу любимой женщины — не прочли книгу? Почему вы обошли самое для нее дорогое и хотели воспользоваться так неумело тем, что у нее дешевле всего?»

Бутоны на сирени вызвали мысль о конце весны и напомнили о возможности конца любви. Об этом был разговор вечером в постели. Я просил ее не связывать себя клятвами, уверяя, что при связанности она потеряет лучшее свойство женщины — свою изменчивость. И пусть она, не связанная, вечно изменчивая, предоставит мне самому позаботиться о том, чтобы уберечь ее от измен — худшего, что только есть в человеке.

— Лесной крест, — шептал я ей, неустанно целуя, — есть твое суеверие, твой страх перед величайшим долгом быть собой, утверждаться в себе, быть вечно изменчивой и не изменять. Клятва есть посеянная измена!

Утром мы пошли к нашей березке. Л. читала, я лежал у нее на коленях, и мне было хорошо. «Зачем мне обет, — думал я, — если я люблю ее и если в живом чувстве все это и содержится. Точно так же я верю, что она меня любит». Так я и свел все ко вчерашнему разговору об измене и изменчивости.

— Нечего клясться и обещаться, — сказал я, — если мы будем друг друга любить, то, само собой, будем открывать друг в друге свои помыслы. А если ты разлюбишь меня и закроешься, то ответ за твою измену я беру на себя. Будь спокойна и бесстрашна, я буду охранять наше чувство, я беру это на себя, и если изменишь — я за это отвечу.

Свободная любовь без обетов и клятв возможна лишь между равными, для неравных положен брак, как неподвижная форма. Но благословения на брак, на любовь, на откровение помыслов надо испрашивать, и для этого мы сегодня ночью пойдем к нашей березе.

В березовом лесу мы с Л. продолжали разговор о нашей свободе, в том смысле свободе, чтобы нам исходить из наличия нашего чувства и мысли, а не из форм, клятв, обетов и обещаний, которые созданы великими людьми для воспитания маленьких.

— Мы должны быть свободны, — сказал я. — Как же великие люди? Почему не можем мы жить и мыслить, как равные им. Можем?

— Конечно, можем.

— Вспомни всех великих, включая Ленина, все они жили полным настоящим в своем творчестве, и все они, живущие полным настоящим, сулили маленьким людям счастливое будущее. Мы дол-

жны сделать наоборот, мы должны обещанное будущее сделать настоящим. И давай это делать сейчас же и не раздумывая.

В это время луна достаточно высоко поднялась и стемнело настолько, что от деревьев легли тени. Мы нашли без труда Лялину березу.

— Вот этот загадочный символ на березе с твоими инициалами, — сказал я, — давай этот клятвенный символ сделаем живым.

Возвращаясь домой, мы говорили о том, что едва ли бы сошлись, узнали, поняли друг друга, если бы встретились ранее определенного судьбой времени.

— Я бы, — сказал я, — не мог бы узнать тебя из-за своей личной заинтересованности в тебе; любя, я не мог бы не создать из тебя собственности, как другие, которые составляют хвост в движении твоей кометы, пересекающей традиционные орбиты обыкновенных светил.

В молодости я, как все, не был свободен, и мое движение тогда, тоже как у всех, определялось силой всемирного тяготения.

Когда выскажешь новую мысль и Л. поймет ее, то вдруг останавливается с расширенными глазами, узнает в этой мысли что-то свое, радуется и со страстью принимается обнимать, и целовать, и благодарить.

Так бывает у нее, что прямо из мысли, как дождь из облака, родится любовь.

Если женщину трогать и дойти до какой-то границы, то она как бы удивится и как бы остановится… А то можно остановить точно так же какой-нибудь мыслью. Она спохватится, уйдет в себя, и станет похоже, будто ты ее схватил.

Надо всегда иметь в виду, что Л. дает душе моей в соответствии с моим запасом, что, может быть, в ней содержится гораздо больше, чем я из нее вызываю, и значит, есть опасность в приходе другого вызывателя, более значительного. Единственным средством обороны от этого есть мое усиленное движение вперед, моя доблесть и постоянное напряженное к ней внимание.

Я рассказал ей это, и она мне ответила, что я похож на Ладу, которая не доела корку хлеба, запрятала под себя в солому и на всех кур смотрит так, будто они подбираются к ее корке.

И сколько кур из-за этой ложной Ладиной идеи лишились хвостов.

Вечером при восходящей огромной луне гуляли и, перебирая все пережитое, закрепляли нашу любовь. И у меня исчезало мое лично отдельное, даже мои друзья становились ее друзьями. И так в будущем жизнь моя делалась не моя, а наша, и так все у нас — все наши воспоминания, и надежды, и мысли соединились в одно, как будто мы находились на слиянии рек и одна река вливалась в другую и дальше текла одна река, широкая и полноводная.

При луне в лесу Л. говорила, что не любит «мистику», как слабосильную подмену того, что она называет цельным знанием. И то же она находит во мне и говорит, что это нас соединяет. Я же думал о том, что любовь настоящая бывает непременно на слиянии рек.

Говорили о материнском чувстве женщины в общем чувстве любви и так добрались до самой Валерии, и тогда оказалось, что это не мужья у нее были, а дети, и самый любимейший у нее — это я.

Я понимаю Л. насквозь в отношении того, чтобы дать своим детям то, чего им так хочется, но я никак не могу принять ее заверения в том, что я — последнее ее дитя и для всей нашей будущей жизни единственный. Я даже и того понять не могу, каким образом моя чисто мужская потребность быть у нее единственным становится у нее священным требованием к себе. На это она ответила так: «Тебе довольно того, чтобы мое сердце привязалось к тебе, как к единственному».

Вот это новое понимание и этот необыкновенный опыт надо влить в мое понимание старого своего пути: «Будьте как дети».

Через тринадцать лет, 18 февраля 1952 года, перечитывая это место, М. М. сделает следующую запись: «Л., слушая „Паяцы“, по своему обычному болезненному чувству жалости представила себе, что я Паяц, а она Коломбина.

— Ведь может же быть так, что явится человек лучше тебя, талантливей, значительней. Может же быть?

— Может, — ответил я, — что кому-нибудь лучше, но никто тебе меня заменить не может. Я ни хуже, ни лучше других, я для тебя, как и ты для меня, существо небывалое, незаменимое. Для матери незаменимы свои дети, и в любви настоящей не существует лучше или хуже.

И Бог вочеловечился для того, чтобы вывести личности небывалые из общего считанного стада и создать из них Церковь.

Пришлось снова ехать в Москву. Там — десять дней война. Наглость Левы, борьба за какую-то глупую жилплощадь, отсутствие осмысленной работы, чтения, недосыпание, муть в голове, пребывание летом в городе создали во мне как бы провал сознания.

— Это не провал, — возразила Л., — это... жизнь.

— Там будет жизнь, когда приедем в Тяжино!

— Нет, это есть тоже жизнь, без этого невозможно и то, куда ты стремишься.

Вчера часов так в 11 дня наконец-то я достиг того, с чего надо было начать эту борьбу: развелся и стал свободным человеком. И замечательно, что тут же после обретения желанной свободы поссорился с другой женщиной только из-за того, что по ее рассеянности не мог тут же после развода отдать ей свою свободу и тут же немедленно в том же загсе заключить с ней брачный договор: не было документа о ее разводе.

Первая крупная ссора. Это было, как будто из леса или цветущего сада я вышел на какую-то голую холодно-каменистую землю, из которой ничего не растет, не живет.

Л., не торопясь, стала меня уговаривать, и столь сдержанно и столь убедительно, что я во всем раскаялся и вернулся к ней, как ребенок. И она приняла и обняла меня любовью своей материнской, великодушной и непоколебимой. После того потихоньку от нее я не спал всю ночь и разбирался в наших отношениях. Я увидел с несомненностью, что в глубине души она любовь нашу вечно, как море скалу, обмывает сомнениями и вопросами: да любовь ли это, не прихоть ли это легкомысленного поэта?

По ее сокровенному убеждению, всю эту любовь нашу предстоит оправдать жизнью, и она еще очень сомневается, сумею ли я оправдать, не останется ли любовь у меня только поэзией. В моем мучительном раздумье не раз вставала вопросом вся моя жизнь как счастливого баловня в сравнении с ее жизнью, и ее *добро* укоряло *мою поэзию.*

Я пришел к заключению, что прежде всего надо уничтожить самый родник нашего разногласия, поехать к Павловне и личным

переговором прекратить нужду в юристах. Еще я решил зарубить себе на носу, чтобы в ссорах никогда не выходить за пределы нашей любви, для чего надо не только не выходить из себя, но также и из нее.

Чтобы при работе над этим вначале не забываться — бросить курить. При постоянной поддержке Л., при наличии любви победа обеспечена. И вообще, все передумав за ночь, все переболев, я уверился, что свой поэтический дар я могу направить в ее глубину и рано или поздно прославить любовь, как никто, может быть, из поэтов теперь не может ее прославить.

На этом пути я увлеку за собой Л. с такой силой, что она сделается в глубочайшем смысле моим соавтором.

— За то я тебя и люблю, — ответила она, — что ты подвижной человек и не останавливаешься в преодолении преград своего ума и неясной совести.

Она расточала дары своей любви больше, чем раньше, я по-прежнему, как баловень счастья, принимал эти дары, но больше уже не терял из виду, что за этими ее дарами и далеко за пределами этой любви в ней таится какое-то существо с тревогой и мыслью, издали с высоты глядящее на этот поток любви.

И с этой высоты, из того далекого высокого материнства, наши мужские претензии собственника кажутся детскими капризами, а наши поэмы — детской игрой.

И, поняв это, я с постели тихонько перебрался на пол, босыми ногами ушел в кухню и там сидел до утра на стуле, и встретил рассвет, и понял на рассвете, что Бог создал меня самым счастливым человеком и поручил мне прославить любовь на земле.

Разумник привез от А. В. нужную бумагу для Л. — согласие на развод.

Чем лучше у нас дело идет, тем тяжелее у Л. на душе от мысли о брошенном А. В. С утра просит:

— Утешь меня!

И я утешал, вспоминая брошенных мною революционеров, когда я стал служить художеству.

Сегодня все существенное в той борьбе было закончено, Л. получила развод, мы «расписались» с ней. Вернулись домой: она без каблука, а у меня украли часы.

Достигнув всего, Л. впала в мрачное настроение, с одной стороны, из-за мысли о А. В., с другой — о том, что мать ее и многие такие «дамы» будут обрадованы — будут сочувствовать достигнутому «благополучию».

Радость ее отравлена.

Вечером появился «их» юрист, после него «наш» Попов — и все передано мирному ходу. Утром дали знать Ставскому, что кончилось благополучно.

Июнь. За время этой борьбы чувство наше с Л. возросло до того, что в прошлом, кажется, мы даже и не понимали, как мы можем любить. И сейчас кажется, будто росту этого чувства никогда не будет конца.

— Как это они, — сказал я, — не могли оценить твоей нежности?

— Нежность — это они ценили, а вот что-то другое не могли увидеть, понять.

— Что же это другое?

— То, чего я всю жизнь свою ждала и на что у каждого прохожего спрашивала ответа. Они брали мою нежность, а ответа не давали. Я их спрашивала, они же мой вопрос и нежность за любовь принимали. Ты мне ответил на мой вопрос, и я больше не спрашиваю.

— А что это за ответ?

— Словом этот ответ нельзя выразить: ты знай, что живая любовь не только по существу своему беззаконна, но даже не заключается в словесную форму и не заменяется даже поэзией. Я люблю тебя. А ты любишь меня?

— Люблю.

— Ну вот, вот это самое! в этом понимании заключается ответ на тот вопрос.

В метро я спускался по эскалатору, вспоминая то время, когда я увидел это метро в первый раз: тогда я видел метро и думал о метро. Теперь я думаю о другом, а метро — это не входит в сознание. И мне было так, что в собственном смысле живут люди только те, кто живет в удивлении и не может наглядеться на мир. Вот эти люди живут и ведут сознание, остальные же люди живут в бессознательном повторении. И вот это бессознательное повторение, возведенное в принцип, и есть так называемая цивилизация.

Трудно было нам в городе, но эта трудность была необходимостью, и восторг наш при встрече с природой опирался на эту преодоленную нами необходимость: мы заслужили свое удивление и радость.

О борьбе с раздражительностью (выходом из себя). Она мне сказала сегодня, что учится побеждать это в себе страданиями. Билась, билась и вдруг поняла средство превращать свое волнение в мысль и этой мыслью управлять и побеждать. И так из этого ясно выходит, что сознание начинается в страдании, что на страдание надо идти, что через это обеспечивается воздействие на людей и возникает радость, уверенность в жизни вопреки животному страху перед смертью.

Только зачем это «идти на страдание»? «Не уйти от страдания» — вот это так! Надо лишь знать о страдании как неизбежности, сопровождающей всякое движение вперед. И вот, я думаю, не страданью надо приписывать развитие нашего сознания, а стремлению к лучшему с преодолением препятствий: нужно думать о любви как о движении, преодолевающем смерть.

День моего ангела. (5 июня.) Принялся было что-то писать о Л., но ничего не мог и, погрустив, решил, что лучше пойти к ней и поцеловать.

От Александра Васильевича неплохое письмо, и я теперь обдумываю, не следует ли приобщить к нашему делу?

Мысль об «удивлении» (у меня «первый глаз») — это в сознании мост между мной и Олегом. Теперь, во время мировой катастрофы, ясно видно, что гибель — есть гибель цивилизации, гибель людей, вовлеченных в процесс бессознательного повторения (механизации). Какая-то страшная эпидемия охватила род человеческий, эпидемия, называемая цивилизацией (болезнь состоит в повальной зависимости людей от вещей). Спасение же рода человеческого, его выздоровление начнется *удивленностью.*

Капал дождь в лесу, теплый как парное молоко. На некоторых упавших листочках, березовых, ольховых, осиновых, собирались капельки дождевой воды. Мы осторожно поднимали такие листочки и угощали друг друга, капли были очень вкусные, с березовых листьев пахло березой, с осиновых — осиной.

После такого угощения мы спустились к Нищенке [32]. На пне возле речки слушали соловья. Когда соловей кончил, я протанцевал польку-мазурку, Л. закатилась от смеха. Потом мы вместе протанцевали. Прилетела золотая птица — иволга. Л. впервые ее увидала и была крайне изумлена.

— Правда золотая! — сказала она. Потом прискакал верховой и спросил, не видали ли мы рыжую лошадь.

Отдаваясь настоящему золотому, какое только возможно на земле, счастью, время от времени мы возвращались к покинутым и вместе обдумывали, как бы им облегчить расставание.

Стоят холода, но травы растут, перемежаются дожди. Мы продолжаем работать. Жизнь наша складывается, и мы счастливы сознаньем, что и нам достается то самое, из-за чего люди так держатся за жизнь. А что это? Мне думается, это «чем люди держатся», так называемая любовь, — это есть оправдание или, вернее, стремление к оправданию земной жизни. Кажется, пусть светопреставление, пусть «провались все», но мы все-таки будем жить и жизнь прославлять.

Любовь такая не эгоизм, и, напротив, жизнь потому гибнет, что она — эгоизм, а любовь эта — свидетельство возможности жизни *иной* на земле. Это есть каждый раз попытка осуществления своими средствами человеческих возможностей обнять собою небо и землю.

Сейчас, в ранне-утренний час, моя любимая спит, и я один думаю, но я знаю, что я не один, что мне стоит подойти к ее постели, разбудить, и она проснется и подтвердит действительность того самого, что в моем одиночестве исходило бы тоской или, в лучшем случае, сказкой.

Сегодня мы пришли в бор, я положил голову ей на колени и уснул. А когда проснулся, то она сидела в той же позе, как при моем засыпании, глядела на меня любящими глазами, и я узнал в этих глазах не жену, а мать. Такую настоящую мать, какой у меня никогда не было.

— Моя мать, — сказал я, — была деловая, она за нескольких мужчин делала работу, я ее как мать, как женщину в детстве не чувствовал. Впервые это я в тебе нахожу.

— А я же есть мать, знаю по чувству своему, только каждый хочет быть моим собственником, и это отравляет мне жизнь.

Иногда я думаю, глядя на Л., что она гораздо больше того, что я способен открыть в ее существе. Сегодня, когда я лежал у нее на коленях, мне стало вдруг понятно: это существо больше моего охвата и больше всего и лучше всего мне известного,— это существо — Мать.

Запись через шесть лет: «Как Л. проста в своей сущности, и как трудно было всем из-за этой простоты ее понять, только я один ее понял, и она стала мне матерью. В том и была ее непонятная простота, что она была мать без детей».

Через одиннадцать лет: «Свое исключительное призвание к материнству Л. поняла про себя как христианский аскетизм (а оно так и есть: чувство материнства есть живой аскетизм). С таким составом души она полюбила настоящего призванного аскета. Тем она и его сбила с пути и еще больше сама пострадала. После всего я заменил ей ребенка. Нетронутое ее материнство обратилось на меня, и у нас вышла необыкновенная любовь. Теперь она мать в 51 год, а я ее ребенок в 78 лет.

Чего только не бывает на свете между людьми!»

Новая вещь будет называться «Теплая капель».

«Березовый сок», «Зерна», «Посев семян», «Следы» — так мы придумывали название, и, наконец, нашли: «Капель» — слово Лялино; «теплая» — мое.

Капля — это проходящее мгновение действительности — всегда оно правда, но не всегда верной бывает заключающая ее форма: сердце не ошибается, но мысль должна успеть оформиться, пока еще сердце не успело остыть. Чуть опоздал — и потом не можешь понять, хорошо написано или плохо. Я долго учился записывать за собой прямо на ходу и потом записанное дома переносить в дневник. Только в последние годы эти записи приобрели форму настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить...

Я не первый, конечно, создатель этой формы, как не я создавал форму новеллы, романа или поэмы, но я приспособил ее к своей личности, и форма маленьких записей в дневник стала, быть может, лучше, чем всякая другая моя форма.

Знаю, что не всякого читателя заинтересует моя «теплая капель»,

и в особенности мало она дает тому, кто в словесном искусстве ищет обмана, забвения от действительной жизни. Но что делать — всем не угодишь, я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их.

Глава 17

Наш дом

Закончили период внешней борьбы, и начинается внутреннее строительство. Бывает теперь, берет оторопь: спрашиваешь в тревоге себя — а что, если это чувство станет когда-нибудь остывать и вместо того, как теперь все складывается по нашему сходству, все будет разлагаться по нашему различию? Я спросил ее сегодня об этом, и она сказала:

— Не хочу думать, отбрасываю. Если мы не остановимся, мы никогда не перестанем друг друга любить.

— Да и намучились мы, — сказал я, — довольно намучились, чтобы искать чего-нибудь на стороне.

В лесу Л. на солнечной полянке работала обнаженной над моими рукописями, и я увидел в ней девочку лет шестнадцати, и мне открылся весь секрет ее прелести: она — эту мечту шестнадцатилетней девочки сохранила в себе до сорока лет.

Чудо уже в том, что в женщине могла сохраниться эта девочка. Сохраненность детства и есть источник ее привлекательности и свежести души. Напротив, практичность женщины нас отталкивает. В таком же отношении находится культура и цивилизация.

Приехал Раз. Вас. Он почти сорок лет знает меня, а дальше «Пана» во мне не ушел. Л. знает только 4 месяца и куда дальше ушла. Почему это?

Никогда не был и не мог быть с ним откровенным, но он вошел в мою жизнь непрошеный и занял в ней какое-то неподвижное положение вроде энциклопедического словаря.

Немцы подошли к Сене. Р. В-чу неприятно, и Л. тоже перешла на его сторону. Р. потому за французов (мне кажется), что они теперь против нас, как в ту войну стоял за немцев, потому что они были

против нас («хуже нас никого нет»). А Л. потому против немцев теперь, что они победители и ей жалко французов.

Я же как взнузданный стоял за Германию. Но в сущности я стоял за Германию по упрямству, по чепухе какой-то. А на самом деле единственное существо, за кого я стою, — это Л. Я дошел в политике до этого: «За Л.». И мне вовсе не совестно, потому что довольно было всего, — будет, пора! не за Германию, не за Англию, не за Америку — за одну-единственную державу свою — за Любовь.

Работали в лесу до обеда. Начали материалы разбирать по отделам. Вечером долго бродили в лесу. Возвращались по лесной дороге, и я думал о нашей жизненной дороге — куда-то она нас поведет!

Р. так абсолютен, что Л. воздерживается при нем высказываться вовсе: как можно высказываться при человеке, всем своим образом утверждающем абсолютную истину? Удивительно в этом, что Р. по существу ни во что не верит сам, а только *боится не верить* и на людях лишь делает вид такого неопровержимого сознания истины.

Л. это знает хорошо, и ее это бесит, что она знает, что он ничего не знает, и что она бессильна ему это высказать.

В семье Удинцевых за Германию стоит единственно Дима — советский мальчик[33].

Несоветские элементы все за англичан, то есть за демократию. Как странно выходит, что кто за Германию, тот и за коммунизм и за отечество и, конечно, верит в перемену к лучшему от их объединенной победы. Л., конечно, стоит ни за то, ни за другое, потому что перемена в обществе может быть только через Бога. Меня же, при всем сознании легкомыслия наших спорщиков, почему-то тянет к Германии, и я чувствую даже, как от глупости своей у меня шевелятся уши. И все-таки радуюсь ее победам и даже радуюсь, что СССР теперь вступает в границы старой России.

Мне спорить невозможно против демократии, потому что в моем багаже нет ни одного умного слова «за», и если самому добраться до своего окончательного и неразложимого мотива, то это будет варварское сочувствие здоровой крови, победе и т. п. и еще врожденная неприязнь к упадничеству, как пассивному (обывательскому), так и интеллигентскому (в смысле сектантской претензии на трон). Я не люблю именно эту упадническую претензию.

Когда из народничества выпала скорбь о несчастных (о мужике), то оно превратилось в эсерство, то есть вышло из сферы моральной и вошло в политическую аморальную сферу.

Возможно, мое «за Германию» есть мое отрицание нашей революционной интеллигенции (претенденты на трон).

Свистели иволги где-то за нашим бором.

— Иволга, — сказал я, — золотая птица, вот погляди!

Она увидела прекрасную птицу и очень удивилась.

— Очень беспокойная, — сказал я, — она вся — революция.

— А кукушка? — спросила она.

— Кукушка загадочная, это оракул. Давай загадаем, сколько нам жить.

Насчитали двадцать с половиной лет (ей будет шестьдесят, мне восемьдесят семь). Поговорили о нашей старости и заключили — нам это не страшно, мы будем тогда помнить друг друга, какими мы были, мы будем это хранить.

— А это слышишь, — что это?

— Это горлинка, мирная птица. Она поет о мире и о доме.

Какими бы ни были мы бездомниками и очарованными странниками жизни, но горлинка сейчас нам верно воркует: сейчас мы именно в доме, и некуда и незачем нам ехать, сейчас мы друг друга нашли. И вот именно это удовлетворение и не дает мне силы оценить поэтически во всем значении это наше чувство.

— Самое дорогое, — говорит она, — мне в этом чувстве, что оно есть продолжение любви к Олегу.

— Но разве ты не знаешь страсть?

— Знаю... Но ведь и ты тоже знаешь, что все это перешло в любовь! Конечно, я делаю только вид, как будто и я женщина, и жена, и хозяйка, и я одеваюсь как все и веду себя как все. Но это все для показа. Ты спросишь — можно ли на этом основаться двум? Не знаю, как другие, но у нас с тобой сейчас это выходит. И это основание — есть страсть бесстрастная.

— Поэзия? — спросил я.

— Назови как хочешь, — ответила она, — только это больше поэзии. Давай не будем искать для этого слов — будем просто любить!

Прохладный ветреный день. В бору Л. работала, я дремал у нее на коленях. Вот жизнь!

Я открыл глаза и заметил: она изменилась в лице, стала отсутствовать. Как я ни пытал ее, ничего не добился. Уверяет в любви, ссылается на то, что ей слишком хорошо: много ест, много спит... После обеда прочитала страничку из любимой книги и вдруг выправилась.

Много сегодня говорили об удивлении (то, что я называю «первым глазом»). Удивленным и очарованным прохожу я свой путь. И вот она, дорога, по которой мы теперь идем вдвоем. Дорога загибает в лес, и там теряется, и опять показывается, засыпанная прошлогодней листвой, и опять мы идем и не знаем, куда она выведет нас.

Боже мой, какая чудесная долина открылась нам, и, окутанная ольхой, в долине бежала змейкой наша речка Нищенка! Вскоре мы пришли к зарослям сосен с побегами, похожими на канделябры; и в тех зарослях нашли новые заросли, среди которых была беседка из акации и сирени. Бог знает, как давно ее сделали люди и как давно она забытая зарастает.

В тесноте зарослей сирень везде отцветала, а здесь только что распустилась. Среди беседки лежал единственный уцелевший столбик, когда-то был он ножкой скамейки. Кто сидел тут на этой скамейке? Сирень всей своей ароматной силой старалась нам напомнить, но, сколько мы ни нюхали, вспомнить ничего не могли.

— Возможно, — сказала Л., — люди были плохие, возможно, и хорошие, но все равно, если плохие — то, наверно, среди них были и хорошие. И кто-нибудь с хорошими мыслями приходил на эту скамеечку. И вот — их никого уже нет. Как это может быть?

— Тебе приходит в голову, — сказала она снова, — что земля — это мы, или, вернее, — в значительной мере — это мы? А люди смотрят на нее и не видят: земля и земля!

— Непременно мы, — ответил я. — Но ведь и все животные и все растения — это тоже мы.

— Может быть, и звезды? — спросила она, но я ничего не мог ей ответить.

Писал интимные страницы о женщине, в них чего-то не хватало: моя женщина изрекала мысли как профессор. Л. чуть-чуть поправила, только прикоснулась — и эти страницы стали прекрасными.

Вот этого-то мне и не хватало всю жизнь, чтобы моей поэзии коснулась женщина.

Почему мои ближние бранят мой характер, а Л. слов не находит, чтобы его похвалить? Через это понимание любовь и поднимает, и отдает, и возвышает себя в собственных глазах.

На тяге. «Существует ли Бог?» На такой вопрос я всегда отвечал: «Да» — в том смысле, что если шансы «за» и «против» одинаковы, то надо их обращать в пользу Подсудимого. И оттого я всегда при неясном вопросе: есть ли Бог? — отвечал: «Да, существует».

Что же касается себя самого — ставил ли я перед собой и для себя этот вопрос — отвечаю: никогда не ставил и обходился, так думаю, в жизни с Богом, не спрашивая о Нем, не называя Его.

Теперь же, когда я полюбил Л., то на вопрос о том, существует ли Бог, отвечаю: раз Л. существует, то, значит, и Бог существует. Я могу еще лучше ответить на этот вопрос: раз я в любви своей к Л. чувствую вечность, значит, Бог существует.

Можно ли веровать в Бога, если не веришь в чудеса? Я думаю, что это невозможно. Вот мое удивление, что Это значит иное, как не ожидание чуда? Удивление как предчувствие чуда. А самое чудо есть свидетельство о Боге. Вот появление Л. у меня я считаю за чудо и со времени ее появления считаю себя верующим в Бога и, по всей вероятности, христианином.

А впрочем, зачем мне говорить, что я верующий? почему это «верующий» не оставить про себя до необходимости начать священную войну? Тогда в разрешении войны оно само собой скажется: верующий я или неверующий.

Вот сейчас я выдержал священную войну и могу назвать себя верующим. Но это еще не конец. Человек, пока жив, готовится к новой священной войне; в этой готовности постоять за свое лучшее и состоит движение.

Раз мне известна история ее души, то надо всегда сознавать настоящее время, то есть что прошлое было как необходимость для создания настоящего и что — я в настоящем — это значит, я ее единственный и в отношении ее прошлого. Что же касается будущего, то оно в руках Божьих и, значит, тем самым в наших с ней собственных руках.

Она лишь кажется слабой в своей женственности, на самом деле слабость есть ее сложность. Но как только из этих колебаний родит-

ся принцип, идея, — она идет за идеей с беспощадностью и может идти до конца. Собственно говоря, ее искания «равного» на этом и основаны: она ищет равенства в духе и равным был у нее один только Олег.

А. В. еще не совсем пережит, и это прошлое с каким-то непонятным сопротивлением и почти укором входит в состав содержания настоящего. Где-то в уголке ее нравственного подсознания таится родник жалости к этому человеку, то замирая совсем, как будто его нет, то появляясь. Против этого укора, очень глубокого, она ищет оправдания в отношении ко мне, находя в нем продолжение отношений к Олегу. Следовательно, если действительно восстановится через меня связь с Олегом, то она будет оправдана. Ее слова: «Меня жизнь оправдает».

Ночью снился А. В., сон забыл, но вспомнил из его, А. В-ча, письма к Раз. Вас., что он «друг моего недруга». Но Л. разошлась не из-за меня и не для меня, и если я после всего, что между ними было, нашел Л., помог ей и полюбил, то неужели можно меня назвать недругом даже в шутку!

Сколько ни объясняла мне Л., я до сих пор не могу понять того чудовищного непонимания Лялиной души, которое заставило ее, столь благодарную за всякое добро, оставить мужа. Ответ один, что любовь, как и поэзия, требует таланта…

А еще я думаю о любви, что пол в составе ее есть нечто всеобщее, свойственное общему «Надо» человечества: надо множиться. Но, кроме этого общего «надо», в любви содержится еще личное «хочется»; вот именно в этом и трагедия человека и вся его борьба, чтобы среди всеобщего «надо» родить его личное «хочется» и определить новое «Надо» человечества.

Оторопь перед спящей красавицей, охватившая Ивана Царевича перед тем, как ему надлежало ее разбудить, есть и у животных, и очень возможно, человек из этого момента физиологической любви сделал всю человеческую любовь, и на этом возникла красота целомудрия.

Совершенно обратное проповедуется у наших новозаветных попов и в Ветхом Завете — религии рода.

Печь любви нагревает душу, для того она и горит, чтобы в душе что-то рождалось.

— А если только дети?

— Если только дети рождаются, — ответил я, — то это еще не говорит о душе.

> Запись 1945 года: «В Л. сила сопротивления безликому материнству или, что то же, требование к личности так велики, что материнство (от кого-нибудь) представляется ужасом.
> Вот и подумать, исходя из этого, что такое любовь?»

Лялина мысль, осуществляемая практически, состоит в том, что любовь, если она развивается, в себе же самой находит спасение от греха, потому что низшая ступень находит свое оправдание на высшей ступени.

Надо помнить, однако, что мое разбирательство жизни Л. имеет не литературную цель (хотя цель эта не исключается), а цель самой жизни моей.

Такое движенье вперед, такое сближение, такая любовь!.. Но бывает изредка, будто дунет кто-то, и любовь как туман рассеется и нет ничего. Тогда тревожно спрашиваем мы: «Любишь ли ты еще меня?» И уверяемся, и доверяемся, и опять приходит новая волна и сменяется новою. Как будто цветистый поток бежит, уходит и вечно сменяется новой водой.

— Вода — стихия, самая близкая к душе. Вода, — я не знаю, что это за сила целебная! Бывает, на совести что-нибудь ляжет, обмоешься — и как будто получишь прощение! (слова Л.).

Истинная религия не любит мистики, принимая ее, наверное, за колдовство. Но когда Л. увидала в лесу на березе крест со своими инициалами, то приняла это как явление личного креста, пусть даже как символическую случайность. Целые два месяца она ходила к этому кресту.

Но когда приехал Р. В. и полуслепыми своими глазами разглядел, что буквы образовались при наплывании надреза, — что первона-

чальная надпись была «Х. В.» (Христос Воскресе), лесной крест потерял над нею власть, и она перестала молиться в лесу.

Когда сам лично выступаешь со своей жизнью на вид, и тебе уже нет отступления, и весь исход борьбы зависит от того, какой ты есть сам, тогда ты только и увидишь, как мал еще человеческий опыт на земле, как нажитое человечеством мало дает опоры в личной борьбе.

Так вот, теперь я испытал любовь и вижу ясно, до чего смущены нашей любовью все поэты и во все времена, в том числе даже и автор «Песни Песней».

Во время прогулки мы с Л. сели на поваленное дерево, в тишине лесной гурковала горлинка. Я говорил ей о том, что до того сейчас я с ней, что мое одиночество не нарушается.

— Какое одиночество?

— Хорошее мое одиночество, когда я слышу, вот как теперь, голос горлинки, и мне это как голос от всего мира, и я через это как-то самоутверждаюсь. Ты это знаешь?

— В детстве знала, но потом страданья все разрушили, и в пустынном одиночестве теперь я чувствую только любовь; понимаешь? не к букашкам, таракашкам, горлинкам, а переполняющую мою душу любовь...

— И я тоже не к таракашкам чувствую, а через таракашек к Целому миру, которого ты назвала бы Богом. Пусть не совсем как у тебя, но это поэтическое чувство входит в состав твоего как чувство личности, как самоутверждение.

— Знаю, знаю, это было у меня!

— Главное тут удивление, как будто очнулся и увидал невидимое. Помнишь, как Олег говорил о таком удивлении, что оно свойственно девочкам, пока они не потеряли свою свободу: это Художница Бога чертит свои узоры в новорожденном мире.

— Возможно, я к этому вернусь. Я утратила это в сострадании,— любовь это пересилила и закрыла, но, возможно, я к этому вернусь!

Прошло некоторое время. Мы встали, в молчании прошли по тропинке, удивились красивой форме ее, выбитой человеческой ногой. Перейдя овражек, она повернулась лицом ко мне и спросила:

— Скажи, что ты любишь меня.

— Люблю, но скажи мне, что за этим вопросом скрывается, ведь он порожден сомнением?

— Это возникло, когда ты говорил, что я не мешаю твоему одиночеству. Я возревновала тебя к твоему одиночеству!

И потом мы стали говорить, что ничего она так не боится, как равнодушия в довольстве.

— Этого ты боишься с моей стороны?

— Как с твоей, — ответила она, — так и с моей.

— Бывает разве у тебя так, чтобы возникло сомнение в себе?

— У меня на дне бывает тысячи всяких перемен, но я держусь твердо решения быть до конца с тобой в единстве.

«Лесная капель» — материал собран, остается разбить по отделам, один лучший отдел — «Фацелия».

Почему это, когда о пустяках думаешь — чувствуешь, что поумнел, а когда натужишься на умное, — бывает, хватишься: до чего же я поглупел!

Надо бы на Л. приналечь в иных случаях, чтобы получше писала да пораньше вставала... Но как подумаешь, кто она мне, кого я в ней нашел, на что в ней надеюсь и как она настрадалась — станет совестно принуждать и простишь ей: спи, милая, больше, пиши как-нибудь, а я за тебя не посплю и за тебя попишу с наслаждением!

Меня задевало чем-то, и непонятно было, откуда взялось у нее, столь робкой, такое самоутверждение, когда она мне говорила: «Вы еще не знаете, какая я и что я могу!»

«Такая умная, — думал я, — и так хвалится». Несколько месяцев длилось у меня недоумение, как вдруг я понял: это с такой страстью она жаждет любви, что, представляя себе возможного любимого, видит себя той, какой могла бы быть, если бы она его дождалась.

Анализ ожидания жениха в душе девушки (тут вся Л.!) и разгадка всей ее заманки (заманивала доступностью в недоступность...).

Вдыхаю аромат клейких листиков черемухи, ландышей, слушаю соловья, иволгу, горлинку и думаю — не устаю думать и при таком счастье.

Неужели, — думаю я, — стал бы заниматься зверями, птицами, собаками и кататься по свету, если бы знал, что на том же самом

земном шаре, в той же самой стране, в той же самой Москве, где-то возле Тишинского рынка, живет моя В.

Да знай я, что она где-то живет и ожидает меня, я бы к каждой интересной женщине подходил и в опыте с ней узнавал, не она ли В. Но не буду говорить о том, что жизнь свою продремал: ведь множество же людей, и не такие глупые, как я, хорошо зная о существовании своей В., растрачивают силы свои на чужих и не находят свою. Я же, как ребенок, очарованный игрушками и сказками, сберегал свои силы, и В. сама пришла ко мне.

Всю ночь мы проспорили, утром в лесу спор дошел до того, что я стал защищать художество как создание новой и лучшей реальности, как воплощение.

На это она возражала делами Олега: он тоже стремился создать новую реальность, но не мог, и «плоть» не досталась ему.

На это я возражал, что О. был молод и не владел в достаточной мере силой родственного внимания: не понял ее. А если бы понял, то стал бы жить с ней как я, появились бы дети и он узнал бы…

Она не соглашалась.

Так в споре мы подошли к реке Нищенке. Тут на берегу стояла старая седая кобыла, возле нее на траве валялись два гнедых жеребенка, ее дети: годовалый и новорожденный.

Мы видели, как кобыла, наклонясь, коснулась губами своего жеребенка.

Так в молчании у лошадей совершалось то самое, о чем люди говорили и не могли договориться всю ночь и утро. Это молчание было земным полюсом достижений святых людей. Там тоже молчание при достижении Целого.

Человек, имеющий постоянное общение с вечностью, в малых земных делах должен быть образцом для всех маленьких людей, лишенных дара чувства вечного в мире. Вероятно, это до крайности трудно, и вот отчего пустынники жили в пустыне, а художники создали себе особый растрепанный вид и обстановку художественного беспорядка.

Современные художники, однако, забросили это и стремятся внешним своим видом не отличаться нисколько от прочих людей. Наверно, так будет с прочими «пустынниками» мысли: они не будут никуда уходить и, оставаясь на месте, особенным усердием и под-

держкой внешнего порядка в «малых делах» создадут себе непроницаемую для постороннего взгляда «пустыню». Будущий пустынник будет иметь свой автомобиль, самолет, окружит себя техническими усовершенствованиями и особенно обратит внимание на свои костюмы.

Вечером мы простились с ней на несколько дней, проводил до шоссе. На обратном пути ее мать говорила мне о трех вещах: 1-е, что над Лялей должно быть твердое руководство; 2-е — она очень трудная и ее надо претерпеть и 3-е, что нельзя тоже и не давать ей воли и не доверять.

На это я ответил, что руководства я вообще не беру на себя и совершенно к нему не способен; пока я настолько верю сейчас в себя и в нее, что она не должна поступать самовольно сама по себе, а только как надо. На 2-е (претерпеть), я ответил, что я уже претерпеваю, но пока мне всякое лишение свободы сладостно, мне даже иногда кажется, что мог бы ради нее не писать, хотя очень возможно, что в этом обманываюсь. А на 3-е — о предоставлении ей свободы — ответил, что свобода в ее руках, но глаз — мой: пока люблю — глаз моих с нее не спущу, пусть мне это даже будет стоить таланта. Впрочем, я глубоко верю, что, растворяя свой талант в любви, я себе что-то наживаю.

— А что это значит: глаз не спущу?

— Это значит, — ответил я, — что любовь есть движенье, и надо, двигаясь вперед, самому следить глазом за другим. В этом движении есть две опасности. Первая состоит в удовлетворении каким-нибудь достижением и возникновении чувства собственности: эта опасность приводит к слепоте. При остановке из-за собственности друг исчезает из глаз. Другая опасность, что в собственность превращается ценность, взятая не из души другого, а из собственной души: иногда увлекает свое, только свое, хотя бы великое даже.

И вот если ты хочешь вместе с другом к Правде идти, то не верь звезде своей, откажись от нее. Помни всегда, что эта опасность страшнейшая, что это весы, на которых взвешивается и проверяется вера твоя и вера твоей возлюбленной.

Это испытание, в котором ты отказываешься от своего Бога, с тем чтобы, если он Бог настоящий. Он больше бы полюбил тебя и на твой путь поставил твою возлюбленную. Это испытание, в котором ты своему обманчивому прежнему Богу говоришь: «Отойди от

меня, Сатана, мой единственный Бог живет в сердце моей возлюбленной».

Весна в этом году запоздала недели на две и вдруг принялась догонять: только-только развернулась береза и заблестели ее клейкие листики, как уже смолкла брачная песня самцов и самки сели на яйца.

После знойного дня наступил вечер не прохладный, а только не жарко. И такая тишина! Мне кажется, я никогда не слыхал такой тишины — ни одной птички, и только изредка жук прожундит.

А давно ли, давно ли была еще такая ужасная борьба солнца с морозом, и как тогда, после победы солнца, бросилась вся тварь на свою «любовь»! Теперь же вечером в этом молчании было так, будто их бог, вполне удовлетворенный, сел у реки покурить и дым его туманом поднимался над рекой. Ему теперь осталось только курить — самки его сели на яйца.

Мы осмерклись, сидя на изгороди, как куры на шестке. Вместе с природой я чувствовал удовлетворение и тоже покуривал, как бог у реки. Так мне ясно было теперь, почему у животных их акт размножения совершается всегда целомудренно, а в слова «животное чувство» мы, люди, вложили свой грех: вся тварь совершает свой жизненный акт бессознательно, и грех человека состоит в разделении души на плоть и дух в их борьбе.

Не отсюда ли происходит и все сознание, с тем чтобы все разделить и потом, поставив все на свои места, спрыснуть все живою водою творчества жизни и воскресить в единстве и радости.

Вот моя подруга рядом сидит со мной на шестке.

— О чем ты думаешь, милая?

— Я думаю, — отвечает она, — что хозяин наш прав: чтобы десять кур прокормить, нужно в месяц не меньше двух-трех пудов зерна. Он хочет кур променять на масло и только двух курочек оставить себе для забавы: на двух у него хватит зерна.

— Придется кормить трех, — сказал я, — необходимо оставить себе петуха.

— Ах, как же это я забыла про петуха, — но как ты думаешь, может быть, петуха совсем не надо зерном кормить?

— А чем же?

— Картофельными очистками: ведь ему же легче жить, ему не надо яйца нести!

Мы весело посмеялись, и я подумал, что, пожалуй, на всем свете единственная хозяйка Л. могла подумать о такой экономии зерна: всю жизнь, бедная, имела дело с бесполезными петухами; она привлекала их к себе, а сама в них искала души. Вся жизнь у нее прошла как самая жестокая борьба за Психею, и улей ее оставался без меду, усыпанный трупами убитых трутней…

Разве я-то сам не самец, разве не дразнило меня при встречах с женщинами чувственное воображение и не влекло меня за собой? Но почему-то с ней даже при первой встрече меня впечатлила только душа ее, и в этом первом соприкосновении душ не впечатлялось изображение женщины.

Значит, бывает же так у людей, и только у людей так, что вначале обнимаются только души, соединяются, проникаются, и начинают медленно облекаться в животную плоть, и так происходит не совокупление, а воплощение.

Я могу припомнить, как у моей Психеи создавались ее прекрасные глаза, как расцветала улыбка, блестели и капали слезы радости, и поцелуй, и огненное прикосновение, и весь огонь, в котором соединился в одно существо разделенный грехом человек.

Мне было тогда, будто древний Бог, наказавший человека изгнанием, возвращал мне свое благоволение и передавал в мои собственные руки продолжение великолепного творчества мира, прерванное грехом человека.

В основе любви есть неоскорбляемое место полной уверенности и бесстрашия. Если случится в этом с моей стороны посягательство, то у меня есть средство борьбы против себя. Я отдаю всего себя в полное распоряжение Друга и через это узнаю, в чем я прав, в чем виноват. Если же я увижу, что друг мой посягнул на святыню мою, я проверю его, как себя. И если случится самое страшное и последнее: друг мой станет равнодушным к тому, чем я горю, то я возьму палку свою дорожную, и выйду из дома, и святыня моя останется все равно нетронутой.

Бедный Олег! Он по юности видел препятствие в том, чего нет, и, уходя в путь, не заметил то место, куда ему рано или поздно придется вернуться.

Ранним утром от шести часов с пером в руке сижу в бору, вокруг воркуют горлинки, думаю с любовью об отсутствующей Л. Мне сейчас становится ясно, как никогда не было, что Л. — это самое луч-

шее, что я в своей жизни встречал, и всякое раздумье о какой-то личной «свободе» надо отбросить как нелепость, потому что нет свободы большей, чем та, что дается любовью. И если я всегда буду на своей высоте, она никогда меня не разлюбит. В любви надо бороться за свою высоту и сим побеждать. В любви надо самому расти и расти.

Так трудно было расставаться, и когда расстались, то больше увидел и больше полюбил. Зачем же тогда бояться последнего расставания, — тоже ведь расстанешься и больше увидишь, и больше полюбишь.

Чувствую, что уловил колебания весов, на которых перед всевидящим Оком взвешиваются наши дела. И я знаю, что когда Л. говорит о любви — в молчании твари и святых людей чаша склоняется в ее сторону. А когда она говорит о простой радости от созерцания природы, о художестве, детстве — чаша склоняется в мою сторону. На моей чаше лежит детство, игра, искусство и все другие лучшие желания человека жить «как хочется». На ее чаше — добро как любовь и молчание, и обязанность человека жить «как надо».

— Когда-то давно и я тоже наедине с природой оставалась, и была как ребенок. И мне показывалась земная тварь как игрушка. Теперь я так не могу…

— Значит, Л., жизнь-то все-таки одна, и зачем нам с тобою спорить: мне она дарит мир как игру, тебе — как добро и любовь. Вот я и боюсь, дорогая, что, приняв через тебя любовь, я потеряю, как и ты, охоту к священной игре.

— Что за вздор! Если я в защите себя нашла против страданий как целебное средство любовь, мне ли защищать самое страдание! Но если я не могу играть, то я любуюсь игрой, и оберегаю игру, и хожу за ребенком. Ты — мое дитя. И любовь к тебе — это мой путь к радости. Ты играй, больше играй!

Если бы я убедился в предпочтении ею кого-либо, доходящем до меня через равнодушие, то я взял бы палочку, и вышел из дому неизвестно куда, и постарался бы так замести следы за собой, чтобы никто и не узнал, куда я ушел. А если бы попал в положение ее мужа и остался бы один, то я вступил бы с самим собой в смертельную борьбу за свободу от недоброжелательства к ней.

Надо быть самодовольным собственником, чтобы отказаться от возможности такой встречи с ее стороны и что я буду обойден. Но все, что возможно сделать человеку для защиты любимого от такой беды, она сделает.

Как бы радостна она ни была — эта солнечная женщина, но стоит ее оставить одну, как уголки губ ее опускаются, лицо удлиняется, обостряются на лице косточки, глаза уйдут неизвестно куда...

Через Л. мне стало дорого все, чем я бранился: лето, дача, жара, загорание, уход за телом и т. п., все, чем все живут, чему все радуются, что для всех является желанной целью, о чем все плачут, если этого нет.

Через Л. я получил то, что у всех, но, кажется, от этого не стал как все. Получил от нее заботу, внимание, ласку, какие в жизни я не имел ни от кого, и думаю иногда: «Что это? так у всех любящих бывает и это она дает всем или у нее это заготовлено только для меня и она так любит только меня?» В особенных случаях я даже не выдерживаю и ее спрашиваю, и она обыкновенно отвечает, что так у нее в первый раз.

Теперь я больше ее не спрашиваю; какое-то особенное чутье подсказывает мне теперь, что у нее для меня и что у нее было для всех.

Многое в мастерстве любви у Л. я принимаю за действие любви, на самом же деле она, как мастер любви, умеет это делать для всех. Самая любовь же только тогда и есть любовь, когда она вызвана мною и для меня единственного.

Но это состояние единственного точно так же опасно, как успех для художника. В успехе голова художника кружится, и художник перестает быть бескорыстным и часто в корысти своей лопается как дождевой пузырь. А в любви через признание «единственным» он делается собственником женщины, и через это любовь, как и талант, погибает.

Тщеславен ли я? Вот горе, что вся гордость моя опирается на то, что я, среди множества пузырей славы, направляю все свои моральные силы на охрану «единственного», я в искусстве как самая чистая девушка, а Л. иногда принимает это за самовлюбленность, бахвальство и пр. И пусть не всерьез, но даже в шутку нельзя так думать обо мне.

У нее неверное понимание меня в отношении моего таланта, мне кажется, что я совсем свободен от тщеславия, и сержусь, лишь когда меня не понимают. Она же зарубила себе на носу, что я самолюбец, и при случае будет меня этим колоть.

Спрашиваю себя, вполне ли я освободился от тщеславия, и казалось мне, вполне; но, вспоминая боль, когда меня ставят в один ряд с пошляками, вспоминал обиды умолчания и т. п. Впрочем, думаю, что чувствительность эта еще не означает тщеславия. Самый факт, что признание моей любви Лялей мне значит много больше, чем признание моих успехов в литературе, указывает на в значительной степени преодоленную мною зависимость от славы. И вообще, если мне в чем-нибудь каяться, то надо каяться прежде всего в слабости сознания своей вины (греха).

До известного возраста человек дорожит чужой мыслью и всасывает в себя чужое. Но с какого-то времени всякая чужая мысль входит не в открытые ворота, а стучится, и ее впускают лишь после проверки — какая это мысль и есть ли в ней толк и надобность.

Тогда наступает время, когда господствует твоя ревнивая мысль, и человек высшей нормой своей считает требование быть самим собой.

И этот период существует лишь для подготовки к выбору вне себя лежащей Мысли, которой человек предается.

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Влияние всех и всего на себе испытываю в огромной степени. Ко всякому влиянию отношусь с благоговением, смирением, почтением. Я доверяю всем, как большая река доверяет влиянию в себя рек болотных с черной водой, с берегами в ядовито-ярких желтых цветах, рек малых с голубой водой, с песчаными берегами и незабудками, и рек, отравленных фабричными отбросами. Большая река все принимает, и большой реке от этого становится ни лучше, ни хуже. У нее своя вода, свое устремление.

В этом отношении я счастлив тем, что, не хвастаясь, могу сказать о себе: я, как большая река, принимаю в себя с готовностью всякое влияние. И больше — в этой готовности принимать влияния я вижу и основную силу своего русского «рода-племени»: все воды, прибегающие к ней, донести в океан.

Я в свое время получил от Е. П. понимание и признание за лучшее во мне — детскую простоту души. Она это ценила по тому глубокому народному чувству, собиравшему вокруг старцев верующих людей. За это я все в ней терпел, все прощал до тех пор, пока не увидел, что это чувство в ней умерло и, напротив, явились жестокость, злость, эгоизм. А случилось с нею это уже давно. Я бы это готов был перенесть и перенес бы, если бы не ее чудовищное выступление против меня с угрозой доноса на Л. Хорошо понимаю теперь, чем особенно дорога мне Л. Тем именно, что ценит во мне ту же детскость души, как и Павловна ценила, но готова быть в любовном общении со мной до конца.

Не потому Л. имеет право на меня и может быть спокойной за разрушение моей семьи, что они дурные люди и мне плохо жилось, а потому, что они восстали с хулой на лучшее во мне: они терпят именно за это.

«Ваша высококвалифицированная теща» — так сказал мне без всякой иронии «Смердяков».

У матери остался талант формы старого мира. Беспокойная дочь в эти старые меха наливала новое вино. Одна из самых мучительных историй.

Л. все еще не вернулась... В отсутствие ее я допытался, как Нат. Арк. представляет теперь себе нашу жизнь с Л.; она представляет — вроде как бы два фейерверка соединились, чтобы блеснуть, но это не настоящая жизнь, не настоящая любовь, а два чудака.

Теща обратила мое внимание на прогулке, что Л. поднимает правое плечо и что у отца это было, и что вообще она во всем как отец.

— Есть же что-нибудь у нее свое, только свое?

— Есть.

— Что же такое?

— Суета.

По всей вероятности, «суетой» она называет то, что выходит из круга ее понимания. Еще она вспомнила, как об этом теми же словами сказал ее брат.

Одним словом, я был малодушен и допустил вовлечь себя в этот круг ограниченных людей, любящих Л. и томящихся в напрасном ожидании общественного выражения ее гениальности. Грустным ушел я к себе, раздумывая о каком-то неизбежном и страшном для

обывательского глаза «легкомыслии», вмещенном как нечто постоянное в ее душу и точно так же в мою. Ушел, думая, что никогда-никогда бедной Л. не доказать этим людям чего-то...

Порядочные люди имеют ограниченную, но трогательную и действенно-живую мораль: «Помирать собирайся — рожь сей». А Л. беспорядочная, помирать вечно собирается, и через это никак даже не хочет и глядеть на рожь: зачем эта рожь, если умрем! Из-за любви своей к Л. ограниченные порядочные люди признают, что она права, она может так говорить, потому что она особенная, они же, обыкновенные, должны сеять рожь. И так они ждут, ждут свидетельства ее гениальности, а сами по скромности своей сеют и сеют рожь.

Обдумав мотивы восстания личности против заповеди Божьей: «Помирать собирайся — рожь сей», собрать все «за» и «против».

Тема: обманы гения, то есть что каждый из круга морали «помирать собирайся — рожь сей» при соприкосновении с моралью «гения» попадает в обман (Настасья Филипповна и князь Мышкин).

Спасение гения — в форме. Он должен быть писателем, она может быть актрисой...

Ограниченный человек, но упрямый до геройства, А. В. тайный план имел, чтобы зажать Л. чем-нибудь. Пробовал силой пола — ей надоело, ученостью, дружбой — можно ли удержать ученой дружбой? Осталась мораль брака — она разбила мораль и ушла от него. Он пугал ее, как мог, освященной церковью жизнью загробной. Она же ему ответила, что там не женятся и не выходят замуж.

И теперь я больше понимаю Л. в отношении к своим жертвам. Долго она не может оставаться в первом этаже, ей это становится ненужным и скучным занятием. А дальше у них нет движения — и она уходит.

Она такая неряха в делах, а никаким деловитым существом нельзя заменить ее безделия; она такая ненадежная любовница, а никакой, самой надежной, нельзя ее заменить; такая обманчивая, но обман ее слаще, умнее и надежнее правды.

Ждем Л. Какая она — не знаю. Не в Л. дело. Одно знаю, что она есть проба на всего меня: не в ней дело, а во мне. Борьба за нее только в самом начале, победу буду праздновать, когда... Когда?

Есть опасение... обе тетки Лялины умерли родами молодыми, она же и немолода... Но если... пусть! Мы оба готовы.

Июль. Дождь. После вчерашней грозы жара прервалась, и у Л. выяснилось, что «опасность» миновала. Но не очень это нас что-то обрадовало. Мы подготовились.

— Ты знаешь, — сказала она, — сколько мною испытано, зачем прибавлять еще, но, если будет у нас ребенок, ты будешь радоваться, ты узнаешь новое счастье, какого не знал, и тогда я тоже буду рада.

Так вот оправдалась моя догадка о том, что радость жизни безмерна в глубину. Странно, что принимаешь эту радость как то самое, чем все люди живут, что всем доступно. Когда же это ты узнаешь и оглянешься вокруг, то оказывается, что не только все не живут как мы, а только редчайшие из них.

По себе смотрю на всего человека и чувствую не сострадание, а досаду на закрытую дверь, возле которой они стоят и не могут войти.

«Почему же ты не сказал?» — это обычная фраза у Л. во всех случаях, когда сказать бывает невозможно, и никто не говорит словами, когда бьются на кулаках.

Вот и замечательна эта вера ее в слово, в человека, защищающего себя словами и, пожалуй, умеющего выразить в слове, что обычные люди расскажут кулаком.

Л. страдает пороком рационального выражения своих впечатлений. Это у нее оттого, что она много имела дела с учеными мужчинами. Я ей об этом сказал, и она сразу поняла этот свой недостаток.

У Л. основной мотив жизни — это жажда целомудрия, и с ним в постоянной борьбе неудержимое стремление к близости с человеком. И потому жизнь вкладывается в жажду любви и в совершенство любви — целомудрие плоти.

Л. до того женственна, что ее при начале всякого дела надо насиловать, и даже для того, чтобы она вовремя встала, надо стащить с нее одеяло.

Ей нравится мужская воля, решительное логическое поведение. Но истина любви ее — в материнстве, в том чувстве, которое называется милым словом «ребеночек».

— Ты пойми, мой милый, раз и навсегда, что в любви нашей ты начинаешь, а я иду за тобой, и если мне не захочется даже, все равно я пойду.

Петров день (12 июля). После размолвки вышел чуть-чуть огорченный в «пустыньку». Старик удил карасей, и мне вспомнилось время, когда я тоже по утрам рыбу ловил, и понял — у Л. эта пустыня — единственная соперница, и представил себе, что, может быть, Л. — не конец моей пустыни, а только оазис.

Эта мысль была от ревности: я ее ласкал, а она думала о письме А. В. День прошел томительно. Вечером — слово за слово о том, что она «не хозяйка» (по ее мнению, я должен быть «хозяйкой»), и пошло, и пошло...

После часа ночи она повела меня «под расстрел», и на рассвете при звезде утренней мы восстановили любовь, и потом, вернувшись, зазябшие, мокрые от росы, залегли греться в постель. Тогда я впервые почувствовал возбуждение через мысль: это сверху исходящее чувство плоти, а не снизу.

Психология «расстрела»: страх от возможности утраты и через это «пропади весь этот спор, и пусть я во всем виноват, и даже если она виновата и у нее дурной характер — пусть! Я это беру на себя».

Ее вина в том, что она пустяки возводит в принцип и начинает этим принципом бить в душу. Она виновата, но от ударов душа освобождается от оболочки, и тогда становится широко и всякая вина, моя или ее, становится мелочью. В этом и есть сущность «расстрела», что становится больше не страшно, что «не в этом дело».

Счастье в том мое, что Л. это мое состояние хорошо понимает, что сама с проклятьем бросает оружие, всю себя земную, и сливается со мной: убивающий как бы сам себя убивает, чтобы соединиться с душою убитого. И вот тогда как бы с неба приходят страсть и возрождение любви со славою необычайной.

Так было в наших трех спорах: 1) Ванна, 2) Гроза (как на полу сидели всю ночь и плакали, а потом радовались и целовали друг друга) и 3) Расстрел.

Психология спора: истоком спора всегда бывает упадок любви, сомнение в ней, вздох о свободе, об одиночестве и вообще в измене «Мы» и возвращению к «Я», и в этом взгляд на нее со стороны: «вот она какая!» Так что спор, вытекая из этого, находит повод, питающий особую лживую диалектику.

Не забыть о «расстреле»: под звездой утренней и пониже маленькая, а земля брачная парит, и аромат, и теплое дыхание, и когда рассвет — туман над овражком теплый, и первая птичка, и последняя кукушка.

После того состояние дома: страстное желание быть ближе к ее телу, и когда стал ближе, то тело в руках плавится и подается в глубину, и страсть сверху, как бы от духа, как бы совсем другое в сравнении с тем, что бывает от похоти, и эта верхняя страсть зажгла и ее.

Значит, она вообще загорается только от какой-то высшей страсти, исходящей из идеального чувства: и тут она — есть она.

Когда ее душа приходит ко мне со всей ощутительностью, то это становится больше природы, и звезды детства над нами, и аромата земли, и росы, и туманов внизу. Вот она и хочет мне доказать, что то все хорошо, но то — все детское (художество), игра священная, это же — небо и Бог!

Читаю «Мой дом»[34] и ясно вижу, что именно я-то и посвятил свое писание делу преображения и оправдания плоти и всей вообще твари земной. Странно, как Л. сразу этого не поняла и так долго учила меня тому самому, о чем я всю жизнь твердил так выразительно. И ее война за «мысль» в любви, за оправдание нижней любви мыслью («поднимать любовь») — разве я-то не делал это всю жизнь свою, подходя с такой страстной мыслью к «тварям» в природе и «воскрешая» их для людей?

Она говорила своему другу, что я пришел к ней с оправданием ее прошлого, пришел к ней и все понял и, она пошла за мной в *оправдание.*

Р. В., закончив мой архив, поставил интересный вопрос: почему у меня нет переписки с писателями? Я думаю, это объясняется моим нравственным одиночеством, моей стыдливостью к постороннему глазу, условиями моего дикого быта (много еще чего-то — к этому надо вернуться).

Между прочим, все препятствия к сближению с обществом после сближения с Л. рушились, и только теперь я стал таким, как все. Л. непосредственно, прямо даже и заставила меня написать хорошим людям (Зое [35], Коноплянцеву) и восстанавливать с ними ду-

шевную связь. Одним словом, только с ней я перестал быть отщепенцем и почувствовал себя в обществе (мой рассказ «Художник»).

В Москве было, она спала под простыней, я же не спал и смотрел, как от ее дыхания колышется простыня, и от этого было во мне, что ведь это же живой человек, и возле меня человек, и мой человек, продолжение меня!

Другой же раз было при возвращении на пути в Тяжино, она впереди меня шла, несла тяжесть в левой руке, и от этого правое бедро выставилось, округлилось. Тут я подумал, что и я несу тяжесть, и она несет, и мы вместе несем что-то друг для друга, и каждый для друга, как для себя.

Нашла в его раннем дневнике 1905–1912 годов: «29 августа. Петербург. Ночь в пустой квартире пыльной. Ночью является желание встречи в одиночестве и тишине ночной, целомудренные объятья с милым единственным по-настоящему близким и несуществующим существом. Встретились где-то на улице, оглянулись, узнали до конца, до последнего, когда возьмешь за руку и рука как своя собственная и говори, что хочешь, все будет верно, каждое слово будет настоящее».

Мне вспомнилось, как мы последний раз с ней купались в Нищенке, сели друг возле друга и я сказал:

— Мы самые с тобой счастливые люди, и у нас, в стране нашей, может быть, таких счастливых еще и нет и мы с тобой единственные.

— Вот еще что! — ответила она, — нас таких довольно. Я знаю других, что за одно слово: сказать или не сказать, могли решить судьбу свою в ту или другую сторону; и они решались сказать и умирали за слово с великой радостью. И мы со своей радостью не годимся им в подметки.

После того оказалось для меня, что сознание моего счастья было нелепое: я по наивности полагал его просто на таланте, на честности своей, на победе. А оказалось, я потому считал себя единственным, что сравнивал себя с несчастными, между тем как мне надо было сравнивать себя с теми счастливцами, кто за слово стояли до конца, и таких было много, много…

Продавать или беречь архив? Беречь, если знать, что ты движешься вперед. Продавать, если нет уверенности. Я уверен и не хочу продавать. Но если бы я тогда отказался от Л., то верить бы не мог в будущую ценность архива.

Л. мучается за А. В. днем и ночью.

— Ты же, — сказал я, — не вольна была меня оставить, когда меня полюбила?

— Нет, — ответила она, — не вольна.

— И веришь мне, я тоже не волен был, не мог оставить тебя и вернуться к семье?

— Верю.

— Для чего же теперь мучиться за А. В., которого ты оставила, ведь там ты вольна была?

— Вольна. И оставила.

Павловна, Лева, Петя, даже Аксюша — вовсе не плохие люди, но я их разбаловал, мой грех в том, что не вел себя с ними как Старший, не утруждал этим себя.

Рассказывали, что будто бы один мальчик-осетин влез на плетень к соседу и схватил барана, и когда это заметили и поймали его, то рук своих он освободить не мог, так что пришлось вырезать шерсть из барана. Вот это хватка делового разума, пользы не оставляет Павловну в несчастье, и как бы ни было велико ее горе, пальца в рот ей не клади.

...Но бедные, бедные Лялины пальчики! Как часто в бессоннице, лаская ее тело, я вдруг вспоминал о ее пальчиках, найду эти бедные существа, трону их, и сразу по телу какой-то пробежит ток жалости, душевного сочувствия совсем другой природы, чем то радостное здоровье, и телесная чистота, и сила, прибывающая от соприкосновения с телом.

Значит, вот отчего художнику так трудно дается рука!

Глава 18

Полгода

Итак, исполнилось полгода со дня нашей встречи. И теперь рушатся все препятствия, и за тридцать пять лет жизни с Е. П. мы не узнали того с ней, что открыло сближение за шесть месяцев. Сколько мучений, сколько радости и чего-то нового, неведомого.

Как будто, прихватывая рукой больное сердце, я полгода поднимался изо дня в день на гору, с мученьем и радостью от новых кругозоров, превозмогая мучения. В этом путешествии на гору талант мой слился с любовью, и я теперь знаю, что если иссякнет любовь моя — иссякнет талант, и если будет любовь возрастать — будет возрастать и талант.

Итак, путешествие мое в гору все продолжается.

Цветет мята. В тени лесной есть еще крупная земляника, малина поспела. Кукушка смолкла, но горлинка еще гуркует. Мы с Л. собираем грибы. Очень сближаемся, становится похоже на связь неразрывную.

Л. видела сон, будто с нею десятки и сотни и тысячи ее сожителей и поклонников, а меня нет. И старый подвижник ей говорит: «Нет тебе прощения и не будет». После чего Л. хотела утопиться, но поклонники ей не дали.

— Я видел очень томительный, очень мучительный сон…

— Расскажи!

— Видел, будто в лесу собираю грибы, а их нет.

— Ну?

— Вот и все.

— Почему же он томительный и мучительный?

— Потому что грибов нет.

Староверов Гаврила. Старик — хранитель православия, безупречный человек, единственный, кто против нашего брака и разорвал отношения с Л. за то, что она оставила А. В. Единственный его порок и грех, что он не участвует в современности, что, значит, мертв. Но с мертвых и спроса нет, значит, нет у него ни греха, ни порока: безгрешный и беспорочный старик, неподвижная фигура [36].

Проводил своих… В этот раз мне стало даже чуть-чуть не по себе, что я как будто больше не могу удовлетворяться одиночеством. Вот когда она стала по-настоящему моей женой. И это удивительно, до чего она именно *жена*, хотя это имя, произнесенное со стороны, ей непереносимо.

Впрочем, она ненавидит всякую форму без живого содержания, называемого ею любовью. Так вот, обычная «жена» ей ненавистна,

как категория брака. Ее же собственная, т. е. она сама как жена, происходит от материнской любви. И все ее схватки с матерью происходят от ненависти к форме.

У Н. А. есть прием логического рассуждения, с уверенностью, иногда надменной, что если она рассудит, то из этого должна выйти правда… Это у нее не то от дворянства, не то от немцев…

Не дай Бог мне ее когда-нибудь огорчить.

Вчера проводил, сегодня первый день на холостом положении, но письмишко успел написать.

Поэты юные в своем творчестве исходят от удивления, старые поэты — от мудрости. Но бывает наоборот: юный питается мудростью (Лермонтов), старый — удивлением (Пришвин).

Написав рассказ, я сказал, не думая о читателе, а только о себе, как мне самому показалось, я сказал с восхищением: «Хорошо». Другой же не о себе думает, а о детях, для которых написано, и тоже с точки зрения читателя говорит: «Хорошо». Никогда я не думал о читателе, а мне часто говорят: «Вы должны знать, для кого вы пишете». Странно, что я, не думая о читателе, гораздо меньше ошибаюсь, чем те, кто о них думает. Почему?

Много ли нужно, чтобы увидеть: взглянул — вот и все. Другое дело свое виденное представить для других людей в понятных словах, — вот для этого нужно и время, и опыт, и мастерство.

Надо так писать, чтобы радовался не только сочувствующий, но чтобы и мыслящий говорил: хорошо!

Грибов много, но и людей, охотящихся за грибами, тоже много. Утром сорвут, а те, кто опоздал, ходят с пустой корзиной, но один грибник, старый человек, рано не ходит, а всегда приносит полную корзину. Сегодня он мне открыл свой секрет: «Они глядят, куда все глядят, а я — куда никто не заглядывает, — в кустик гляжу, под колодинки».

Вот и все. Глядит, куда никто не хочет глядеть, а люди о нем говорят, будто он с чертом знается.

Когда я на бумаге ставлю «Я» и веду от него рассказ, то, конечно, это не мое индивидуальное «я», это «Я» употребляется в том же самом значении, как царь говорил в манифесте свое «Мы». Но мои

молодые подражатели принимают это «Я» за индивидуальное и иногда пишут по наивности начисто от себя.

Письмо. «21/VII—40 г. День прекрасный [37], милая Л. Телеграмму об обмене получил, но свалил все на Птицына и успокоился: у Птицына выходной пятница, а без Птицына переехать нельзя, как нельзя разделиться без юридических услуг Валентина Филимоновича. Порывался даже приехать в Итаку на Лаврушинский и поступить, как поступил Одиссей с женихами Пенелопы.

Работаю, стиснув зубы, и к твоему приезду надеюсь все дочиста кончить.

Милая, привези сухариков белых, печенья и пришли батончика два, а то у нас плохо, животик серьезно спадает, даже жалко становится. Грибов ужасти сколько. Сегодня пошел в Круглую рощу, прости Господи, до ветру сходить и принес белых грибов на обед. Аксюша поутру принесла оттуда семьдесят два.

Ты не можешь представить себе, как высоко я через тебя поднялся в своих глазах: и всегда, когда я думаю о тебе (а думаю я все свободное время), я чувствую себя как-то особенно прочно на земле и в то же время мне это ново и небывало. Всегда удивляюсь, как в такой беде ты могла для меня сохраниться, и еще удивительней, как ты нашлась... Я тебя люблю, Ляля, — как я счастлив, что могу это сказать спокойно, уверенно и в первый раз в жизни первой женщине.

У меня щемит сердце от мысли, что ты в Москве мучишься, я стараюсь от этого больше работать свою скучную работу исправления трех экземпляров. Дело тоже невеселое! Рассказы же детские надо только переписать, и скорей всего мы это сделаем с тобой дня в два. Мы будем скоро свободны от нудной работы, от Аксюши и от тягостной борьбы за жилплощадь. Как это будет хорошо!

Ах, Ляля, я сейчас так уверен в своей настоящей любви к тебе! Я снова теперь чувствую то, что мелькнуло когда-то на мгновенье, будто ничего-ничего мне от тебя не нужно и я просто так люблю. Но увы, даже такая любовь не добродетель, а только счастье-талант: иной богат золотом, я богат тобой, вот и все.

Целую тебя и маму. Твой пузатый пустынник.

Михаил».

Лялино письмо от 28 февраля. «Сегодня получили ордера. Вчера твои посланцы не застали меня. Если догадаются прийти сегодня —

получат подкрепление: ветчинки, колбасы, сухарей и конфет. Ты пишешь — вызвать на помощь Аксюшу. Да как же ты не понимаешь, что она мне не друг и что она может навредить в дни обмена!

...Не дивись, что я сейчас пришла в буйство и в этом состоянии схватилась за перо. Я не могу мириться с твоей податливостью, с твоей какой-то неразборчивостью мысли. Примеры: ты готов был невзлюбить мою маму за то, что она не умеет скрыть от нас свою тревогу, свое неверие, что у нее не хватает сил одной бороться молча с этим неверием (в тебя). Тебе трудно было пожалеть хорошего, но измученного и, может быть, слабого человека, а ведь за ней стоит *добро*, т. е. готовность бескорыстно служить тебе.

И другой пример, обратный: достаточно тебе там наговорить всяких слов, чтобы ты потерял оценку и размягчился (ты не отрицай, будь правдив, это так!). Я сама шатка и тоже поддаюсь словам и тону, сама страдаю от этого, и тем более мне это невыносимо в тебе.

Настоящие люди не так чувствуют. Федор Куприянович (Чувиляев) мне сегодня рассказывал, как он ответил Леве: «Я не предатель, и заявляю тебе, что не намерен молчать и покрывать шантаж и вымогательство. Я остался с М. М.».

Сегодня после твоего письма, Левиного посещения и разговора с Федором Куприяновичем мне стало так тошно, что я успокоилась только на мысли, что я ведь свободна, что вся эта клетка из красного дерева меня удержать не может — ни она, ни слава твоя, ни искусство. Помни, мне нужно твое свободное от пристрастий сердце и твоя правая мысль, и без этого мне не нужно ничего.

Почему Федор Куприянович мог сказать им такое точное бескомпромиссное слово, а ты не можешь? Да, я не скрываю, мне горько эти дни. Я прихожу к Анне Дмитриевне (Чувиляевой), она мне начинает говорить, что вот, мол, все же жалко разрушения семьи: «Подумайте, как Е. П. любила М. М., как она его окружала вниманием. Грубость, эгоизм? Что вы! Один раз только при нас Лева позволил себе повысить голос на отца, так Е. П. сразу его осадила, а сама — никогда».

Дальше та же А. Д. удивляется, что я против машины: «Мы были уверены, что это ваша идея!»

За что же все это мне? Вернее — почему? Потому, что ты всегда считаешь нужным скрывать истину своей жизни с Е. П., и в ложном свете твоего прежнего благополучия семейного — я, конечно, авантюристка и разлучница.

Дальше: Р. В. говорит: Коноплянцев такого мнения, что, не будь Е. П., не было бы и тебя. Она — источник твоего искусства. Кто внушил эту мысль людям? — Ты. И в свете этой мысли — я авантюристка и разлучница.

Почему же ты не умеешь, не смеешь меня защитить? Почему тебе жалко их, которые тебя расценивают как источник своего благополучия, и только? Мне очень горько, и я не вижу, зачем мне это скрывать.

Что же мне делать? Ты не изменишься — поздно ломать человека в твои годы. Да и права я на это не имею. А жить с этим сознанием, что все вокруг смотрят как на разрушительницу хорошей семьи, я не могу. Может быть, ты даже и не понимаешь, о чем я пишу, чем мучусь: ты всегда слишком упрощенно понимаешь это мое огорчение: «ревность»... Нет, это неправда. Поверь мне, если Е. П. и сыновья станут на истинный путь — я сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуть тебя им. Я сделаю это. И поверь еще, что я уступлю дорогу всякому, кого я не буду достойна и кто придет за тобой.

Но сейчас, — сколько времени я просила тебя, чтобы ты сказал им, что я не причина, а повод, — причина в них. И разве ты сказал им это? Ты выжал из себя самые бледные, самые скупые слова, словно нарочно, чтобы они ничего не поняли.

На что же я могу опираться, где же ты настоящий, и как не стыдно тебе за эту трусость, или ложь, или слепоту!»

При перечтении через три года: «Пишу после чтения ее письма мне из Москвы во время тяжбы с сыновьями. Она действует правильно и с достоинством, и все в словах ее правда, но... что это «но»? Мне кажется, это «но» в том, что она говорит как лично задетая, торопится обвинить меня в мягкости, в то время как я знаю, что я тверд в себе очень. Не твердости не хватало во мне, а внешнего выражения твердости и находчивости. Последующая жизнь показала правду мою и твердость во всей силе, какую только можно женщине желать своему другу.

Надо было бы ее тогда пожалеть, но я сам-то был в каком жалком положении!»

При перечтении через десять лет: «Почему, когда Л. так рассудительна, что и слова не вставишь, — я не любуюсь ею, а только ува-

жаю и слушаю, иногда с ворчанием. Что-то похожее на сочувствие читателя Обломову, когда хорошие люди стараются вытащить его из болота: как-то не видишь этих уважаемых людей — какие они настоящие. Так и Л. бывает очень почтенной, но это не Л. Моя Ляля безмолвно глядит в меня, и я от этого загораюсь на какие угодно действия».

«Почему? — Потому, что не хотелось тебе ехать воевать в Москву и в то же время совесть упрекала, что все унижение ты свалил на меня...

Диву даюсь, как могли у нас сохраниться об этом злосчастном лете светлые воспоминанья?»

Л. иногда говорит: «Я люблю тебя, как маму». Это значит, у нее любовь почти евангельская, в смысле — преодолеваю чувства недобрые, трудности характера. Так можно любить и врага. А то бывает, Л. говорит: «Люблю больше мамы». И действительно чувствуешь, что любит страстно. И когда она хочет сказать, что любит всем существом, как больше уж и невозможно любить, она говорит: «Люблю, как папу».

Моя любовь к Л. не есть добродетель, это просто счастье и талант. И потому не добродетель, что я от этой любви получаю не меньше, чем даю. Любовь же Л. к матери, это почти, а может, и во всем добродетель, впрочем, возникающая из потребности, свойственной Л. Конечно, если Л. заболеет и я ничего от нее получать не буду, все равно я буду ее любить, но эта любовь не будет добродетельна. Вероятнее всего, я совсем не обладаю чувством настоящей любви, которой любят врагов.

Татьяна любила Онегина: это любовь. Но... она любила и Гремина, по-настоящему любила: «как маму», «как папу» и даже больше; значит, и это любовь. Будем же такую любовь считать как добродетель, а к Онегину — любовь для себя.

В 1936 году Пришвин пишет в дневнике:

«Слушал оперу „Евгений Онегин“ и думал о том образе, которому адресовано письмо Татьяны, и о том, кому оно попало: девичьем образе любви, что отними образ — и будет свинство — безобразие; этот образ и есть начальный исток равно, как искусства, и жизни рода... (искусство тоже есть жизнь).

Долг Татьяны (жизнь со стариком) вышел из первообраза, как

у меня в «Жень-шене» сложилась жизнь; жизнь течет и жизнь складывается, но сила первого образа остается там и тут.

Спайка (узел) любви-эроса и любви-долга, то и другое в единстве личности у Пушкина вышло прекрасно. В толстовской «любви» (аскетической), противопоставленной «пристрастию», этой спайки не чувствуется, и стоит вопрос: не есть ли эта «любовь» в своем происхождении «лишней мыслью».

Любовь на столбах («Держусь»). Скажет «любовь» и тут же «держусь» — как будто эта любовь у него мост на ненадежных столбах и, переходя, он шепчет «держусь» и «помоги, Господи, перейти».

Та высота, которую чувствуешь, читая дневник Толстого 1910 года, несмотря на все сомнения, происходит от мысли о любви к врагу, от которой и происходит всякая другая «любовь», противопоставляясь нашей обыкновенной любви как «*пристрастию*» (определение самого Толстого).

В этом свете появляется моя задача добиться увековечения этой любви-пристрастия (т. е. посредством творчества выбросить из этой любви «смертные» остатки и сохранить «бессмертные». Этот путь дает: 1) смирение, 2) творчество. Толстовский путь разрыва обеспечивает: 1) гордыню, 2) прекращение творчества, 3) нелюбовь к людям.

Замечательно, что в 1910 году у Толстого нет ни одного слова о природе: она для него умерла и люди, он «отходил».

Как бы я ни любил для себя, ни жертвовал всем, включая самую жизнь, — все это не будет добродетелью, — все это — любовь для себя, и хвалиться тут нечем. Но любящему так «героически» представляется, будто он выходит из себя и не для себя живет, и через это наполняется великой гордостью, не подозревая, что он сам живет, больше чем когда-либо, для себя.

Я иногда ставлю себе вопрос: не есть ли у Л. вся ее любовь ко мне любовь-добродетель, путем сознательного великого мастерства представленная ею в глазах моих как любовь для себя? Почему, почему же не допустить возможности тончайшего обмана, граничащего с самообманом, относительно маскировки любви — любви-добродетели любовью для себя… Знаю, что она станет опровергать и будет уверять, будто ни от одного мужчины она не получала тако-

го полного удовлетворения. Я этому верил и верю... но пусть она гениальна в своем мастерстве, и если не обманет, то как художник самообманется; на самом же деле она вышла замуж за старого и некрасивого человека с целью, положим, помочь любимой матери и, может быть, даже самому писателю, даровитому и одинокому.

Тогда любовь-добродетель, ущемленная счастливой целесообразностью, сгущается до крайности, до свечения, и этот свет падает на старого, некрасивого, пусть даже горбатого, и делает его любимым и единственным.

Пусть будет так; спрашивается: если моя Л., такой мастер любви, сама создала свою любовь, то есть ли это для меня такой обман — огорчительный факт? Конечно, нет. Я только с удивлением ширю глаза свои и буду по-прежнему жить с ней, и любить ее, и сживаться. Но почему же все-таки, разобрав, что жена меня любит не любовью для себя, а любовью-добродетелью, я чувствую себя преодолевающим не то обиду, не то ущемленность в своей самости или обделенность природой?

Итак, вот скелет повести: он любит большой самоотверженной любовью и понимает как явление Целого, всего мира, обнятого его любовью. Он убежден, что он любовью своей выражает лучшее на земле. На самом же деле и такая любовь есть любовь для себя (эгоизм), а не добродетель. Она же знает лишь любовь как добродетель, и стремится любить для себя, и добивается воображением уверенности в том, что это есть действительная любовь для себя, хотя на самом деле это любовь-добродетель. Так они оба обманываются и вместе молятся разным лицам Троицы, он — Отцу, она — Сыну.

Мать моя была очень добрым человеком, а не добродетельным, и я такой же: чувствую, уважаю любовь-добродетель и неизбежные на ее пути страдания, а сам стою на своем и как нравственно здоровый человек боюсь усиливать естественное стремление в ту сторону.

Страстная радость жизни, выражаемая не греховными страстями, а любовью для себя и поэзией, — почему это не чудо? Почему радостью жизни нельзя постигать, а непременно только страданием?

Однажды в ночном шепоте, совершенно беспорядочном, случайном и даже иногда бессмысленном, вышло так у меня, будто какие-то внешние мои достоинства, вернее, отчасти и внешние привлекли ее ко мне. Явная дрожь презрения пробежала у нее по телу, и это была судорога любви-добродетели. На самом деле нет ни малейше-

го безобразия в моем лице, но ей хочется, чтобы я был безобразен и уродлив, — тут-то она и впилась бы в меня своей любовью!

«Выдумал, все выдумал! Не было этого! Впрочем, это твое право выдумывать, на то ты и художник».

...Но я не вынес бы ее любви-добродетели, если бы в таланте своем не чувствовал себя мужчиной, способным любить для себя, и привлекать к себе, и показывать молодым и красивым кукиш!

Все понял! Встал с кровати после полуденного сна, и вдруг все стало ясно и открылся короткий смысл моих длинных домыслов: ...Ничего нет в ней того, что я подозреваю, и нет этой любви-добродетели, и я тоже не заключен в любви для себя. Может быть, эти любви являются только образами выражения мужского и женского: мужчине соответствует любовь для себя (любовь-радость), а женщине — жертвенная любовь.

В 1949 году М. М. делает следующую запись, исчерпывающую его интимную и творческую биографию: «Сегодня во время прогулки оглянулся и вдруг застал группу неодетых молодых в зеленой коре высоких деревьев в общении с небом. Сразу я по ним вспомнил деревья в Булонском лесу 47 лет тому назад. Тогда я раздумывал о выходе из положения, создавшегося благодаря моему роману, и тоже так поглядел на раскинувшиеся по горящему небу деревья, и вдруг все движение миров, солнц всяких, звезд сделалось мне понятным, и оттуда я перекинулся в свои запутанные отношения с девушкой, и решение выходило до того логически верное, что его надо было немедленно открыть ей. Я бросился к выходу из леса, нашел почтовую кабинку, купил синюю бумажку, попросил возлюбленную немедленно прийти на свидание, потому что все решено.

Наверно, она понять меня не могла: ничего не вышло из свидания, и я систему своих доказательств, заимствованную у звезд, совершенно забыл.

Было ли это у меня безумие? Нет, оно не было безумием, но *стало*, конечно, безумием, когда не встретило того, во что оно должно было воплотиться.

Совершенно то же произошло со мной десять лет тому назад.

Пришла ко мне женщина, я ей начал раскрывать одну свою мысль. Она не поняла меня, считая за ненормального. Потом вскоре пришла другая женщина, я ей сказал это же самое, и она сразу же меня поняла, и вскоре мы с нею вошли в единомыслие.

Так, наверное, было бы и в том объяснении 47 лет назад: поняла бы — и все! А то после того чуть ли не полвека я думал о себе как о сумасшедшем, стараясь писать так, чтобы меня все поняли, пока я наконец добился своего: пришел друг, понял меня, и я стал таким же хорошим, простым и умным человеком, как большинство людей на земле.

Тут интересно, что действие пола закрывалось душевным состоянием: нужно было, чтоб *там* (в духе) сошлось, чтобы тем самым открылась возможность действия *здесь* (во плоти, в обычных душевных переживаниях).

Итак, если там был Дух и Дева, то все воплощение зависело от Них. Рождалось *там*, а *здесь* лишь выходило.

Не испытавшему это нельзя рассказать — он может только верить».

И, может быть, в этом-то и есть существо монаха: он, как неготовый жених, лично в духе растет еще. Конечно, и я по натуре своей искал в браке таинства, поглощающего меня целиком, отчего и захватила меня на всю жизнь любовь к призраку, с компенсацией видимости семейной. Так мы сохранялись с Лялей как жених (Дух) и невеста (Богородица), и случай нас свел.

Пусть у нас не будет детей, но все равно брак наш навсегда будет таинством, и пусть он был не в церкви, а где-то в Тяжине, через нас Тяжино стадо церковью.

6 ноября. ...С такой-то точки зрения семья в распространенной своей форме есть необходимость переживания какой-то ошибки (греха) в любви, и отсюда культ долга.

Но Ляля открыла мне глаза на возможность какой-то семьеобразовательной любви не на почве «ошибки» (греха) или, может быть, «хромозомы». Она верит в такую любовь так, что знает ее, и показывает примеры другим людям, и утверждает даже, что хороших людей, происходящих от *этой* любви, вообще больше, чем, скажем, «ошибочных», то есть рожденных по закону «хромозомы» (греха). Эта Лялина любовь, конечно, происходит от веры... И вот такая

русская семья (православная или забывшая свои истоки) у нас, русских людей, была и распространялась по народу…

> 1941 г. 12 апреля. «Их поняли как секту гнушения браком, но это неправда: они не гнушались, но шли по пути святости. И если бы она не пала, то умерла бы с ним как святая. И пусть она не выдержала, пала, но если бы он остался в живых, с ней, падшей, стал бы жить как с женой, и этот брак его стал бы как путь, обходящий гору или какое-то иное препятствие, но привел бы его все равно к святости.
>
> С его стороны был просто недосмотр, с ее — уступчивость и пусть падение: она не разбилась в этом падении и, может быть, хромая, но опять бы пошла в гору, как идет теперь со мной и надеется еще попасть со мной в те же горы».
>
> Я не знаю иных, кроме этих, в литературе записей личного подлинного опыта, в котором наконец-то завершается трагедия мировой истории: человек, пережив свое падение, покаяние, весь аскетический труд на пути спасения, вновь возвращается в исходное состояние — в рай, который в Новом Завете именуется уже по-новому — Царство Небесное… Пусть этот опыт длился какие-то мгновения, но он был.
>
> Кроме того, эти записи Пришвина есть разрешение той жизненной трагедии, которую пережила я и которая описана в моей автобиографии.

В 4 часа появилась Л., бесконечно усталая, но довольная тем, что приехала домой и что война наша кончилась.

— Ты, — сказал я, — рада, что домой приехала, разве тут твой дом, а не на Лаврушинском?

— Наш дом, — ответила она, — везде, где мы вместе.

Никогда наша любовь не была на такой высоте ясности, уверенности и полноты. Меня чуть-чуть смущало, что наши чувственные отношения потеряли прежнюю заманчивость, как было неодетой весной. Я спросил об этом, и она мне так ответила:

— А как же иначе? Тогда мы были телом разные, и нас влекло телесное чувство, чтобы слиться в одно, а теперь мы достигли всего, я твоя совершенно, и ты мой.

Л. подсчитала наши расходы и вывела минимум траты помесяч-

но. Тогда я почувствовал, что в этой семейной коммуне я связан и теперь нельзя тратить деньги, как мне захочется. Об этом я сказал Л., и она удивила меня ответом:

— Но так же все порядочные люди живут, не как хочется, а как можно.

От этих слов мне до того стало приятно, то есть оттого, что я тоже буду жить, как все хорошие люди живут, до того мне было это по-хорошему ново!

1) Надо поглубже разобраться в том, почему новый строй моей семейной жизни (коммунальное расходование заработка) является для меня таким большим и радостным событием, как будто раньше я был невольником своей воли.

2) Принципиально автомобиль надо исключить из нашего хозяйства, потому что это прихоть и не отвечает нашим доходам и всему новому строю жизни.

3) У меня талант писать, у Л. талант любить. Наши грехи (сходились с неравными) являются результатом нашей свободы, обеспеченной талантами: мы могли так делать, и мы отвечаем за легкомыслие в отношении ближних.

4) Моя специальная вина, это «будьте как дети» в отношении низших существ, как, например, своих детей. «Будьте как дети» справедливо в отношении высших (старших), но не в отношении низших, и в особенности своих детей. Мне нужна была другая заповедь: «Будь как старший».

5) Mea culpa *: я потому жалок и бессилен теперь в отношении к моей бывшей семье и Аксюше, что всякая их грубость открывает рану моей вины и поражает личность мою, потому что не могу я им объяснить, что виноват в своей же доброте. На их ступени сознания эта доброта моя есть слабость, трусость.

Сегодня отыскался А. В. Выслушав от Удинцева всю историю нашего романа, он сказал: «Надо признать факт совершившимся» и будто бы повеселел.

Сегодня закончена книга «Мой дом» («Лесная капель»). Книга сделана при близкой помощи Л. Закончена в пятницу 26/VII, в день обмена жилплощади с Е. П., т. е. точно в день нашей победы.

---

* Моя вина (*лат.*).

Вчера читал о борьбе с ведением, которое стремится подменить чувство к Целому [38]. Вспомнилось, что эта борьба за простоту с ведением была мною проделана очень добросовестно и этому была посвящена жизнь моя с Павловной. Искусство мое писать явилось именно на переходе от ведения к простоте. Вот почему и теперь, на пути нового сознания, надо мне отнестись к этому по-детски, без всякого умствования, вообще «про себя».

Любовь это не добродетель, а совершенно такой же талант, как всякое художество, и тоже связана, как и искусство, с искушением, обманом. Искусство и любовь — это самый край бездны, на котором бьются между собой Конец и Начало.

Я обладаю талантом в искусстве. Л., несомненно, обладает талантом в любви. Она тоже, как и я, может своим талантом пользоваться и может обратить его к Богу. Но и Бог тоже не обрадуется, если талант возвращается, каким был дан. Между тем, чтобы увеличить дар, надо подвергнуть себя борьбе… Наша любовь с Л. дается нам в оправдание прошлого. В сущности, мой талант писать есть форма любви, и у Л. талант любви есть форма искусства. На борьбу за оправдание прошлого у нее поставлено все на карту, вот чем мы держимся: *все.*

Давно ли это было, она сказала мне, что не любит меня; что если бы она любила, то могла бы бросить свои «долги».

— Я напишу поэму, — ответил я, — и вы бросите свои долги.

— Это может быть, — ответила она.

И не прошло недели после этого, я написал нечто, и она пришла, и я целый вечер не решался написанное ей прочесть, все равно как влюбленный не сразу же решится обнять возлюбленную. И вот я решился, прочитал. И она плакала и говорила мне:

— Ну вот, вот, я плачу, вот и все, — не бросай меня, помни, что я твоя, что я тебе во всем, во всем пригожусь!

Тут вот я узнал, что поэзия — это форма любви.

В ожидании из Москвы Ляли открыл своей благонравной, почтеннейшей теще слова Ляли: «Лучше я буду красивой и умной блудницей, чем добродетельной женой». Теща замерла и, не будучи в силах понять и, не понимая, стать против Ляли, спросила: — М. М., объясните, в чем тут дело? Я объяснил, что у добродетельных жен муж часто заслоняет Идеал, а для блудницы, как Магдалина, путь к Нему совершенно свободен.

Одна из замечательных черт Л., если не самая главная, это что она всегда, везде сознает в себе женщину, осужденную на муки за жажду настоящей любви. В этой жажде она переограбила достаточно колодцев, и все они оказались почерпаемыми до того, что ведро ее не могло погрузиться и забрать для утоления жажды достаточно воды. Сила ее в том, что она сохранила в себе ясное сознание того, что они для нее все исчерпаемы, а она для них неисчерпаема и что она с ними в вечном неравенстве.

Вот так точно я чувствовал себя в поэзии тоже неисчерпаемым родником, и когда оказалось, что моя поэзия есть лишь форма любви и сразу при встрече с Л. превратилась в любовь, притом в единую и единственную, тогда-то Л. и стала моей, то есть решилась реализовать свою всегда ею сознаваемую женщину с неисчерпаемыми дарами.

...Неизвестный стал близким: после этого роль полового влечения сыграна; а дальше?.. Дальше: «Лучше я буду красивой и умной блудницей, чем добродетельной женой».

Но у нас происходит для нее и для меня небывалое: мы переходим не от Эроса к полу, как все, а, наоборот, от пола к Эросу. Может ли это так оставаться навсегда? Не знаю. Знаю одно, что это обязывает меня стать на высоту, на которой — пусть Л. не будет — я и тогда один не останусь.

Perpetuum Mobile *. Наталья Аркадьевна: «Вот ты же нашла человека по себе».

Л.: «Но все равно я не жена, какая я жена? А настоящая жена — возьми Долли [39] или Трубецкую... [40]»

Л. слышала из другой комнаты мой разговор с Н. А., как она мне с горестью говорила о том, что Л. меня теперь любит больше, чем ее.

— Неправда, — сказала Л., — всех, кого я люблю, я люблю по-разному и одно с другим никогда не смешиваю и не сравниваю; разве я больше или меньше люблю А. В., чем М. М.? Не меньше, не больше, а по-разному.

Это очень было мне похоже на то, как сравнивают поэтов, тот больше, тот меньше, между тем как настоящие поэты между собою равны.

---

* Вечный двигатель (*лат.*).

И еще я думал о том, что, пожалуй, Л. и права: она готова всех любить всей любовью. Разница не в ней: разница в них, и каждый из них, не будучи в силах охватить всю ее любовь, пользуется только частью ее, и оспаривает часть другого, и сравнивает свою часть с другою, как сравнивают собственность на жилплощадь, — больше или меньше.

Август. Зову Лялю Балдой за то, что она, как Балда в сказке Пушкина, все делает: и рассказы мои подсочинила, и корректуру правит, и в очередях стоит, и белье стирает, — настоящий Балда. Я же, как поп, ожидаю щелчка.

В 6 час. выехали из Москвы и в 8 час. приехали в Тяжино. Проезжая мимо церкви в Кривцах, вспомнили, как я провожал сюда Л. неодетой весной, и дивились силе влечения, способной вести вместе еще совсем незнакомых людей.

Лева привез велосипед, сидел у нас за обедом, и мы с трудом находили тему для разговора. Узнал, что его дети живут как раз против Е. П., что у Пети 15 августа отпуск и он будет жить с матерью, охотиться. Я почувствовал, что в общем им хорошо и то, чем мы с Л. живем, из-за чего и боремся, им вовсе не нужно.

В лесу собирали грибы. Застала гроза. Теплый дождь. Мы с Л. достигли такой степени сближения, когда «удивление» (от первого глаза) больше уже не открывает друг другу нового, но зато и нет больше тревоги, что из-за чего-нибудь весь союз разлетится и все сближение окажется ошибкой. Мы вступили в тот фазис, когда найденное друг в друге каждому становится необходимостью для существования, входит в привычку, в повседневную потребность.

Ничто во внешней форме каждого, красивое или некрасивое, больше не влияет на отношения. Мало-помалу складывается такое постоянство, как в планетах и их спутниках, способных до конца жизни вращаться друг вокруг друга, не в силу очарования видом, а силою тяготения. Можно, конечно, и без всякого первичного очарования влюбленности, без удивления, а просто так сойтись, чтобы потом уже жить не по любви, а по закону этого тяготения. Но я думаю, что при первичной удивленности друг другом закон тяготения будет служить воле вошедших в союз, тогда как в другом случае он станет привычкой.

На носу у меня, на самом кончике, рос пучок толстых черных волосков. Л. мало-помалу один за другим повыдергивала эти волосики, и с луковицами. Вытаскивая сегодня последний волосок, она говорила:

— Хороший ты человек, очень хороший, только сильно запущен и зарос бурьяном.

Сколько берег живот от глаза как нечто некрасивое, а оказалось — это самое дорогое, потому что у самого ее дорогого человека — отца — был такой же самый живот.

Так поэзия заменяется любимым, милым, и это противопоставляется поэзии как человеческое, настоящее.

Поэзия приманила — заманила, сыграла свою роль — позвала, но сущность не в ней.

Однако поэзия может играть роль сущности при достоянии бесчеловечья.

Л. говорила сегодня, что, как бы она ни поступала, как бы ни делала, хорошо или дурно, внутри ее остается существо, особо думающее... У меня это тоже есть.

Самое замечательное, что я нашел в Л., это ее религиозность, и как раз в той форме, в том тоне и напряженности, какая соответствует моему идеалу. Благодаря этому соответствию я сам признал себя человеком верующим и стал на этот путь.

Вся разница в нас, что я чувствую Бога больше как Творца видимых и невидимых, она же — как Бога-человеколюбца. И замечательно, как соответствует то и другое понимание полу мужскому (творчество) и полу женскому (собственно любовь).

Ощутимость факта жизни сейчас у меня столь велика, что параллельный процесс сознания приглушен и кажется не очень-то нужным: мне очень хорошо! Вот и все.

«Фацелию» направили в «Новый мир». Работаю над «Лесной капелью». Л. со мной работает, и наша дружба растет, и любовь наша, святая, чистая, растет, и создается новое детство и настоящий Дом. Даже поэзия стала на второй план, как «хлеб насущный».

Л. говорит, что «Ручей» — это произведение бессмертное, и пусть, и это все-таки «хлеб».

Зашли к Ивану Воину (всенощная). Думал, что есть нечто неподвижное, как камень, — это наша общая смерть — страдание и разлука наша. И это есть то, на чем создается Церковь. И как это просто! Точно так же просто и беспрерывное движение, рост всех живых существ, всего живого.

Л. впервые увидала близко самолет в Парке культуры и, когда я попросил ее, прошла под крылом огромной машины, но не стала ей удивляться. Что это? Это война «камня» с безудержным, бесчеловечным движением цивилизации. «Камень» и самолет, однако, в отдельности бездейственны, то и другое получает смысл во взаимном проникновении.

Л. обратит внимание на самолет, когда он будет предназначен для строительства дела любви. Тогда она с благоговением посмотрит на него. Теперь же самолет и не должен возбуждать ее удивления.

Еще я думал о дивной этой находке: как мы друг Друга нашли и теперь не перестаем думать друг о друге, хотя все эти дни находимся вместе… Я, подготовленный самой природой, чтобы создать «Песнь Песней», я теперь больше настоящего ничего и написать не могу, как только «Песнь Песней», но это будет истинное чудо, если я ее напишу…

Вся моя поэзия вытекала из утраты в юности невесты, но теперь, когда утраченная нашлась, из каких же родников будет являться поэзия? Я думаю, из благодарности, из жажды славить жизнь и ее возможности: это будет песнь песней, всех песней, бывших на земле до сих пор.

Среди вещей нашлась резиновая куколка, с которой Л. играла девочкой. Куколка была отброшена без внимания.

— Можно ли так обращаться с такими драгоценными вещами?

— Я отравлена жизнью, — сказала Л., — я не могу к детству вернуться.

Это один из мотивов ее бытия.

Л. говорила, что счастливого в любви своей она сделала меня одного.

— А я счастлив, — ответил я, — тем особенно, что ты со мной отдохнешь.

Вечером ходил с Л. в кино смотреть молодежную пьесу «Закон жизни», и я понял, что Л. по юношеской чистоте своего понимания любви есть «комсомолка», то есть базис ее остается таким и на этом основании надстроилось сложнейшее и гениальное здание любви. Отчасти и я тоже такой, мы с ней в этом сошлись.

— Вот увидишь, — сказала она, — нас когда-нибудь поймут и оценят.

Разнос «Моего дома» у Ставского. Пришлось после этого выделить из него «Фацелию». «Фацелия» сдана в «Новый мир» как поэма на 2½ листа, остальное переделывается как дневник «Лесная капель» [41].

Выправляя «Лесную капель», вздумал перечеркнуть один кусочек двумя черточками накрест и двумя параллельными. При этом мне чем-то пахнуло знакомым и бесконечно милым. Так часто бывает, но догадаться — чем пахнуло — так и не успеешь: пахнет чем-то милым из детства — и тут же забудется. Но в этот раз из черточек накрест и двух параллельных сложился мне змей, как я клеил его, бывало, сам из деревянных планочек и листа белой бумаги. Так вот, милый запах сейчас это был мне запах клейстера из пшеничной муки, каким я обыкновенно тогда клеил змея. И было это тому назад больше полстолетия.

Вот как помнится, вот как влияет на жизнь нашу то, что с нами в детстве бывает! И сама «Лесная капель» — разве не есть это все пережитое с детства?

Твердо решено писать «Школу радости» (Канал) всю зиму до весны с лета 1941 года [42].

Люди не умирают, а присоединяются к действующему прошлому, составляют основание, благодаря которому и заметно движение мира... С 16 января (семь месяцев) я прошел большой путь, мне было и мучительно, и сладко. Теперь оглядываюсь: далеко-далеко назади осталось *прошлое* (от слова «прошел»). Смотрю сейчас на себя и вижу в себе язычника и только теперь понимаю, что это чувство цельного мира и радость от этого есть чисто языческое чувство.

Евгения Ник. Карасева рассказала нам, что муж ее Вас. Серг. [43] догадывался о том, что я несчастлив, но что я умею виду не показывать, и за то он меня уважал (кажется, это был единственный понимавший меня человек). Сила же моя была в том, что я свое горе скрывал сам от себя.

Сколько было друзей, сколько времени было у них всмотреться в мою жизнь, и вот до чего невнимательны люди! За 35 лет один Василий Сергеевич Карасев понял, что я играю только в счастливого человека. Последняя игра моя была «Домик в Загорске» [44]. Ревность помешала даже и Ляле понять мою горькую игру…

И вот самообман: конечно, временами я и сам верил, что у меня хорошо, и, во всяком случае, не хуже, чем у людей. Это лишало меня зрения на человеческое счастье и отводило глаза на природу, где я находил соответствие тому, чего был лишен. Но тогда почему бы и это отношение к природе — не самообман?

И сама поэзия?

И что же есть не самообман? Л. — не самообман.

Новые лица. С нами Марья Васильевна [45], заместительница Аксюши.

От неопределенного страха молятся Михаилу Архангелу; чтобы вещь нашлась потерянная или человек пришел из разлучения — Ивану Воину; от избавления от уныния — Пресвятую Богородицу просят. Это все знает Марья Васильевна и ничего не боится на свете.

Узнав о пропаже фотоаппарата, она помолилась Ивану Воину, и я сейчас же нашел фотоаппарат в секретере, где хранился запасной чай. Итак, на всякий жизненный случай у М. В. есть свой святой; прямо к Богу она не всегда смеет обращаться, но у святого попросить всегда можно.

…Не ошибиться бы Л., бедной, как ошиблась она в Аксюше!

…Там, где всякий человек ограничивается и является как бы замурованным в иную матерьяльную среду, от которой нельзя спрашивать ничего человеческого, у Л. вовсе нет никакого ограничения. Без всякого эгоистического налета в человеческой сущности она как бы разреживается и расходится постепенно «на нет»…

Как человека обычного я ее знаю только в ее ревности, да еще во второй половине ночи, когда разоспится. Еще она бывает челове-

ком, когда ссорится с матерью. Но даже и эти мелочи надо принять с оговоркой, что все это происходит где-то на поверхности.

Единственная женщина, с которой я могу сравнить Л., это Маша (Марья Моревна моего детства).

Больную Л. привел в лес, расстелил зипун, усадил ее и рассказал наконец содержание «Падуна» [46]. Так я, создав из материалов «Падуна» «Неодетую весну», завоевав Л., вернулся к своей теме. Буду Л. посвящать ежедневно в свою работу, и вот увидим, возможно ли при наличии любви ее соавторство. Верю, очень верю, что так будет.

Так, беседуя о «Падуне», мы уговорились о том, что искусство есть форма любви и в любви человеку можно и нужно трудиться, что любви человеческой не бывает без труда и страдания. Но форма любви — искусство зависит исключительно от таланта (Дух веет, где хочет). Вот отчего истинное творчество сопровождается чувством свободы и радости.

Л. внезапно выздоровела, и тем открылось, что болезнь ее от переутомления в городе: то зарывается в работе, то ленится. Это я знаю: такая работа с перекатами происходит от лени. Но, как бы там ни было, Л. работать может во всех отношениях, и я напрасно боялся.

В этот приезд Л. показала, как она может обойтись без прислуги. Я понял происхождение ее комически приказательного тона в отношении нас: это происходит из того, что она больше всех делает и как-то чисто по-матерински печется о своих. Понял еще я, что Л. богата душой, что полюбить ее и уйти от нее никому невозможно.

Глава 19

Личное и общее

Всякий закон вплоть до законов природы есть сила зла, потому что в *существе* мира никаких законов нет. Всякий закон при свете родственного внимания исчезает, и на место его появляются скрытые им личности, творящие незаконно-священную жизнь.

Итак, друзья мои, есть жизнь вне законов, и о ней мы будем говорить.

Бог есть Существо лицеродящее и противузаконное.

Вспоминаю весь героический путь Л. при достижении своей любви — все теперь кажется как путь восхождения на гору. Однако любовь к матери и к А. В. — тоже любовь, но только издали: жизнь вместе с «любимыми» — томление, унижение, скука. Так что повседневная близость — вот корректив любви Напротив, в любви по влечению язвы исчезают незаметно для любящего: когда любишь, то все хорошо в любимом. Когда же любишь только издали, то язвы вблизи преодолеваются особым самовоспитанием.

Разрешение проблемы любви состоит в том, чтобы любовь-добродетель поставить на корень любви по влечению и признать эту последнюю настоящей, святой любовью.

Так что корень любви — есть любовь естественная (по влечению), а дальше нарастают листики, получающие для всего растения питание от Света. Это и есть целостность (целомудрие). Источник же греха — разделение на плоть и дух.

Значит, существо целомудрия может сохраняться, укрепляться просто в браке и переходить на детей. Может быть, в том и есть путь спасения: в охране и воспитании целомудрия. Возможно, и желанную сущность христианского творчества следует понимать как человеческую деятельность, направленную к восстановлению целомудрия и связанной с ним красоты.

Не всякая сущность поддается своему выражению в слове, есть сущности, о которых другому нельзя словами дать понятие, если он не имел лично в этой сущности опыта. В этом случае слово говорит не о понятии, а служит лишь обозначением известного переживания. К таким словам относится «смиренномудрие». А есть, напротив, слова, несущие в себе понятия ложные. К таким ложным понятиям принадлежит «целомудрие». Огромное большинство людей под этим словом понимают девственность. Но на самом деле целомудренное существо не обязательно является девственным. Целомудрие есть сознание необходимости всякую мысль свою, всякое чувство, всякий поступок согласовывать со всей цельностью своего личного существа, отнесенного к Общему — ко Всемучеловеку.

Машина не пришла, и ничего [47]: так — хорошо, и нет — не заплачу. Да, вот и устанавливается в себе ко всему так, кроме Л.: этого одного нельзя лишиться, остальное все — пусть! И вот тут острие

борьбы, кончик иглы, направленный в сердце... Все игрушки отошли, и все внимание на кончике иглы.

Я сказал:

— Я, конечно, предпочел бы, чтобы ты разлюбила меня, а не я тебя.

— Почему так?

— Потому что, если ты меня разлюбишь, я найду в себе замену любви, а если я, тогда я вышел из строя, я кончился.

И я говорил правду, потому что неизбежная минута сомнений в отношении себя была мне тяжелее, чем в отношении ее.

Думали вместе, да, мы теперь много думаем вместе. Мы думали вместе о таланте как характере самовыражения. В этом смысле я как художник слова мало чем отличаюсь от М. В., нашей домработницы. Молясь, М. В. создает свою личность в доброте, точно так же как и я, конечно же, я не книгу создаю, не славу, а себя самого выражаю, мне самому в творчестве только это и дорого, чтобы выразить себя самого, создать через книгу, через дело, через творчество свою личность.

Итак, ссылка на талант как на преимущество перед всеми неверна и лжива на поверке: талант, в смысле характера нравственного самовыражения, находится в распоряжении каждого нормального человека.

Мы думали вместе о том пути вдохновения, по которому проходили порознь. Теперь эти пути пересеклись, и мы вместе пошли. Но этот путь вместе не похож на тот путь вдохновения; это путь труда человеческого, это путь, на котором ты вечно думаешь о другом, а не только о себе самом...

Как на море в тишину было на душе этой женщины, в ней было все: и небо, и берег, и цвета, и глубина. Не было одного того, от чего начинается движение. На море появляется ветер, вода приходит в движение и тогда силою своею действует. Для этой женщины то же самое нужно было какое-то мысленное начало со стороны, чтобы мысль всего ее существа, мысль, большая как море, приходила в движение. Мне кажется, про себя она даже не могла вовсе думать, ей нужен был кто-то, ей нужен был его вопрос.

Запись из дневника 1944 года: «В ней ничего и тайный вопрос: „Ты с чем пришел?“ Так рождаются боги, то есть личности, то есть то, чего нет в природе... Этот некий плюс, это усилие, это сверхусилие темпа, борьба со временем, и прочее, и прочее: *то, чего нет.*

...Ее „нет“ рождает Личность, преодолевающую „нет“. Именно это женское „нет“ — начало всякому человеческому делу».

По пути в Москву (дума в окошко). Каждое утро собираюсь на охоту и не могу оторваться от Л. Вспомнилось, что вот самое время охоты, и с 30-ти лет не было ни одной осени и осенями этими почти не было ни одного дня без охоты, а теперь вот совсем не охочусь. А Л. даже и вообразить себе не может, чего я лишился! Ведь моя жизнь была организована как непрерывная охота. В эту жизнь как нечто подсобное входила и моя семья. Эта моя охотничья жизнь была построена по форме своей строго эгоистически: я со своей затеей, как enfant terrible *, стоял на вершине пирамиды и все было для меня. В такой бедно-эгоистической форме было большое, богатое содержание, почти целиком уходившее не на меня, а на всех. Семья видела только форму жизни моей, а когда содержание мое вышло из формы, то все мои «любящие» бросились на ненужную мне больше форму, совсем даже не обращая внимания на меня самого.

Особенно странно было, когда они справляли именины мои без меня, и тоже вот отбили у меня машину, и ездили на охоту, в то время как я сам не мог и смотреть на ружье.

Так, может быть, и в космосе была какая-то форма: она разбилась когда-то, и обломки, как бледные спутники, освещаемые горящим живым светилом, вращаются вокруг нее. Может быть, оттого иным так неприятно бывает смотреть ночью на восходящую луну...

Смотрю на бедных этих людей, по-своему как-то любивших меня, и чувствую свою вину и, одновременно, не-вину, потому что мне надо было выйти из пережитой формы, и если бы я не вышел из нее, погубил бы все свое содержание. Моя форма стала их содержанием (эгоизм), а содержание моей формы им было недоступно, они ее не поняли и упустили.

И вот почему борьба за меня стала у них борьбой за имущество.

---

* трудный ребенок (*фр.*).

Вчера в постели, перед тем как заснуть, я внезапно понял всю жизнь со времени возвращения из Германии и до встречи с Л. как кокетливую игру в уединенного гения, как одну из форм эстетического демонизма.

Странническое блуждание по неустроенной стране в костюме охотника с дикаркой и детьми, вызов мещанскому обществу и т. д. — все до точности происходит от ницшеанского *сверхчеловека в русском издании*. Вот в таком жизненном оформлении развился талант вовсе другого нравственного происхождения, чем эта форма охотника и ницшеанца.

Эта точка зрения на себя, открывшаяся благодаря *выходу* из этой формы, вместе с тем открывает перспективу и на жизнь Олега и Ляли. Индивидуалистический эстетизм в этом случае принял не брачную форму, как у меня, а, напротив, форму аскетического целомудрия (гнушение браком). В результате этой формы индивидуализма целомудренного явилась жертвой Л., в результате моего брачного индивидуализма — эгоизма — моя несчастная семья.

Мой рассказ «Художник» является одинаково приложимым выходом из индивидуалистического эстетизма как ко мне, так и к Олегу. Этот рассказ содержит весь поворот от эгоистической самоудовлетворенности к общественно-брачному состоянию. К тому же самому пришел бы непременно и Олег.

Будет, я думаю, время, когда мы с Л. вместе к природе придем.

> Запись через восемь лет: «На охоте. Было время, когда страстное чувство к ней удаляло от меня природу. Где-то записано даже, что мысли о Л. в лесу закрывали мне следы зверушек на снегу. Теперь мне возвратились следы, и Л. пришла ко мне ясная, чистая.
>
> ...Не понимал я ее, а только предчувствовал. И это предчувствие она ценила во мне и только за это отдавала все: и ум, и сердце».

Опять мысль по пути из Москвы в Тяжино. Эта мысль была о процессе создания «единственной». Так вот, Л. мне представляется единственной, что на свете другой подобной быть не может. Но сегодня на почте я видел одну барышню с глазами, похожими на Лялины глаза, и мне подумалось: а может быть, это я создаю Лялю как единственную в мире женщину, на самом же деле такие «Ляли» встречаются? Может быть, и все так, кто любят, порождают из себя те прелести, которые я приписываю одной Л.? Может быть, эта лю-

бовь ее кажется такой исключительной только потому, что я никакой любви не испытывал и мне «все благо»?

Понимаю, что так, но вместе с тем и утверждаю, что на земле у людей существует великая любовь, единая и беспредельная. И в этом мире любви, предназначенной человеку для питания души в той же мере, как воздух для крови, я нахожу единственную, которая соответствует моему собственному единству, и только через это соответствие, единство с той и с другой стороны вхожу я в море всеобщей любви человеческой.

Вот почему даже самые примитивные люди, начиная свою короткую любовь, непременно чувствуют, что не им одним, а всем хорошо на земле жить, и если даже очевидно, что хорошая жизнь не выходит, то все-таки возможно человеку и должно быть счастливым. Итак, только через любовь можно найти самого себя как личность, и только личностью можно войти в мир любви человеческой: любви-добродетели.

Иначе: только путем личной любви можно приобщиться к всечеловеческой любви.

К обеду мы вернулись из Москвы в Тяжино и успели застать последнее движение на мордочке Диноры. Собачка прожила с нами всего четыре дня, была прекрасна и осталась мечтой. Дочь ее мы назвали Норой.

Сентябрь. Только те мысли действительно настоящие, новорожденно-свои, а не повторение сказанного, которые рождаются, как и дети, от любви на пути сближения плоти и духа.

Кто обманывается в ком-нибудь, тот и другого обманывает. Значит, нельзя, обманывать, но нельзя и обманываться. Какое свидетельство в том, что я имею дело с гением, а не преступником? То и другое по существу подобно. О первом мне свидетельствует возникающая в сердце моем любовь. И я думаю, что преступное и гениальное разделяется только перед судом любви.

Записи последующих лет: «Настоящая любовь всегда „преступна“, настоящее искусство действует как мина, взрывающая обстановку привычных положений».

«Маленького преступника судят за то, что он переступил через

черту закона, ограждающего право другого человека, имея в виду свой личный интерес. Если же преступник не для себя перешел черту, а чтобы создать новый, лучший закон, отменяющий старый, и победил, то победителя не судят: победитель несет новый закон. Маленький человек старого закона или несправедливо погибает при этой победе (Евгений из „Медного Всадника“), или, широко открыв глаза (апостол Павел), прозревает будущее и становится на сторону Победителя».

«Думал, что и у женщин-растратчиц, блудниц всякого рода есть свое высшее назначение вывести мужа из его ограничения, из его деловой колеи. Надо об этом крепко подумать, — что даже и у блудниц!

И как же счастлив я, что меня вывела из моей упряжки на волю не блудница, а почти святая. ...И еще надо подумать об этом как о русском мотиве романа».

Ляля приехала из Москвы и рассказывала, как кромсали мою будущую «Фацелию», имея в виду нравственный уровень современного читателя. Не доволен я ею — не сумела отстоять.

У Л. нет малейшего интереса к жизненной игре. Пробовал совершенствовать ее в писании дневника — не принимает; фотографировать — нет; ездить на велосипеде научилась, но бесстрастно; автомобиль ненавидит; сидит над рукописями только ради меня; политикой вовсе не интересуется. Единственный талант у нее — это любовь. Тут она всегда в готовности, на любовь у нее истрачено все, даже детство. Об этом еще надо подумать, но, мне кажется, ее нужно понуждать к жизненным интересам. А то ведь единственное, чем пользуется она для себя вполне, — это сон от полуночи до восьми утра. Тут она живет для себя, — во всем остальном она переделана на любовь, и самая любовь для себя у нее принимается временно, как задача переделать этот материал личной жизни для Общего.

Мне чуть-чуть трудновато идти за ней, мне самому нужно очень любить, чтобы не отставать от нее.

Запись через четыре года: «Полное отвращение ко всякой дипломатии и политике сделало ее жизнь до того неустойчивой, что в

ее представлении вся земная жизнь, лежащая во зле, стала как сон, а истинной стала жизнь небесная.

Мы с ней соединились, как два царства».

Вчера проводили ее мать и переехали в ту избу, где у нас прошли хрустальные дни нашей любви. Расставаясь с тещей, понял ее, бедную, на трудном пути за дочкой и пожалел. Мне кажется, я и Лялину любовь к ней теперь понимаю в истоках, похожих на каменистые истоки горных ручьев: камни — это нарушения. Л. идет путем нарушений, и каждый срыв оставляет в ней боль и заставляет поправлять нарушения, и это вечное стремление выправить нарушения создает ее любовь к матери.

Трогательно усилие старой женщины понять всю сложную сеть поступков дочери как путь к добру и правде.

Перед нашей встречей Л. встала было на путь возвращения к мужу, понимая это возвращение как отречение от личной жизни. Возможно, такое отречение не помешало бы ей родить не для себя, а для мужа. Случись, умри тут ее мать, она в таком отречении нашла бы себе полную утрату-замену. Еще бы пять лет — и в морщинах стареющей женщины трудно было бы узнать мятежную Л., — она стала бы как все порядочные женщины, и муж ее был бы счастлив. Но встретился я, личная жизнь восстала со всей своей силой, множество нераскрытых дарований нашло себе применение, и путь определился совсем по-иному.

Сегодня Л. проговорилась, сказав:

— Если только есть тот свет.

— Неужели и ты сомневаешься?

— А как же, разве я не человек? Только если приходят сомнения, — не будь того света, я бы не жила; тогда все было бы бессмысленно и я бы с собой покончила.

— Неужели тебе довольно такого рассуждения?

— Нет, я еще люблю Бога.

И такая вся вера: ни окончательное «да», ни окончательное «нет», а «верую, помоги моему неверию».

Настоящая вера включает в себя и неверие, то есть настоящая вера есть процесс борьбы с неверием, и, не будь неверия, не было бы и веры. Неверие как тень веры: не будь тени, не было бы и жизни.

— Почему ты сегодня со мной так нежен?

— А я сегодня перебрал в уме наше пережитое и очень много нашел в себе хорошего от тебя, как будто со времени нашей встречи я черпаю из колодца живую воду и все богатею и богатею изо дня в день.

Учился ездить на машине по Москве. Начали с Л. пятую главу «Былины» (будущей «Осударевой дороги»).

Л. уехала править верстку к Ставскому.

У Л. прострел, болит поясница, ночью надо быть с ней осторожным. Я с любовью оглаживаю ее спящую, и она это учуяла, но не отвечала, потому что ей было не до того. Когда же мне попалась кисть руки и я руку погладил, то она сквозь сон мне ответила:

— Милый ты мой!

Так не раз я замечал, что прикосновение к руке бывает прикосновением к душе и, когда телу не до того, через руку происходит соприкосновение душ.

Она чуть-чуть нездорова, и этого довольно уже, чтобы я почувствовал прилив особой нежности. Ее душа высвечивает так сильно из тела…

Убил дупеля и коростеля. Вечером пошли гулять, набрали грибов на жареное. За ужином Л. первый раз в жизни поела грибов (по-настоящему приготовленных) и пришла в восхищение. Так она все лето сушила белые грибы и не ела их, даже не пробовала: сушила впрок, хотя зимой они будут везде продаваться. Думала о будущем, о настоящем же, чтобы взять и поесть, — ей и в голову не приходило. Настоящее она сушила для будущего и так всю жизнь свою провела! Сердце сжимается от боли, как об этом подумаешь…

Так много белых грибов в это лето, что, пожалуй, сушеных в государстве года на два хватит. Но кто своего белого гриба за лето не попробовал, тому зимой не понять, как они вкусны.

За обедом я сказал М. В., что если мне придется в рай идти, то без встречи со своими собаками я в рай не пойду. На это М. В. деликатно сказала: «Рай такой прекрасный, М. М., что вы и о собаках забудете!» На это Л. возразила, что на древних иконах разъяснено: вся тварь воскреснет, в том числе, конечно, и собаки.

Только в семь вечера мы собрались в Москву. По пути стало невыносимо, мы сели в копну сжатой ржи и объяснились. Зародыш этих объяснений был еще в самые наши первые встречи, когда, бывало, надумаешь о ней *со стороны*; но вот она появляется сама, и все это выдуманное исчезает, как туман при появлении солнца. Этот мотив проходит через весь наш роман.

Я прочел Л. одну свою запись на ходу, которая мне показалась остроумной, а Л. мне в ответ:

— Ребеночек, да ты же глупенький, что же тут остроумного? — и объяснила мне, и я понял, что действительно это не очень умно.

— Но ты не думай, Ляля, что и вправду я такой глупенький.

— Почему? — наивно спросила Л.

— Да потому, — ответил я ей, — что не тот глупый, кто пишет глупые мысли, а тот, кто за них держится.

Пробовал думать о Загорске с тем, чтобы все разобрать, понять и, может быть, простить. Разбирал, но не отходило то неприятное, отнявшее сегодня у меня возможность думать согласно с сердцем. А мысль, оторванная от сердца, скорее всего, и является основным злом человечества.

Правда, не эта ли оторванная от сердца мысль создала материальное неравенство и орудия самоуничтожения? Не этой ли попыткой согласовать мысль свою с жизнью сердца я и создал себе свое писательство? Итак, значит, в тайниках души своей люди ждут такого согласия, если даже при моих слабых силах попытки мои обратили на себя внимание общества!

Вчера исполнилось 17 лет, как они встретились с Олегом. Л. поехала на место их встречи, вернулась поздно, промокла, замерзла, но встреча наша была особенно радостной...

«Я ждала силу, которая покорит меня и освободит меня от вечного страха за все живое и от жалости. И вот я покорена: я люблю только тебя, но чувство жалости за тебя, страх, связанный с мыслью о твоей беззащитности, испытываю как никогда».

Так вот проходит любовь свое полукружие от героя к ребенку и начинает свое второе полукружие: каждая мать надеется, что ее ребенок станет героем. (Написано в машине в ожидании Л. из ателье мод.)

На ночь мы опять читали Лествичника [48], и опять я наблюдал во время чтения оживление Л., захватывающее все ее существо — и душу, и тело: она от восторга трепетала, щеки горели, глаза сияли. Этот духовный подъем, казалось, стирал в ней границу духовного и чувственного... И тут я внезапно вспомнил наш недавний «расстрел», когда Л. была точно такой, и святой восторг примирения под утро, и с ним — чувственный и тоже святой порыв, в котором не было никакого услаждения.

И я увидал, как человек может прийти при условии самозабвения к своей простой сущности — прийти и с той и с другой стороны: снизу — это пол, сверху — потолок (или небо!).

Смиренномудрием называется такое душевное состояние, которое не может быть выражено словом.

Современная сказка (например, Андерсен) всходит на дрожжах символизма и происходит, вероятно, от дуализма, в котором материя является образом духа или, наоборот, дух — образом материи. Я же хочу, чтобы современная сказка исходила из монизма, то есть дух и материя одно и разделения между тем и другим нет, как нет разделения между «этим» миром и «тем».

Все своеобразие моих рассказов-сказок состоит именно в яркой демонстрации этого единства духа и материи и тем самым протеста против символизма и дуализма. Андерсен для меня наиболее неприятен.

Лучше всего мне пишется на том месте, где мой чай. За чаем я никогда не сочиняю, а пишу дневник в полном равенстве себя самого с тем, что записываю: пишу прямо вслед за собой.

Вчера вечером все-таки совершилось для меня большое событие: я переменил свою политическую ориентацию. Раньше я думал, что мы постепенно эволюционируем под германский фашизм, они же примирятся с фактом коммунизма. Теперь я подумываю, что Германия, может быть, в процессе своего поражения сама станет коммунистической и вместе с нами станет против Англии—Америки.

Так, наверно, и случится, если между Англией и Германией не будет заключен мир за счет нас, но не в том дело; главное дело в моем сознании, что вполне достоверна лишь та сущность жизни, которая пришла ко мне через любовь. В отношении к этой сущности мировая война представляется чем-то вроде игры в шахматы. Все мое отношение с почтением к этой умственной и увлекательной

игре, но человек, не играющий в шахматы, во всякое время может улыбнуться этому совершенно пустому занятию. Мало того, может прийти еще новый человек, расшвырять шахматы, и от этого никому никакого убытку не будет. Точно такое отношение к войне, как к шахматам, должно быть у человека, занятого подлинной жизнью.

Я пересказал недавно эти мои мысли простыми словами нашему дачному хозяину. Он в это время трудился над осенней перекопкой своего сада.

— Кто же может расшвырять шашки войны? — закончил я вопросом, не ожидая, по совести говоря, от хозяина никакого ответа, но тот бросил копать, медленно расправил затекшую спину и так ответил мне:

— Кто может? только Бог. А человеку, имеющему веру в Бога, надо больше верить, больше просить Его о милости.

Так ориентируется в современности наш дачный хозяин.

Чувство современности: про себя ведь каждый как-то ориентируется в мировых событиях. Итак, 1-я сторона — это англо-американский капитализм («все куплю»); 2-я сторона — это англо-германско-итальянский национализм («все возьму»); 3-я — плановое социалистическое хозяйство.

Схема к будущему роману:

Капитализм: частная инициатива, включающая экспансию, индивидуализм и духовный космополитизм.

Национализм: индивидуум как представитель народа (народная инициатива).

Социализм: индивидуум как представитель Всего-человека.

Итак, будущий мир должен быть умирен правильным сочетанием элементов человеческого творчества: 1) личности, 2) народности, 3) общечеловечности хозяйственного плана.

Каждая из борющихся ныне трех сторон борется за то, что необходимо для всех трех и чего две другие стороны не принимают. Так, если бы сошлись три человека: экономист, моралист и художник — и каждый стал бы насильно навязывать друг другу свое, исключающее все другое, то и получилась бы картина современной войны.

Бессмертен ли Кащей? Живешь, и раскрывается все глубже и глубже непоправимая испорченность человека, выражение кото-

рой — бомбы над городами и весями: «грех» — это теперь реальность, а «революция» как иллюзия. Вместе с тем встает в памяти прежняя торговля, — какой это был клапан, отводящий нечистоты, превращающий всякую мерзость в удобрение. В этом свете торговля, а может быть, и весь капитал создавал некоторое равновесие.

Теперь у нас люди торговли и капитала стали политиками, литераторами и всякого рода «начальниками». Но Кащей действительно бессмертен, и нам надо считаться с этим бессмертием или же действовать так, чтобы Кащея убить.

Кто не верит в это, что Кащея можно убить, тот стоит за Англию, кто верит — стоит за Германию и за СССР.

Во всем мире наступает эпоха последнего изживания идей революции и восстановления идеи государственности. Идеи революции, как паразитирующее растение лианы, опутали когда-то здоровый конституционный индивидуализм, и так создалась демократия. Вот теперь и это рушится. Начинается всемирная реакция под началом Германии.

Оглянулся вокруг себя и увидел, что за последние три года выросли мосты, везде асфальт и порядок движения. А между тем тогда никому из нас не было никакого дела до этого будущего. Каждый занимался собой и думал о себе, вплоть до самих строителей. Никто тогда лично не заботился о будущем, как, например, даже собака заботится, зарывая остаток пищи. Тогда не заботились и теперь по «неозабоченному» идем без чувства удовлетворения. В этом и есть вся суть современного переворота.

Раньше капиталисты, как собаки, заботясь о будущем, личносвоем, создавали избытки для общества. На этом основан весь капитал: создавать будущее под предлогом и обманом личного дела.

Теперь забота о будущем стала специальностью на 1000 руб. месячного жалованья, и сами эти специалисты будущего (плановики) тоже лично в нем не заинтересованы: капиталист создавал для себя, этот же плановик создает будущее как специалист, по чужому велению и не для себя.

Так исчезает у каждого надежда на личный выход из необходимости, так рождается чиновничий демократизм, эгоизм, измельчание душ.

Последний нажим «Надо» будущего на «Хочется» настоящего (то есть на личность) выразился в обуздании молодежи, художников, тех, у кого еще остается надежда через личное «Хочется» выйти из необходимости государственного «Надо».

И замечательно, что сами профессора, художники, вся высшая интеллигенция, страдая лично от принуждения, не могут отказаться от справедливости всех принудительных мер в отношении рабочих и пр. «Ничего не поделаешь» — в отношении государственного «Надо» и «Хоть денечек, да мой» в отношении себя.

Так все и совершается в мире наивных существ, определяющих свое бытие на иллюзии своего личного «Я», своего земного короткого «Хочется».

Но существует Личность человека, независимая от человека, и жизнь, не определяемая физической конечностью. Многие подозревают существование такой Личности и в беде своей косятся в ту сторону.

Мой «Аврал» [49] надо представить как нечеловеческий синтез раздробленного человека, в котором каждый отдельный прозревает свое Целое. «Аврал» у меня будет как высшая ступень творчества жизни, как Страшный Суд, на котором сгорает вся иллюзорность и ограниченность индивидуальности и остается последняя реальность Сущего, и эту сущность мы назовем в романе Коммунизмом!

Произведение мое даст путь единства, путь индивидуальности к Личности, путь раздробленного человека к Цельному.

Начинаю понимать истоки моего пристрастия к современности: это стремление к установлению своей личности в безликом ходе событий. Так было, и еще когда! — в эпоху войн святой Франциск с «Цветочками» [50] был современней драчунов.

Нет, ни в цивилизации, ни в Церкви, ни в искусстве и ни в науке и ни в чем и нигде не видно ясных путей для освобождения пленников цивилизации. И все, что мы можем сделать, это готовиться к принятию нового чего-то. Чего? Мы должны свою душу очистить для восприятия, чтобы живыми быть и современными, не остаться как вот та старая барыня под единственной и чужой липой и с ненужными французскими словами в русском языке.

В Англии государство принимает во внимание личность, ограничиваемую возможностями современности. От этого, конечно, удобнее жить в Англии, но теперь вопрос идет не об удобстве, а о самом составе личности, о явлении пророков, вещающих сквозь радио и гул самолетов. Я больше верю в появление таких личностей там, где личность целиком поглощена, а не на 95% плюс 5% свободы. Цельность — есть условие появления личности.

До нового брака я был хозяином и собственником. У меня просили денег. Я покупал по усмотрению своему вещи. И Лева говорил даже, что я «прижимистый». Но, когда я сошелся с Л., вдруг оказалось, что личного у меня, кроме способности писать, ничего нет и все у нас в семье общее. Никто меня к этому не принуждал, все вышло само собой из любви, и от этого мне стало много лучше во всех отношениях.

Вот это и надо для общества: чтобы создать коммуну — нужна любовь.

Если бы такую любовь, какую дарит мне Л., можно было бы на деньги прикинуть, то денег бы на земле не хватило, и если бы назначить состязание и погибель того или другого, то деньгам пришел бы конец. Но ведь Л.-то не одна на земле! Сколько же тогда скрыто от денежных людей богатств на земле, и сколько возможностей будет открыто для людей, когда они станут ценить все отношения между собой и все вещи не на деньги, а на любовь.

Поднялся спор об охоте с трех точек зрения: 1) мать осуждала убийство на охоте, а есть убитую дичь разрешала; 2) я стоял за охоту: убить можно; 3) Л. такое загнула, что раз убивают — можно убивать, раз едят — можно есть, — отдельное выступление против убийства или против потребления ничего не значит.

— А кто же начнет к лучшему жизнь изменять? — спросил я, — все убивают, все едят…

— Никто, — ответила Л., — это неизменяемое! Что же касается того, убивать или не убивать, есть или не есть, — это дело личного вкуса и не может иметь ни малейшего значения.

— А личность?

— Личность отвечает лишь перед Богом, и если человек тверд и

«ответ» его перед совестью не лукавый, то он может повлиять и на всех, и тогда, может быть, люди не будут убивать и не будут есть убитое.

Что это, шутка у нее или всерьез? — сказать трудно. Она всегда как будто шутит, и в то же время... Иные ответы ее в вопросе отношения личности к обществу кажутся на первый взгляд даже циничными в смысле равнодушия к жизни общества; но стоит ввести кроме личности и общества третье понятие — Бог, как вся ее «пассивность» исчезает, тогда оказывается, что отношения личности к обществу должны быть просто любовными, что капитал и война не изменяемы теми же средствами, то есть войной, и, напротив, изменяющая сущность человеческих отношений есть любовь.

Не делаю ли я ошибку, заменяя текущее время жизни работой над «Былиной»? Быть может, вслед за находкой надо было бы и писать об этом? А то не вышло бы потом так, что и вовсе не захочется «зерцало в гадании», если станешь «лицом к лицу»?

Сейчас у нас устанавливается во всех отношениях такое равновесие, что забота остается лишь о том, как бы оно чем-нибудь не нарушилось... В беспредельно широкой этой душе я утонул, как в море, и пусть там где-то на берегу люди оплакивают меня как погибшего — сетования их для меня непонятны и чужды.

Сегодня предельный срок нашего ожидания. Чувствую по особенным небывалым приступам нежности ее, что ребенку нашему быть. Неразумно, бессмысленно и жестоко с моей стороны, но если бы я тогда воздержался, то не было бы и любви...

Ночной разговор.

— Что мне делать с собой, если ты умрешь, я не знаю. Очень странно об этом думать.

— А если я умру, ты что — бросишь писать?

— Не знаю, мысль моя исходит из любви к тебе, через тебя: если ты исчезнешь, то, может быть, самое желание быть исчезнет.

— И тогда?

— Тогда, вероятно, я тоже умру.

Поэзия и любовь — это явление таланта; ни поэзию, ни любовь нельзя делать собственностью. Непременно у человека, создавшего себе в поэзии и любви фетиш, является драма, которая была в любви

у Хозе (Кармен), в поэзии у Блока (Прекрасная Дама). Словом, талант — это путь, но не сущность. Подмена ее фетишем порождает собственность, а собственность всегда разрешается драмой. В этом случае и на смерть можно так посмотреть.

> В дневнике 1941 года он запишет: «Мудрость жизни состоит в том, чтобы приучить себя к мысли о необходимости расстаться со всем, чем обладаешь, и даже с собственной жизнью. Все, чего страстно хочется, то вечно, а что собственное, то смертно».

Снова в Тяжине. Солнечный день. На земле много разноцветных листьев, но деревья все зеленые. Ходили за грибами и набрали белых. Вечером взошла полная луна. Перед сном были у березки, Я думал о том, что пусть сейчас в движении нашем скорость еще невелика — этим смущаться не надо: мы остановиться не можем — это раз, второе, что, рано ли, поздно ли, наш ручей прибежит в океан.

...Я просил еще укрепления своей связи со всем Целым умершего прошедшего люда, просил в настоящем тех встреч, в которых по человеку встречаются со Всемчеловеком. Еще просил о свете на том темном пути, когда люди прощаются с жизнью, чтобы страшный для всех конец мне преобразился в радость. Я молился, как молятся настоящие христиане, и знал, что все это пришло ко мне через Л., и не страшился. Пусть через Л., но она ведь со мной! А если бы ушла, то душа ее со мной навсегда.

Вечером были в клубе, слушали доклад «Международное положение», и понял перемену ориентации от «благополучия» к «судьбе».

Только у робкого или мужественного человека судьба сказывается по-разному. У деятельного человека судьба побуждает к деятельности, а у робкого — судьба в утешение, у ленивого — в оправдание.

Вот было, в кухне завизжала собачка, а я лежал еще в постели.

— Что же делается с собакой, — сказал я, — надо посмотреть, не защемило ли ее, не умерла бы от чего?

— Не ходи, милый, — сказала Л. (ей очень не хотелось вылезать из теплой постели), — ну, умрет, — значит, судьба...

Мне тоже не хотелось, но, услыхав такую «судьбу», я вскочил и побежал скорее, вопреки той «судьбе», скорее, скорей собачку спасать! И я ее спас, и моя живая судьба победила «судьбу» моего ленивого друга.

Октябрь. Птицын спросил Л.:

— Знает ли М. М., с кем он имеет дело, какая вы?

Мне уже давно кажется, будто я не совсем ее знаю, а только *узнаю*. Вчера я спросил Птицына:

— За что вы любите В. Д.?

— За ее чисто мужской ум, — ответил он и в свою очередь спросил меня, за что я ее люблю?

— За чистую женственность, — ответил я. Мы оба были правы: она одинаково могла бы быть и профессором, и духовной воспитательницей. Но ум ее был не занят, и сердце не находило ответа.

Так бывает, и, наверно, в древности от женщин в таких состояниях рождались пророки. А когда ум у женщины определился в университет, то стал ограниченным умом определенного факультета; отсюда пророков нечего ждать!

Надо помнить на каждый день независимо от того, хорошо тебе или плохо, что люди нашей страны живут тяжело и выносят невыносимое.

— Почему это. Л., — спросил я, — сегодня я чуть-чуть нездоров и вот ты уже меня больше любишь, и я знаю по себе, что, заболей ты телом своим, и я сейчас же заболею любовью к тебе. Почему при несчастье с другом любовь усиливается?

— Потому, — ответила она, — что в несчастьях мы делаемся ближе к Богу, а это и значит любовь.

Почти каждый день я думаю о нашей встрече как чуде, потому что я не мог ранее предполагать существование подобных людей и подобного глубокого сходства Двух.

Не могу жить в городе безвыездно! Решено завтра ехать искать дачу под Звенигородом.

Ездили и ничего не нашли. Николина Гора — это дача делового человека, Дунино — дача человека вольного.

Мир в неслыханном горе. Глядя со стороны на жизнь, теперь всякий просто глазами видит ее бессмысленность. А изнутри каж-

дый для себя на что-то надеется и, проводив с печалью один день, на другое утро встает и шепчет: «Хоть день, да мой».

Так показывается извне бессмысленно-вековечное родовое движение человека — полная тьма. И только если глядеть с закрытыми глазами внутрь тьмы, показывается непрерывная цепь полных смысла жизненных вспышек: это мы, люди, как личности, вспыхиваем, передавая свет жизни друг другу.

Сколько людей прошло мимо меня, и сколько раз я слышал от них о себе, что будто бы я не только хороший писатель, но и хороший человек. Много даже и писали об этом, и все-таки всерьез я ни разу не поверил в то, что я замечательный и хороший.

Но вот Л. пришла и сказала мне, и через нее я это принял, поверил в себя, и узнал, и обрадовался, и поднялся. Так при солнечных лучах утра поднимается к небу туман над рекой.

На ночь она читала мне «Гитанджали» Тагора [51], и в меня от руки моей, лежащей у нее на бедре, в душу поступало чувство ее тела, а через слово оно преображалось, и становилось мне, будто видел во сне что-то совершенно прекрасное, а потом пробудился и узнал, что не сон.

Конечно, многое на свете можно подавить и оно кончается, и многое множество всякого надо подавить, и это хорошо: пусть кончается! Только дух, живущий в человеке, подавить нельзя, и чем больше на него давят, тем он больше плотнеет и усиливается. Так было в государстве, и так было лично со мной.

Привез второй воз вещей из Тяжина. Простился с этой деревней, где с 12 апреля почти шесть месяцев и мучились, и радовались. За эти шесть месяцев я умер для своей семьи и попал в такую среду, куда стоны и жалобы оттуда не доходят. И до того это похоже на смерть, что бросает свет на смерть обыкновенную, и становится понятным, почему мы разобщаемся с душами умерших: они бы и рады нам откликнуться, да мы не умеем им дать знать о себе.

Для сыновей я умер, испытав нечестивые похороны, и они умерли для меня. Теперь можно решить вопрос: существует ли загроб-

ная жизнь. Едва ли существует, если умереть, как мы. И существует, если смерть преодолеть, то есть друг друга любить.

Бывает, вдруг соберутся темные мысли против Л., все расположится в логической связи с неумолимым выводом о необходимости, неизбежности ее перемены ко мне. Тогда любовь ее представляется мне добродетелью, которой она лишь награждает меня за любовь, верность.

Уныние охватывает меня, но мое уныние мгновенно она замечает, я ей признаюсь в своих недобрых мыслях, и моя логика ее логикой разрушается, и злое наваждение оставляет меня. После становится так совестно за упрек ей в невольных грехах!

Происхождение таких мимолетных чувств коренится в подполье своей личности, чем-то когда-то оскорбленной до неверия, до неприятия чуда, каким, несомненно, является в моей жизни приход Л. ко мне.

Вспоминаю, что эти приступы сомнения, недоверия были у меня с самого начала, но я боролся с ними и побеждал исключительно раскаянием: каялся ей, и она меня поднимала.

Через 12 лет при перечтении М. М. здесь припишет: «Неверие как тень, и, не будь тени, не было бы и жизни».

Всю ночь был дождь. Часто возвращался к мысли своей, что 12 апреля я для прежней жизни своей умер, для себя же возродился. Что такое смерть? Настоящая смерть есть прекращение всех обязанностей к людям и свидетельство независимости личности. Бывало, на охоте даже, какой-нибудь умирающий зайчик, вытягиваясь в последней конвульсии, говорит тебе, охотнику: «Поди-ка возьми меня: прощай, убегаю!»

Ошибка Олега была в том, что он пользовался Л. для своего творчества, но был невнимателен к ее реальной личности: она была для него Прекрасной Дамой. Напротив, для А. В. она была женой и полюбовницей, но к духовному облику ее он был невнимателен.

— Ты же, — сказала она, — их победил своей цельностью, и за то ты меня берешь целиком.

Через 13 лет запись: «...Всех ловчей и всех счастливей оказался я, создавший себе из кому девы, кому блудницы, кому жены — чудесного Друга».

Были вечером в концерте Рахманинова. Удивлялся людям, — консерватория, оказывается, является хранилищем людей. Как жаль, что не надумал ни разу сходить в консерваторию! Люди там, независимо от положения в современности, сохраняются в духовной неизменяемости к худшему. Музыка входит в состав души, и можно даже так поставить вопрос: возможна ли без музыки душа?

Мудрецы всех времен еще из древности собирали свою душу к тому, чтобы безмысленно, как в музыке, постигать сущность жизни. Отсюда и становится видна во всей ясности борьба этих людей с Разумом, а у других людей — обожествление Разума.

Мир (тишина) на земле возможен лишь при каком-то гармоническом соотношении души с разумом. Господство же разума приводит к голой технике и к войне.

Получаю страстные письма от читателей. Вчера доктор глазной в поликлинике признавался мне в любви. Медленно и под шумок мое «учение» находит себе путь.

Боюсь, что когда через меня все пойдут в природу — я уйду из нее, и мое «быть самим собой» окажется не в том, о чем я писал.

Приходила делегация «Пионера», предлагала написать декларацию моего натурализма. Я ответил, что в основе современности лежит идея господства, у меня же — «родственное внимание», и показывать свою правду я могу, но рассуждать по поводу нее мне не дано.

Понял происхождение у Руссо и Толстого их мыслей о природе как основном существе всего человека: все есть в природе и нет только сознания и что сознанием своим человеку не очень-то надо гордиться и им отделяться от природы... Так «природа» стала убежищем свободно верующих, но биологизм пробрался сюда и подточил Руссо и Толстого.

Подходит у Л. роковое число. Встает вопрос в своей неумолимости: да или нет? А я, разве я виноват? Если бы я сделал это рассудительно, я бы доказал тем самым, что не очень-то уж так сильно люблю ее (в смысле «подкладки», а не лица: что это за любовь без подкладки!). «Духовной» любви ведь мы с ней чураемся. Если мы за цельную любовь (с подкладкой), то нельзя же было выдрать на-

прочь подкладку. Но я молод душой и не смотрю на время, а мне 67 лет, и ребенка своего я не могу воспитать. Так бесконечное встретилось с конечным, и вот открывается «юдоль земная». Л. лежит с тяжелой думой. Я ей говорю:

— Что же делать, так вышло, значит, есть нечто выше нашей воли, зависит не от нас и мы должны подчиниться с благоговением естественному ходу и сказать: «Да будет воля Твоя!»

Мне сейчас думается, что именно потому ты и не любишь Толстого и его Наташу: у него личная жизнь девушки представляется как личный каприз, девичья смута души перед серьезностью брачной жизни, поглощающей капризное своеволие. То же самое проводил и я в «Кащеевой цепи»: Алпатов созерцал величественный и радостный процесс движения всей жизни в природе, и его узкое своеволие поглощалось расширенной душой.

Но, может быть, в ней еще дремлет отчасти нераскрытая девушка, ожидающая себе куколку? А то почему же она ночью с упреком спросила меня:

— Если мужчина любит женщину, то он хочет иметь от нее ребенка, а ты как будто не хочешь. Почему ты не хочешь?

Значит, она хочет иметь возле себя мужа, а не путешественника или писателя. Все это я тоже почувствовал вчера на одинокой прогулке, и через это луч света упал на то слепое мгновение, когда я утратил сознание на миг и поступил как мужчина: это мгновение не было слепым, я тоже, как и она теперь, тогда в тайне своей то же хотел. Сознав это, я почувствовал радость и готовность встретить все трудности на этом пути и даже смерть ее. Мне стало, как было в Ельце перед расстрелом: поняв близость смерти, я вдруг стал совершенно спокоен и пошел, куда мне указали, к забору [52].

Так открылась перспектива на жизнь, полную скорби, труда и роковых случайностей… И когда мы примирились с изгнанием из рая и лишением и перестроились, то вдруг увидали, что судьба пошутила над нами…

— Ты как будто не рад? — спросила она.

— Да и ты, — сказал я, — как будто не очень-то рада.

Замечательно еще было, что после той мучительной ночи с вопросами, быть или не быть, когда я, пробуя работать с больной головой, сел за стол, она пришла ко мне просветленная и просила меня не беспокоиться ни о чем… Этим она говорила, что готова родить.

Вот когда мне стало понятно, что, перейдя через страдание в более глубокую жизнь, невозможно вернуться таким же простодушным ребенком на солнечную поверхность земли.

Вот отчего и моя Л. до сих пор не может привыкнуть к моей просторной квартире в четыре комнаты и просит ее поменять на маленькую.

Вот почему, оставаясь в природе, она не чувствует, как я, расширения души и единства с Целым, а пользуется тишиной уединения, чтобы сосредоточиться в чувстве любви; вот почему, полюбив, я неохотно иду на охоту; и вот почему ушедшие из нашего мира больше в него не могут вернуться.

Любовь по существу своему непременно одна, только концы ее разные. На одной стороне обнажится любовь в себе чисто духовная, на другой — физическая: ему бы только выбросить семя, ей бы — только родить. Вся любовь как вода, каждый берет из нее, сколько может зачерпнуть своим ведром.

Да, к воде приходят с ведром, к любви — с душою. Бывают и ведра побольше и поменьше, а уж души! Вот отчего все по-разному понимают любовь, что каждый вмещает в себя сколько-то и по-своему говорит. Я же, мои друзья, хочу вам говорить о всей любви, как будто я пришел на берег океана.

Выхожу, друзья мои, на берег, бросаю свое личное ведрышко в океан, складываю руки свои, как в детстве учили нас складывать их на молитве, и перед всем океаном, горящим в вечерних лучах, по-детски шепчу о своем личном: «Избави меня от лукавого!»

...Любовь как большая вода. Приходит к ней жаждущий, напьется или ведром зачерпнет и унесет в свою меру.

А вода бежит дальше.

А. В. прислал ответ на письмо Л. к нему. (Это письмо было с приложением к «Фацелии».) Он раскритиковал поэму и распростился с женой «до встречи в Царствии Небесном».

Эх, А. В., прожили вы с Л. столько лет и не поняли, что ведь она не женщина в вашем смысле и ваши притязания к ней грубы и недостойны ее существа. И если вы действительно верите, что встретитесь с нею в загробном мире, то вы или не узнаете ее, или, узнав, впервые познаете и устыдитесь.

Был Осипов (коммунист из журнала «Смена») и демонстрировал свою «веру».

— А что, — спросил я, — он в самом деле так верует?

— Нет, — ответила Л., — тут не доходит до веры, но он верит, что *надо верить*, и за это, может быть, готов сложить голову.

Л. так говорила о вере людей в «Надо» (надо верить):

— То, бывает, просто верят люди для себя лично — вера как свидетельство личности; а то бывает — «два-три собрались во имя», и два из них верят непосредственно, а третий верит слабо и усиливается за двух. Вот эта сила — не его собственная, а тех двух — является принудительной, как «надо верить».

Если помножить силу тех двух на миллионы, то исчезнет вопрос «Верю ли я сам» и станет: «Я должен верить». Вот этим долгом веры и живут комсомольцы, и держится все государство как система принуждения. Но, вероятно, когда приходит Страшный Суд государству (война или революция), то «надо верить» отпадет и Судья спрашивает: «Как тебе хочется верить?»

И в Церкви тоже многие ли верят в Тайну… Огромное большинство причащается с одной мыслью, что надо верить. При таком разложении Церкви верующие стали бессильными, и Божье дело было отдано неверующим, которые вместо верующих и строили жизнь на земле и всюду заявляли: «Мы не на небе, а на земле хотим строить жизнь».

Многие верят и потому только, что страшно не верить и остаться ни с чем. Вера в живого Бога у них давно перешла в привычку, охраняющую личное спокойствие. Им кажется — невозможно остаться без Бота, и они не видят, что живой Бог только и ждет, чтобы они вышли из пут своих привычек и стали к Нему лицом.

Моя гостья сказала:

— Бедная Франция, неужели ее нынешняя судьба есть последствия 1789 года? И если так, то какие же последствия ждут нас за нашу революцию?

И еще эта гостья сказала:

— У нас есть три группы людей: огромное большинство вовсе не верят в наше дело; другая часть верит в то, во что надо верить, и третья сомневается в надо, но делает вид, что верит.

Ввожу в необходимость каждого дня обсуждение плана для следующего, иначе Л. затрепывается.

Вчера, например, ее вызвали на примерку платья в 12 с половиной. Она поехала мерить платье, вспомнила про мои туфли, и еще, и еще, и так, не евши, приехала в 5 вечера, усталая, нервная. Пока она летала, я, чувствуя себя в Москве неуютно, без воздуха, без возможности, как раньше, при первом желании окунуться в лес и набраться сил, придрался к надменно-сварливому тону тещи и вышел из себя, но вскоре опомнился и сам попросил прощенья.

Вечером теща жаловалась Л., и у нас произошла первая сцена втроем. Когда были вдвоем, то Л. умела забирать меня в руки и я умел ей отдаваться и приходить после объяснения на более высокую ступень отношений. Теперь непонимание дошло до того, что Л. даже воскликнула: «Бросаю вас, пропадайте вы все без меня!» Это обобщение меня, основного работника и добытчика, с больной старушкой сразу раскрыло глаза. Это призвание Ляли относиться к мужу, как к ребеночку, как к несчастному существу, беззащитному. И если этого нет во мне — она хочет сделать такого меня своим баловством, своим уходом. Так она избаловала возле себя мужа (А. В.) в первую очередь и особенно мать.

Мне же хочется, чтобы она стала в положение друга, равного товарища, как она стала было, создавая вместе со мной «Фацелию». Существо, создающее «Фацелию», в моих глазах есть качественно разное с тем, которое, расстраивая свое здоровье, без всякой особенной нужды носится по Москве в поисках тесемочек для моих башмаков... Между тем у меня задача сделать Л. лично счастливой; моя гордость в том, чтобы пробудить в ней долю эгоизма, создать из этого костяк ей хоть какого-нибудь счастья. И вот, пожалуйте, мы без нее «пропадем»!

Так в этой маленькой невинной ссоре любящих друг друга людей вскрывается сущность всего христианства, всего язычества, всего «мужа» и всей «женщины».

Мы отлично помирились, и ночью каждый раз я, просыпаясь, осторожно целовал ее волосы, и она, когда просыпалась, целовала меня.

Что же касается старушки, конечно, ревнующей дочь ко мне, больной, то в этом надо целиком положиться на Л. Не знаю, какая цена этой любви, но я знаю, что тут в отношении к матери Л. вся, значит, любя Л., мне Надо тещу тоже любить.

Вот теперь, сравнивая это Надо любить с Надо верить комсомольцев, я вижу ясно в том и другом нравственное начало. Мне надо любить мать, потому что я люблю дочь. Итак, может быть, комсомольцу надо верить в торжество социализма, потому что он любит свою родину, то есть свой угол рождения, где своя мать, свой отец, свое солнце и месяц, свои травки, и свои заботы, и «первых лет уроки» [53].

Да, бедные дети с их трогательным «надо верить», — много ли еще вас осталось на русской земле?

Какому Богу молились наши предки из богатых купцов, наживших себе крупные средства? Нет сомнения, что этого Бога они просили помогать в их хищных делах и этому самому Богу строили церкви, когда им все удавалось. Этот Бог помогал им везде концы с концами сводить и радоваться… и очищать свою душу обращением к Распятому. Именно для очищения совести и был для них Христос.

У нас думают так, что «немца» нам не миновать: будем ему помогать — он превратит нас в колонию; пойдем против — он расколотит и своею рукою возьмет.

Евреи и все присные им ненавидят кровно Гитлера, этой ненавистью наполнена половина мира, от Ротшильда до русского интеллигентного нищего, женатого на еврейке. Другая половина стала против евреев. Такая огромная ненависть не могла бы возникнуть к маленькому народцу, если бы он не являл собой какую-то определяющую весь наш строй силу: еврей стал знаменем капитала и кумир демократов — интернациональный человек — превратился в еврея. Весь человек раскололся на две половины: арийца и семита.

Мы же стоим на острие независимого от расы коммунистического человека, и чуть в одну сторону — мы с евреями, чуть в другую — с арийцами.

Мудрость совета «будьте как дети» состоит в том, чтобы всякое «надо» взрослого человека, вплоть до «надо верить», «надо любить», стало как у детей: «хочется верить, хочется любить»

Мудрость жизни Всечеловека и закон благополучия человечества состоит в том, чтобы Надо каждого человека превратилось в его личное Хочется.

В «Капитале» характерна стоящая в основе всего движения изначальная личная заинтересованность, прикрываемая потом всякими великими целями. Такой человек в основе своей существо родовое, ему нужно прежде всего хорошо устроиться на земле, самому и со своей семьей, при хорошей квартире, хорошем столе, одежде, докторах и дачах. Чтобы другие не мешали ему в этом, он вникает этой стороной и в жизнь других, в это «вечночеловеческое», и так его личная заинтересованность во всем приходит к компромиссу в решении вопросов общественных, к «любезности» и ко всеобщей «теории относительности». Так у них происходит «размывание Бога» и замена Его личной заинтересованностью — компромиссом «теории относительности». При личной заинтересованности, конечно, личность движется в сторону благополучия своего, в сторону труда, не связанного со страданиями, и мир разделяется на чернорабочих и чисторабочих. Война 1914 года осталась морально не оправданной. Значит, неоконченной. Теперь — продолжение.

Каким же образом победят Америка и Англия, если они не несут людям никакого объяснения бессмыслицы жизни, в которую ввергаются чернорабочие и вслед за ними чисторабочие? На «хочется» и «надо» сейчас можно весь мир разделить: Англия, Америка, бывшая Франция — это все «Хочется» Германия и все, что позади ее к востоку, и весь восток — это все «Надо». Мало того, «хочется» заключено в чисто капиталистических странах, «надо» — в тех, где возможен социализм.

Англия соединяется с Америкой, и Галифакс в ответ Гитлеру подтвердил продолжение войны и указал на необходимость соблюсти права малых народностей на самоопределение. Известно, как бедняк «самоопределяется», пребывая должником богатого!

Но дело в споре злата и булата. Англия стоит за спиной принципа капитала. Германия, как и Россия, вынуждена была выйти из этого принципа, и от этого капиталистическое равновесие нарушилось.

Ноябрь. В конце Пречистенки на мраморной доске написано «Уральские самоцветы» (контора) и на доске ниже еще «Шахты». И в этих конторах абстрактных шахт сидят люди, которые никогда не видали шахт и все-таки шахтами распоряжаются, и все зависит от них.

Вот где источник разделения людей на классы, и вот как рождается власть.

Пустынник Исаак Сириянин мог чуть ли не один только день пробыть епископом и сбежал в свою глубочайшую пустыню. Удаляясь в сладость пустыни, в «не от мира сего», он наивно не понимал эгоизма такого ухода. Каким счастьем показалась бы теперь возможность такого ухода современным пленникам цивилизации!

И все же с этих страниц, написанных полторы тысячи лет тому назад, веет таким осязательным добром человеческой натуры, такой любовью и такой силой духа, что наше время является как несчастье, вызывающее глубокое состраданье, — до чего же пал человек.

От многих людей слышу, какую радость испытывали они в первые дни революции и нэпа. Я же радость испытывал только один день в Петербурге, когда царь был арестован, и смолкли пулеметы на крышах, и зазвонили в колокола. С тех пор для меня почему-то радости не было. Разобрать — почему?

Л. устроила квартиру и сдала хозяйство матери. Пришел А. М. Коноплянцев и заметил, что впервые видит уход за мной. И я сам тоже впервые увидел, что у меня все как следует быть. Раньше «казалось».

Когда прошла для всех обычная иллюзия влюбленности, у нас оказалось — это была вовсе не иллюзия, а средство сближения и духовного развития и обмена.

После этого периода Л. стала мне матерью, и я родился вновь, по-новому стал жить, забывая даже о своих привычках. И даже характер во мне переменился, и весь я насквозь стал не таким, как был.

Л. сказала:

— Ты только шевели меня, умей вопросами вызывать у меня мысли...

А у меня это само собой давно сложилось, что Л. знает все, и я давно в тревоге о том, что я ленив как-то, сонлив и не умею спрашивать. Лучший образ ее, как ангел у сапожника, до сих пор у меня ничуть не помрачился [54].

В 1945 году он запишет: «В глубине своей, мне кажется, она все знает и в ней содержится ответ на всякий вопрос глубокого сознания. Если бы я мог обо всем спросить — она бы ответила на все. Но у меня редко бывает достаточно силы, чтобы ее спросить.

Жизнь проходит часто так себе, как будто едешь на телеге, имея возможность лететь на самолете. Но только это большое богатство, сознавать, что все — от себя и если я хорошенько только захочу, то пересяду из телеги в самолет или задам Ляле всякий вопрос и получу от нее всякий ответ».

В 1948 году: «Ляля мне остается неиссякаемым источником мысли, высшим синтезом того, что называется природой».

Глава 20

Остановленное мгновение

Вспоминаю недавнее в Тяжине: мы гуляли в лесу. Над нами летали мельчайшие мошки. Л. спросила:

— Эти мошки живут один день?

— Меньше, — ответил я, — эти мошки — мгновения.

— Взлетят и умрут?

— Возможно. Только им эти мгновения как вечность. Если бы удалось осознать всю совокупность сил, определяющих взлет этой мошки, нам через это раскрылась бы вся тайна Вселенной.

— И мы тоже так?

— И мы взлетаем на то же мгновение, только у нас есть человеческая задача вспыхнуть мгновением и так остаться: не умереть.

Чудилось в тонком сне, из-под снега весной вытаяла первая кочка, и на кочку села перелетная ранневесенняя птичка пуночка. Ей так было хорошо на этой кочке, как мудрой и покойно-уверенной царице всего: с этой кочки царица начала управлять движением весны.

В тонком сне я догадывался, что снится о нас: это мы с Л. должны найти себе точку мудрого спокойствия и управления жизнью своей, направленной к бескорыстной радости. Замечательно, что в этот же день явилась мысль об устройстве постоянного жилья на реке.

В этой любви нет устали, и когда станет трудно, то поглядишь на друга и подумаешь со скорбью: «Друг мой устал». Так свою усталость на него переведешь, а когда справишься, то оказывается, он оттого побледнел, оттого у него глаза стали большие, что тревожился за меня: не устал ли я.

Любовь наша теперь отвечает человеку нашего времени, приведенному в постоянное движение, и совсем не похожа на прежнюю любовь, рассчитанную на создание уюта. В точном соответствии с этим находится прежний «монарх» и нынешний «вождь», — там и тут «все как один», но там — в постоянстве, а здесь — в движении. В соответствии с этим находятся и орудия передвижения.

Нет, не дни в нашем распоряжении, а только мгновения. Но даже и мгновения даются немногим, и как подумаешь о них — сердце наполняется благодарностью.

Пишу о вчерашнем дне и мучаюсь тем, что так мало взял себе от его богатств. Тружусь теперь, вспоминая тот день, когда взял все, и не могу нигде поравняться силой своего творчества с богатством проходящего дня. И даже то самое лучшее в моих писаниях становится жалким при сравнении с истраченным на него временем и, при подсчете вдохновенных минут, с часами, днями, неделями рассеяния, наступающего после вдохновения…

Коротким временем страстной любви огромное большинство людей пользуется, чтобы свое Хочется превратить в Надо. Рождается дитя, и так двое любящих создают третье, любимое.

Коротким временем своей страсти мы воспользовались, чтобы друг друга понять, и наша чувственная любовь стала нашим языком, на котором мы поняли друг друга и благодаря этому стали друг в друге находить невещественное Третье, ставшее на нашем пути впереди как любимое Надо.

Всякие размышления и сомнения я отложил в сторону: пока Л. со мной, я чувствую любимое Надо через нее непосредственно. Так вот и началась моя новая жизнь, в которой самым главным стало чувство бессмертия не за чертой смерти, а от сего же дня, и бесконечность оказалась в своих руках и так же реальна, как веревочные вожжи к лошадке, бегущей туда, где нет ни конца, ни начала.

Не те «бессмертные», кто оставил после себя на сотни и даже пусть тысячи лет памятники искусства и научные открытия, а тот бессмертен, кто смерть преодолел усилием духа так, что «плоть» его существа свалилась, как изношенная одежда.

День рождения Ляли (11 ноября). Она, пришла не одна, а привела с собой человека, который без нее не мог бы прийти.

Подумать, вспомнить, сколько ей нужно было своей жизни пролить напрасно, чтобы какая-то капля попала в его душу и стало возможным его привести с собой в это общество. И сколько он этого ждал! И вот все совершилось так просто...

Вчера у меня мелькнула мысль о возможности у Ляли мечтательности, что она не верует, а вымечтывает в себе веру и талантливо об этом рассказывает (а я, дурачок, ей верю). Но сегодня, когда я увидал себя среди старух, похожих на каких-то особенных церковных животных, понял попа, в каких тяжелых условиях он возится с ними, и еще — какой сложный путь и я и Ляля должны были пройти каждый отдельно и вместе, — я понял, что нет! это не мечта, а именно самая глубокая реальность, какая только может быть на земле.

Основа моего переворота духовного состояла сначала в том, что исчезла искусственная черта, разделявшая в моей душе любовь чувственную от душевной и духовной: Л. научила меня понимать любовь в единстве, всю любовь как Целое.

Второй этап моего нового сознания таков: как в понимании любви исчезла перегородка между грубой любовью и духовной, так смерть потеряла свое прежнее значение, и эта жизнь в своей творческой силе, минуя смерть, соединилась с жизнью бесконечной. Оказалось, что можно смотреть вперед поверх смерти.

Я сегодня нашел в себе мысль о том, что революционеры наши и церковники ограничены одной и той же чертой, разделяющей мир на небесный (там, на небе) и на мир земной (здесь, на земле).

То же самое «царство» одни видят по ту сторону, другие — по другую той же самой черты, проходящей через их собственную душу и ее ограничивающей. Тип «земного» человека Ставский, тип «небесного» Гаврила, оба свое ограниченное закрепляют в форме и, подменяя существо такой формой, поклоняются ей и призывают других к тому же и принуждают.

На самом деле черты такой между земным и небесным миром вовсе не существует.

Прочитав одно письмо Олега, напечатанное на машинке, вдруг понял не по смыслу, а как-то прямо машинописью (если бы от руки — может быть, и не понял бы), что по существу своему он был поэт, стремящийся выбраться на волю из старых форм православия.

Возможно ли это? Мы еще не были так счастливы, как теперь. Мы даже находимся у предела возможного счастья, когда сущность жизни — радость — переходит в бесконечность (сливается с вечностью) и смерть мало страшит. Как можно быть счастливыми, в то время как… Невозможно! И вот вышло чудо — и мы счастливы. Значит, это возможно при всяких условиях.

Так я пережил в жизни три состояния: 1) пролетарской озлобленности с готовностью требовать себе земных благ в силу внешнего равенства всех в отношении распределения земных даров; 2) состояние личного смирения, сознание духовной нищеты своей и радости с благодарностью за получаемое; 3) состояние полного обладания своей земной долей с готовностью идти на страдание.

Это состояние радости оправдывалось готовностью на страданье. После испытания в любви не страшно испытание в мужестве, в славе и тому подобном. В любви — все!

Бывает, ночью, когда лежишь во тьме без сна, какая-нибудь явится мысль и как светильник в руке: куда ни направишь его — всюду становится светло. Так и мысль эта обращается в смутные стороны души и везде от нее становится ясно. Эта мысль была у меня сегодня в сопоставлении похоти и эроса, — что не от любви, а от похоти рождаются дети, а от эроса — поэзия, религия, наука и самая даже любовь. Так вот и происходит разделение.

В то же самое время, откуда же берется эта вера в единство плоти и духа? Или единство это не существует, но достигается воздействием творчества человека, соединяющего дух и плоть в святую плоть? И чувство единства рождается из готовности к творчеству в том смысле, что «пусть этого нет, но это надо сотворить, и от себя это зависит».

Глядя на других, я стремился свой эрос подменить тем, что у других есть, — пол. Из этого получилось страдание: эта подмена и была паденьем. У Л. точь-в-точь было как у меня, и вот это-то нас и свело. В эросе содержится тоже назначение быть личностью, то есть вождем. Напротив, пол поглощает личное и определяет место в *роду.*

Птицын с трех рюмок опьянел. Разговор шел о какой-то лестнице, и он вдруг стал утверждать, что назначение лестниц — подниматься наверх.

— Но и спускаться, — возразил ему Удинцев. И они заспорили между собой о назначении лестниц.

Когда они спорили, я подумал, что чувство вечности было всегда лестницей, и в прежнее время люди ничего делать не могли без мысли о вечности, и эта вечность переходила в прочность создаваемых всеми вещей. Однако идея вечности мало-помалу стала покидать людей, и они сами не знали того, что чувства вечности у них давно уже нет и от нее осталась лестница в какую-то стратосферу, где нет ничего. Вот тогда-то, мне чудится, вечность спустилась на землю и стала мгновением.

Лестница на небо стала ненужной, земля и небо сошлись во мгновении. Это священное мгновение, равное вечности, этот скачок через смерть — вот современное чувство вечности. А несовременное — отставшие все еще спорят о назначении лестницы — подниматься или опускаться.

— Вы все еще, — сказал я спорщикам, — собираетесь куда-то подниматься или опускаться. Бросьте лестницы, поезда, пароходы, самолеты — все не нужно, все чепуха, все ломайте, все бросайте, — мы уж прибыли, мы — на месте…

Декабрь. Ночью с Л. разбирали побег Толстого. И я впервые понял слабость в этом поступке, столь долго называвшемся мною героическим. Поняв же через Л. сущность поступка в слабости, ясно увидал я какую-то беспредметность веры Толстого, определяющую и бесцельность его побега. Ясно теперь вижу, что Толстой опоздал уйти от своей семьи и этим обессилил себя самого.

Так и каждый умный человек, упрямо не желающий выйти за пределы своего разума, из его ложной сложности в простую жизнь, которою все живут, будет тем самым всегда ограничен.

Тут весь вопрос сводится к тому, чтобы вспомнить в себе ребенка и по этому живому мостику перейти на ту сторону, откуда все люди настоящие получают свидетельство в предметности своей веры.

Так вот я, войдя в Лялю, превратился в ребенка, и она научила меня перейти по тому мостику через любовь свою к тому, чем люди живы. И моя детская молитва мне стала дороже всех моих сочинений написанных и всего того, что я еще придумаю.

Вот почему и незачем спорить с людьми: спором ничего не достигнешь, и если кого-нибудь переспоришь и покоришь силой своей диалектики, то цены такому насилию нет никакой. Я пишу не для

спора, а чтобы вызвать у других людей единомыслие и тем самым увериться в правде. Пишешь — вроде как бы сон видишь. Написал — и не веришь, и спрашиваешь, не сон ли это? А когда кругом начинают уверять, что так бывает, то при таком единомыслии сон становится явью.

Утром, когда Л. вставала, я ей сказал:

— Такое чудо я вижу в нашей встрече, что, думаю, недаром это, и у меня растет уверенность: раз мы сошлись, то потом непременно русские люди сойдутся и восстановится начатая нашими отцами культура.

— Не знаю, — ответила Л.

— Ты не можешь не знать: раз мы сошлись...

— Это я знаю, — перебила она, — но я не знаю, *когда* совершится то, о чем ты говоришь.

— Разве ты не знаешь, — сказал я, — что нет черты, разделяющей сегодня и завтра: сегодня и завтра нераздельны, потому что вчера мы спасены. Выброси наконец эту вредную черту, придуманную для сознания дикарей. Все начинается и совершается здесь и продолжается в вечности, хотя самой земли, может быть, и не будет. Давай жить, чтобы сегодня, независимо от того, что случится, мы видели свое завтра.

Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и, очарованный, согласует душу свою с величием всего моря. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет... Не видно «того» берега в море, и вовсе нет берегов у любви.

Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув, приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая и негодная.

— Любовь — это обман, — говорит такой человек и больше не возвращается к морю.

Где два-три собрались не во имя свое, там рождается новый, лучший человек; но рождается рядом и осел, который несет на спине своей багаж твоего любимого.

В сущности, «осел» — есть необходимость внимания к ближнему. Где два сошлись — там к своему «хочется» присоединяется

«надо» в смысле повседневного «люби ближнего, как самого себя».

Но как быть художнику, если творчество поглощает его целиком. Вот в моей семье внимание было у меня на себе. Вышло так, что им такое положение было *выгодно*: из этого проистекало благополучие, но отсюда же вышло и разложение семьи. Это было безморальное состояние.

Стою в раздумье перед тем, что случилось, и вот именно — что оно случилось или вышло, как следствие всех предыдущих поступков, — это и есть первый предмет моего размышления. Оно вышло из того, что я, создавая дальнему неведомому читателю радость, не обращал внимания на своего ближнего и не хотел быть ослом для него. Я был конем для дальнего и не хотел быть ослом для ближнего.

Но Л. пришла, я ее полюбил и согласился быть «ослом» для нее. Ослиное же дело состоит у человека не только в перенесении тяжести, как у простого осла, а в том особенном внимании к ближнему, открывающем в нем недостатки с обязательством их преодолеть.

В этом преодолении недостатков ближнего и есть вся нравственность человечества, все его «ослиное» дело.

Сигналы голода в стране. Начало разочарования в поездке Молотова в Германию: что-то не удалось, что-то сорвалось. Где-то собирается гроза, но там уже нет компромисса: если б то знать, ненавидящий компромисс схватился бы за него как за друга, потому что хоть как-нибудь, а жить хочется. Там же путь прямой *через* жизнь и путь еще более — *мимо* жизни.

Приходила умная еврейка и говорила о том, что в нашей жизни исчезла та роскошь страданья, которой одаряет, например. Толстой графиню — мать Пети Ростова. И вот эта еврейка сказала Валерии Герасимовой (писательнице, потерявшей мужа на войне): «У вас мама, ребенок, есть нянька, есть легкая работа, и вы имеете возможность *роскошно* страдать. Поглядите на других людей, как они страдают, и забудьте свои страданья».

Умный Пьяница [55] горячо восстал на эту мораль, сущность которой состоит в обездушении страдающего и замене душевного страдания относительной материальной ценностью. Л. же восстала против роскоши страданья за страданье молчаливое и деятельное.

Туман в Москве, как в Лондоне, тепло и так мокро все, что ночью на улице все отражается, как в реке. Иду получить путевки в Малеевку, дом творчества писателей под Старой Рузой.

Глубокая, затаенная даже от себя самого тоска где-то почти без боли точит меня, слышу — точит, но ничего не чувствую, как будто нахожусь под наркозом. Знаю, это дает о себе знать мое отрезанное прошлое. Не осталось никакого сомнения в том, что это надо было отрезать, и боль сосет не за них, а за себя: как мог я столько лет жить среди людей без всякого «родственного внимания» со своей стороны? Понимаю, что какая-то гордость, рожденная в диком самоволии, заставила меня отстаивать мезальянс не только в опыте личной жизни, но и в литературной проповеди. И в этом родилась вся беда…

Скорее всего, тоска у меня появляется от наплыва воспоминаний спокойствия прошлого и тревоги при охране своего нового счастья. С этими сомнениями надо бороться деятельностью.

Большая ошибка Павловны, что она вовлекла в борьбу со мной сыновей. Получив свободу нападать на меня, ни в чем не повинного человека и отца их, они просто лишились всякого понимания моей личности.

Посылал Марью Васильевну с письмом в Загорск и просил прислать мне книги, необходимые для работы. Павловна книг не дала, и М. В. привезла от нее новые угрозы. Из этого видно стало, что Павловна ничуть не продвинулась вперед: как раньше в споре никогда не уступала, так и теперь идет наперекор. Но раньше после спора и вспышки я приходил в состояние расширенной души, и стыдил себя за спор с таким, по существу, маленьким человеком, и кротостью возвращал себе мир, а теперь чувствую, что приехать к ней с утешением не могу.

Теперь нависла над нашей любовью древняя туча, висевшая над свободой в любви, — туча Дантова Ада, шекспировского Ромео и драм Островского.

Л. охватил такой страх, что она с полчаса была в лихорадке. Л. тяготится, конечно, тем, что она должна поддерживать во мне твердыню в отношениях к Павловне и тем ее пуще злить. Ну так вот, и хорошо, вот и конец! буду считать эту попытку окончательной и бросаю их совсем и отстраняю от себя все упреки совести.

Ночью почуял «любовь» оставленных мною людей, любовь, в которой рождается преступление. Надо быть твердым, холодным… изжить это изнутри как малодушие.

Стану перед своей совестью, и совесть свою поставлю перед истиной, и спрошу сам себя о себе, и тогда получится ответ: все оправдание мое заключается в любви к Л. Если это настоящая любовь, то она все оправдывает.

Ходил к Н. А. Семашко, своему гимназическому другу, теперь наркому, высшему чиновнику в России. Потом был у сестер Барютиных (Лялиных с ранней юности подруг). То, что я нашел у Л. как самое для меня важное, — это прежде всего неисчерпаемый источник и смутное чувство бесстрашия перед концом своим, то же самое теперь у этих сестер видишь на глаз в их порядке жизни, в устройстве, в утвари, на стертых уголках дверей и столов.

Чувство победы человека над суетой и независимость его от внешних событий — и вот оказывается, что та Россия, которую я любил и которую будто убили, — жива и никогда не умирала.

То ли от накопления бессознательных ошибок, то ли от какого-то коренного заблуждения, при беседе вечером, но только наш корабль с Л. зацепился за мель… Одно только знаю, что разлюбить Л. — это расстаться с самим собой. Где-то сказано в Св. Писании: «Не Меня — себя потеряли, возвратитесь в Дом свой!»

…Но, конечно, в любви у нас с ней разные роли. Моя роль художника растворить ее в своем стремлении к созданию красоты. Если бы мне это удалось вполне, она бы вся ушла в поэму и остались бы от Л. только мощи. Ее же роль — это любовь в моральном смысле. Если бы ей удалось достигнуть своего — я бы превратился в ее ребеночка.

И все мои порывы уйти в одиночество — это не более как попытка мальчика убежать в Америку, которой не существует!

Она любовью своей оберегает своего мальчика от этой опасности, но теперь для опыта соглашается оставить меня на февраль одного, потому что знает: нет такой «Америки» и любовь наша от этого опыта только крепнет.

У меня все для себя, и самое лучшее, что только мне удается, — мое. Л. же все делает для другого, а во имя себя ей ничего не удается.

«Когито, ерго сум» [56] она переиначивает: «Верю в тебя, значит, я существую». Перед ней я чувствую себя виноватым и неоправданным.

Дай мне, Господи, такую песнь, чтобы она меня перед ней оправдала!

Из утренней молитвы: «Жил я одиноким человеком, веруя в Бога, но не мог назвать Его имя. Когда же пришла моя дорогая и нам стало вместе и радостно и очень трудно, я сказал: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! И так я назвал имя Бога, Которому веровал».

При перечтении в 1952 г. здесь рукой М. М.:
«О таком — проще».

Приехали в дом творчества Малеевку. Городище — родина Ивана Калиты. Рядом несколько писателей начинают строить себе домишки: у некоторых нет жилья в Москве. Вспоминал, глядя на них, начало своей писательской жизни.

Я сказал Е. Н. Чернецкому:

— Мне это напоминает мое время, когда я свою жизнь начинал.

— Тогда это было понятно, — ответил Ч., — когда вы начинали — был народ, а теперь тут только могила Калиты, да и то вопрос — была ли тут его могила.

Сказавший это был еврей.

Русское искусство бледнеет, у писателей нет веры и руки опускаются. Все и понятно, — ведь литература, искусство — это выражение *лица* народа, и страдание выражается тем, что *бледнеет* лицо. Глубокие страдания переживает весь мир, у всех народов бледнеет лицо…

Остается только ниточка связи — это я со своей верой, со своим независимым чувством гармонии, — где-то в таинственной глубине я люблю тебя, русский народ, я люблю — значит, ты существуешь.

Здесь русские — мы с Л., Замошкин, Меньшиков, еще кто-то… Но пусть даже одни мы с Л. — и довольно. Рано ли, поздно ли, Россия восстановит свою начатую культуру! Поняв это, я перестал за-

носиться и посмотрел на всех снисходительно и беззлобно. И вообще, чего тут заноситься-то, — разве есть в нашем отрезке времени какое-либо мерило?.. Писателей я воспринимал *вообще* и относился к ним свысока. Но довольно было в Малеевке присмотреться к ним, понять их в различии, чтобы то чувство прошло. Так, при направлении внимания с целью из массы (из типа) выбрать личность человека, исчезает национальное, кастовое, сословное и всякое групповое и типовое отталкивание.

Мне стало очень-очень ясно, что моя борьба теперь в том, чтобы силу, которую я нашел в себе в одиночестве, соединить в целое с силой моего друга. Кажется, будто две вселенные соединяются: одна — вечного-бесконечного, другая — любви.

Лучшее средство уничтожить поэзию — это заставить поэтов писать непосредственно на пользу государству, потому что существо поэзии направлено к спасению личности человека, а не типа его, рода, всяких групп, государств. Вот откуда и происходит вечная борьба поэта и лейтенанта.

Важдаев [57] попросил у меня манную кашу, которая осталась на тарелке от завтрака.

— Все равно пропадет, — сказал он, — так уж лучше я ее собаке отдам.

— Как пропадет? — сказал я, — ее съедает какой-нибудь неизвестный человек.

— Какой?

— Мало ли какой, — неизвестный!

— А вам нечего заботиться о неизвестном, и подать известной голодной собаке лучше, чем отдать неизвестному человеку.

У Цыганки щенки, и корма ей из столовой не отпускается, и всем людям, служащим в столовой, питаться из нее не полагается. Поэтому все остатки, даже косточки, служащие уносят себе. Цыганка получает что-нибудь только от нас. Л. организовала систематическую помощь голодающей собаке, и Цыганка это знает: она отдает свое предпочтение Л. По приказу Л. мы выносим остатки своей пищи и отдаем Цыганке возле лесенки в столовую. И каждое утро Цыганка, однако, приходит не в столовую, а в тот дом, где мы спим. Сидит на приступочке и дожидается. Она потому дожидается около

спальни, что знает хорошо: не столовая кормит ее, а люди. И, мало того, сознает, кто ее кормилец.

Сегодня утром я первый вышел из дому. Вижу, Цыганка сидит на лесенке спальни. Я иду в столовую, она не трогается с места. А когда Л. выходит — она с ней вместе направляется в столовую.

Я рассказал Е. Н-чу, как мы работаем с Л.

— Да, — ответил он, — великое счастье иметь такого друга.

— Дорого стоит такой друг, — сказал я, — надо уметь и взять его и охранять, а это жизни стоит.

Втроем мы пошли гулять. Каждая елочка на нашем пути была осыпана звездами. На полдороге к дому Е. Н. нас оставил и ушел в лес один. И так было ясно: он — одинок, мы двое — в единстве.

Е. Н. Чернецкий погиб в первые дни войны.

Светлое морозное утро. Ходил по тропинке взад и вперед с того времени, когда осталась на небе звезда утренняя, и до тех пор, пока она не растаяла в свете от солнца. Мне было ясно, что дело художника — это расстановка смешанных вещей по своим первоначальным местам.

Посмотрел бы Достоевский! Каждый день пишу по одному детскому рассказу [58] и ем как свинья откормленная... Страшно даже за серьезную работу браться. Мне сейчас неловко думать о Достоевском: посмотрел бы он на это «творчество», на это «счастье»...

Когда вчера я заговорил с Л. о каком-то прекрасном поэтическом народе русском на Печоре, она стала это отвергать: нет этого, все это умерло, и если воскреснет, то как-нибудь в *общей* культуре.

Если это правда, то и мое наивное сознание о действующем первоисточнике нашей поэзии — устном творчестве народном — устарелое понятие. Так было, и теперь этого нет.

Не только язык народный как первоисточник моей литературы, — я теряю даже вкус к тому родственному вниманию в природе, о котором столько писал.

— Денечек, — сказал я, — что же это со мной делается?

— Ничего особенного, — ответила она, — ты переменяешься — ты переходишь от природы к самому человеку.

Л. в обществе выпрыгивает из себя, срывается и после огорчается сама на себя за то, что говорила лишнее. Бывало, только начнешь говорить, она сорвет и перервет. Точно такие же дикие углы свойственны и мне и, я думаю, происходят от вынужденного сдерживаемого молчанья и жажды общенья.

Так было всю жизнь. Теперь начинаю приходить сам с собой в равновесие, впервые вижу возможность создать обстановку, в которой не буду бояться себя.

Стало противно ходить в столовую: начались сплетни. Так, месяц подходит к концу, а больше месяца люди, очевидно, не могут вынести обеспеченную жизнь. Замошкин сказал мне: «Молодожены!» И мне от этого стало противно, да как!

Прекратить попытку душевных разговоров с Замошкиным и со всеми.

До конца пребывания в этом доме начну биографию Ляли, имея целью восстановление ее личности. Ближайшая цель моя будет достигнута фактом ее горячего участия, и тогда эта биография станет ее автобиографией.

Прихожу в столовую, вслед за мной приходят другие. Сестра-хозяйка к каждому подходит с листком, на котором написано меню, и предлагает выбрать обед или завтрак. Когда все записались, я спросил, почему она обошла меня? Она ответила:

— Вы же вместе с В. Д., а ее нет.

— Скоро будут говорить, — посмеялся Замошкин, — что и пишет не М. М., а муж Валерии.

В это время пришла Л. и возмутилась, а когда Замошкин повернул на «Прекрасную Даму», сказала:

— Не люблю я Прекрасную Даму!

— Я тебе служу, — сказал я, — не как прекрасной даме рыцарь, а как служили друг другу Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.

Л. этому обрадовалась и помирила нас с Замошкиным.

Я сказал:

— Люблю тебя все больше и больше.

А она:

— Ведь я же это говорила тебе с самого начала, что ты будешь любить все больше и больше.

Она это знала, а я не знал. Я воспитал в себе мысль, что любовь проходит, что вечно любить невозможно, а что на время — не стоит труда. Вот в этом и есть разделение любви и наше общее непонимание: одна любовь (какая-то) проходящая, а другая вечная. В одной человеку необходимы дети, чтобы через них продолжаться; другая, усиливаясь, соединяется с вечностью.

Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна были бездетны. Дети, рожденные в свете той и другой любви: в одном случае любовь к детям есть частность общей любви, в другом — любовь к детям исключает всякую другую любовь: самое злобное, хищное существо может иметь любовь к детям. Так неужели же и это называется любовь (любовь как только *связь*)?

Итак, всякая любовь есть связь, но не всякая связь есть любовь. Истинная любовь — есть нравственное творчество. Можно закончить так, что любовь есть одна — как нравственное творчество, а любовь как только связь не надо называть любовью, а просто связью.

Вот почему и вошло в нас это о любви, что она *проходит*: потому что любовь как творчество подменялась постепенно любовью-связью, точно так же, как культура вытеснялась цивилизацией.

Л. знала Бога со дня первого сознания, но любовь *на деле* она постигла только после смерти отца. Девочка мгновенно переродилась. Раньше она была эгоистична и к матери относилась почти неприязненно, и до того, что отец вынужден был с ней серьезно поговорить и даже плакал при объяснении с девочкой. Переворот и выразился в том, что Л. после смерти отца вдруг *поняла* его насквозь, и приняла в себя, и стала отцом и мужем, а мать свою приняла как жену и дочь.

Тут-то вот и возник этот роман дочери с матерью, в котором Л. и постигла любовь как нравственное творчество, любовь, которая похожа на мост через смерть, любовь, которая не проходит.

Вот почему она и знала наперед, когда сходилась со мною, что любовь моя не пройдет и будет расти. Она знала, что делала, а я принимал и дивился.

Так развивалось у Л. благодаря уходу за матерью чувство любви как нравственное творчество. Но это нравственное творчество было ограничено натурой матери, это творчество, в сущности, было одностороннее, всю себя Л. не могла удовлетворить в любви к матери.

Лялина тема: пережалела мать и оттого в состав любви к ней входит и ненависть. Это понять из отношений мамы и Лиды (сестры моей). Половина Лялиных преступлений совершилась из-за матери. И когда случалось этому неудовлетворенному остатку, то есть самой *натуре*, самой ее неподнятой целине, жаждущей плуга, встречаться с природной ограниченностью (косностью матери), тут вспыхивала злоба как избыток сил, требующий поглощения, требующий равенства в творчестве.

При встрече со мной этот избыток был поглощен. Но зато эта новая любовь, параллельная, непременно явилась бы эгоистической в отношении к матери, если бы сама-то мать не сознала необходимости освободить Л. от себя и, напротив, помогать ей в творчестве новой нравственной связи. Но не так-то все выходит у нас гладко.

Старушка была избалована Лялей и теперь, как ни старается, — не может поставить себя в положение священной жертвы — единственное средство стать равной стороной в нашем треугольнике.

Так вот и выходит, что Л., полюбив меня, не может, как прежде, всецело отдаваться любви к матери, мать не может всецело пожертвовать любовью для счастья дочери, а я, милостью Божьею освобожденный в жизни от тяжкой ноши («осла»!), никак не могу помочь Л. возместить в отношениях к матери то, что отнято мною же...

А вот еще почему Л. знала вперед, что моя любовь не пройдет. Погружаясь в дело любви к матери, как бы восстанавливающей в ней отца, она в то же время и тем самым создавала из себя как бы копилку любви: делая для матери — она зарабатывала на себя. Так она скопила в себе огромный капитал, неистощимое свое приданое, обеспечивающее чувство своего избранника. Возможно, что и мое служение искусству было не просто эгоистическим делом, а тоже и оно, как у Ляли ее служение, было заработком для себя насто-

ящего и непреходящего. Возможно, через свое дело я служил себе самому и тоже не растрачивал жизнь, а залагал ее в копилку…

Вчера опыт разговора «умных людей» по плану Л.: просто замечательные результаты! Она, как «занятая» женщина, почти вовсе перестала «выпрыгивать», а я — дичиться и вызывающе огрызаться. В этом свете и N., и другие являются не как враги, а как животные, которых не надо злить, напротив, надо оглаживать.

И вообще, среди подобных людей и еще куда худших и страшных надо ходить как по жердочке над водой.

На рассвете Л. проснулась.

— А все-таки, — сказал я, целуя ее, — любить женщину лучше, чем собаку.

— Пожалуй! — улыбнулась она, — но в этом нет открытия, я тебе об этом говорила.

— Нет, — сказал я, — ты не о том говорила, я о другом думаю: бывало, ночью проснешься, Лада встает с пола, голову положит на постель, а ты ей говоришь, добиваешься: «Лада, ну, скажи хоть одно словечко „люблю“ — я все отдам за это, всю жизнь посвящу!»

А она молчит.

Ничего не было, но я возревновал ее и мучился. Вечером слегка поссорились. Я холодно простился с ней и улегся. Но только заснул, вдруг мне почудилось, будто она плачет. Прислушался.

— Денечек!

— Что тебе?

Она сидит с открытыми глазами, совсем как подшибленный галчонок.

Вспомнил я, как в детстве подшиб на лету этого галчонка, смотрю — сидит на земле, не падает, — значит, жив. Подошел к нему — не улетает. Посадил его на веточку — уцепился коготками, сидит.

Нехорошо мне стало на него глядеть, пошел я домой. После обеда тянет меня посмотреть, что с галчонком, душа не на месте.

Прихожу к дереву — сидит по-прежнему неподвижно. Дал ему червяка — не берет.

Ночь спал плохо, все неподвижный галчонок на ветке из головы не выходит. Утром чуть свет прибегаю в сад к тому дереву — сидит.

Страшно мне стало, зажмурил я глаза — бежать от него. А в полдень нашел я под деревом трупик птички.

Жестокие мы были мальчишки, птичек мучили, соломинку вставляли мухам и пускали летать, но по галчонку плакал я безутешно, и вот сколько лет прошло, вспомнишь — жаром обдает и сон уходит.

Вот когда увидал я Лялю — сидит на кровати вытянувшаяся в темноте, прислонившись к подушкам, — мне стало ее ужасно жалко.

— Дурачок, дурачок, — сказала она, — с кем ты вздумал бороться!

Даже в полумраке рассвета она угадала, что я расстроен чем-то, и стала допытываться, и объяснила все тем, что я зажирел, избаловался, сам не знаю от этого, что хочу, и надумываю.

Она была строга и собранна. Но когда узнала, что все происходит от беспредметной ревности, бросилась меня целовать и весь день носилась со мной, как с единственным и любимым мальчиком. И, Боже мой, сколько таится в этой женщине нежности, как беспредельна глубина ее чувства!

Из жизни Л.: она страстно возилась с поэзией, и если бы занималась, то из нее, верно, что-нибудь вышло бы. Но случилось так, что, из-за смерти любимого отца, та сила, влекущая к красоте, стала любовью. И Л. теперь думает, что искусство в существе своем дело мужское, вернее, одно из поприщ чисто мужского действия, как песня у птичьих самцов. А дело женщины — это прямая любовь. И потому понятно, что при соприкосновении с огненной силой религии все ее личное *сгорело* и выявилась сущность ее самой: любовь.

Наша встреча была Страшным Судом ее личности.

Говорят, преподобный Серафим в конце жизни получил образ женщины, и вся жизнь этого святого истрачена была, чтобы естественное у женщины чувство любви показать людям как жизненное дело.

Итак, моя Ляля — это женщина по преимуществу: ее не дисциплинированный систематической работой ум, ее бездельное дарование способны только схватывать мгновения и выражать их самостоятельно, не складываясь с другими умами. Этот ум предназначен для осознания в себе женщины как бездеятельной сущности, ждущей себе выражения. Эта сложная Natura Naturata (естество есте-

ства) ищет зачатия от Духа. На пути исканий происходит подмена своего личного пути — общим (по плоти). Причины и перипетии подмены. Смысл их.

Ум женщины не может действовать с тем, чтобы исходить от чужого ума или сложиться с другим умом: в этом и есть дело мужское. Ум женщины индивидуален и бездеятелен (пассивен).

Ее особенность: своего женского назначения она не подменивает мужским назначением. Ее назначение найти своего «Серафима» и через него осуществиться в мире людей как любовь.

Вот схема биографии моей женщины.

Послесловие

«Дневники — это самые неверные документы о человеке», — сказала она. «Может быть, и неверные, — ответил я, — если я говорю в них о другом человеке. Но о себе или о человеке любимом — дневники единственный документ».

Так заканчивается дневник за 1940-й год — единственный за долгую жизнь целиком посвященный любви.

Только что прочтенные записи на его последних страницах раскрывают смысл и назначение этой встречи для Женщины. Но и для Мужчины — второго «героя» нашей повести — для самого ее автора?

Исчерпывающий ответ мы найдем в его дневниках последующих лет.

Образы мысли многогранны, оттенки в изображении бесчисленны. Выборочная цитация обедняет и даже отчасти искажает их. Овладение «темой» дается большим трудом требовательного к себе художника и напряженным вниманием любящего человека. Это внимание, как у каждого, идет подъемами-спусками, но никогда не остывает. Изучая дневник, мы видим, как трудно прокладывать путь к чужой душе: это труд понимания, но зато какие здесь случаются находки, какие открытия и постижения! Так, на девятом году совместной жизни, в 1948 году, М. М. перечитывает свой старый дневник и записывает: «Читаю дневник 1944-го года и тоскую о себе в отношении Ляли, — не понимал я ее тогда, а только предчувствовал, и это предчувствие она ценила во мне и только *за это* отдавала все: и ум и сердце».

Им, любящим, трудно дается понимание! Так легко ли сейчас рассказать о них новому человеку, который пришел со стороны и только вглядывается...

Как найти такие точные слова, чтобы всем стало видно: любовь двоих — это не только «личное» событие, нет! оно касается всех потому, что человек, сказавший «Ты», — вышел из одиночества, тем самым вместил в себя все, находящееся за пределами его особи. В основе всякого действия лежит избрание, в основе избрания — сила мгновенного узнавания и оценки — любовь. Иными словами, наша любовь — это целостное знание, и большее нам пока неведомо.

Однако темные, грешные люди, мы часто ошибаемся в предметах своего избрания. И каждый раз этот момент выбора, это таинственное сверхразумное прозрение, это короткое мгновение влюбления *есть суд над нами*. Никто не поможет нам в это мгновение — мы стоим один на один с нашей свободой перед лицом какой-то нравственной Безусловности, какой-то недоказуемой, но несомненной Правды.

«Мы с тобой» — это недоказуемое чувственным опытом единственно достоверное основание мира. Не декартовское «я мыслю, значит, я существую» следует поставить в основание достоверности жизни, но «я люблю».

И так открывается, что единственная реальность — Любовь, что тайна Вселенной — в понятии «мы», причем «мы» означает первоначальное «мы с тобой», а вглядеться поглубже — это вся Вселенная.

Комментарии

«Пролог», текст основного корпуса, данный с отступа, и «Послесловие» написаны В. Д. Пришвиной.

[1] Валерия Дмитриевна Лиорко (в замужестве Лебедева; 1899–1979) родилась в Витебске в семье военного. Окончила гимназию в Москве. В первые годы революции участвовала в организации детского дома для беспризорных детей «Бодрая жизнь», где по собственной программе воспитывала детей. В 20-е годы окончила Институт Слова, одним из организаторов которого был известный философ И. Ильин. Слушала лекции В. Брюсова, историка Н. Котляревского, языковеда Д. Ушакова, собирательницы фольклора О. Озаровской, С. Шервинского, посещала лекции начинающего ученого А. Лосева, о. Павла Флоренского, профессора Ф. Степуна в Вольной Академии духовной культуры, прослушала курс философии и религии у Н. Бердяева.

Была замужем за преподавателем вуза, математиком и экономистом А. В. Лебедевым.

В 1932 г. по ложному доносу вместе с мужем была арестована и сослана на три года в Нарымский край. После возвращения из ссылки работала в Дмитрове на строительстве Московского канала. Накануне встречи с Пришвиным жила с матерью в Москве.

[2] Олег Поль родился в 1899 г. в семье музыкантов. Его отец, пианист и композитор В. И. Поль, еще до революции уехал во Францию, где стал директором Парижской детской консерватории. Семья Олега отдала дань всем интеллектуальным веяниям начала века: он был воспитан потолстовски, в строгом вегетарианстве и воздержанности, проявлял интерес к индуизму, теософии.

Олег окончил реальное училище в Москве, в первые годы революции ушел работать простым рабочим в толстовскую колонию в Ясную Поляну, а затем перебрался в такую же колонию под Москву, где преподавал детям математику. В эти же годы он усиленно занимался самообразованием, изучал классическую философию, в которой нашел твердую

почву для ума, — Спиноза, Декарт и Лейбниц стали его учителями. Постепенно Олег подошел к русской религиозной философии, а через нее к творениям древних и новых подвижников христианства, богослужебным текстам и к самому храмовому действу.

В своей автобиографической книге «Невидимый град» Валерия Дмитриевна пишет о встрече с Олегом: «Мы встретились с Олегом в 1923 году. До этого он никогда не был в православном храме, искал путей войти в него — это казалось ему трудным. Но как только вошел — православие стало его родной стихией по духу и смыслу.

Олег поражал цельностью своей и целеустремленностью. Известный философ и историк русской общественной мысли М. О. Гершензон, хорошо знавший семью Поля, говорил, что он наблюдает за развитием Олега, как за развитием гения. У Олега был абсолютный слух, он хорошо рисовал, мог стать музыкантом, художником, но постоянно говорил, что проживет недолго и должен торопиться.

Войдя в церковь, Олег вынашивал замысел книги, в которой хотел рассказать на современном языке, в доходчивых для нового человека образах и понятиях, о спасительной истине, найденной им в Евангелии, и осуществлении Евангелия в подлинной Церкви святых. Будущую книгу свою он назвал «Остров достоверности».

В это время Олег прочел книгу В. П. Свентицкого «Граждане неба» о кавказских пустынниках, населявших далекие, малодоступные горы, живших по примеру древних подвижников. Прямолинейный, бескомпромиссный во всем, он решил отыскать этих людей и, если это не сказка, остаться с ними. Это была весна 1924 года.

По слухам, ближайшее поселение пустынников было в районе Красной Поляны под Сочи. Олег уехал в горы. В нескольких километрах от маленького селения на Ачиш-хо он нашел келью отца Даниила. Монах оставил Олега жить у себя. Они сразу внутренне сошлись, и между старым, далеким от мирской жизни монахом и послушником, пишущим философский труд, сложились доверительные отношения, полные уважения и внимания друг к другу.

Весной 1926 года Олег окончил свою работу. В 1927 году принял постриг, а в 1929 году стал иеромонахом. Он продолжал жить вместе с отцом Даниилом.

Осенью 1929 года в горах, где жили монахи, появились вооруженные люди. Они арестовали и увезли их в Новороссийскую тюрьму, а кельи сожгли. Отца Даниила вскоре расстреляли, а Олегом заинтересовались, перевели в Ростов-на-Дону, его жизнь явно хотели сохранить. Олег доверял

своим судьям, говорил открыто, развивая перед ними свою экономическую систему спасения России, близкую учению Генри Джорджа. Олегу предлагали ценою сохранения жизни отказ от своего мировоззрения и переход на службу новой власти. В записке, полученной от него в эти дни, он передал родным, чтобы его не забывали. Это все, что мы узнали.

Олега расстреляли летом 1930 года. День так и остался нам неизвестен. Матери принесли официальное извещение о совершившемся факте в начале июля».

[3] Примеч. В. Д. Пришвиной: «Дальнейший текст нашей книги — это реальный дневник М. М. Пришвина за 1940 год. Его переписывали мы оба совместно в первые военные годы, живя в эвакуации в глухой ярославской деревне Усолье. Во время работы иногда я делала тут же на машинке свои приписки. Они рождались сразу, под разговор, как реплики к переписываемому тексту.

Надо помнить, что переписка эта велась в самые трудные месяцы войны, что «литература» в те судные дни начисто отошла от людей и оставалась лишь потребностью понять пережитое и для чего-то (для чего?) лучше, ясней об этом сказать».

[4] Лев Михайлович Пришвин-Алпатов (1906–1957) — старший сын Пришвина.

[5] Начальная буква домашнего имени Валерии Дмитриевны — Ляля.

[6] Примеч. В. Д. Пришвиной: «Тема русского романа, которая, по слову Пришвина, „глубже искусства“, воплощена в родившейся накануне революции опере Римского-Корсакова „Сказание о невидимом граде Китеже“, в центральном образе этой оперы — деве Февронии. Эта опера дала новое освещение русского мифа, который до времени ушел со всей предреволюционной культурой под воды Светлояра.

Кто такая Феврония? Она говорит о себе: „Не святая, не черница — лишь любила в простоте я“. В опере земное дивно просвечивает небесным — снимается черта между небом и землей. Феврония по природе своей не знает зла и греха — она противостоит им без всякой борьбы. Ее существо как бы освящено, она живет, не тронутая влиянием мира, в законах боготварной природы. Вот почему она спокойно идет навстречу жизни — Всеволоду-жениху, и татарам-врагам, и самой „смертушке“.

Вторая тема — участие в страдании мира и спасении его Эта тема находит в опере отражение во всей полноте: подвигом самоотвержения дается вход в небесный Китеж. Смысл „нашей идеи“ — это всеединство и

всепрощение. Феврония не принимает счастья („небесного Китежа“), пока последний преступник на земле не раскается и не полюбит добро. Идея всеединства, всепрощения и их апофеоз — радость. В радости потонут и скорбь, и покаяние, и сострадание — они уже пережиты и растворятся в небытии. „Кайся, всякий грех прощается, а который непростительный, не простится — так забудется“, — эти слова Февронии перед смертью предначертывают будущую всеобщую победу в конце Священной истории мира — спасение его».

[7] В. М. Чернов (1873–1952) — один из лидеров и теоретиков партии эсеров, после Февральской революции короткое время был министром земледелия Временного правительства.

[8] Имеется в виду писатель А. А. Шахов (1895–1957), подражавший в своем творчестве Пришвину.

[9] Б. М. Зубакин — археолог, поэт-импровизатор.

[10] Загорский друг Пришвина, юрист, охотник.

[11] Вариант заключительной главы поэмы Пришвина «Фацелия».

[12] Имеется в виду школа в детском доме для беспризорных детей, организатором которой была Валерия Дмитриевна.

[13] А. Н. Раттай (1875–1959) — отчим В. Д. Пришвиной, врач.

[14] Художественный образ из рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы» (1881).

[15] Примеч. В. Д. Пришвиной: «Михаил Михайлович никогда не читал стихотворение Б. Пастернака „Свиданье“ (1949):

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему».

[16] Вольный пересказ стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

[17] Имеется в виду муж Валерии Дмитриевны А. В. Лебедев.

[18] Так впервые на страницах дневника возникла тема будущей повести «Кладовая солнца», которая была написана через пять лет, в 1945 г. Этими словами повесть заканчивалась.

[19] Московскую квартиру Пришвина помогала устраивать бывшая

губернаторша, жена друга Пришвина, инженера-лесовода, А. Д. Чувиляева.

[20] Пришвин называл соблазном отречение Н. В. Гоголя в конце жизни от своего творчества и обращение в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) с духовной проповедью ко всей России.

Об этом же запись Пришвина в дневнике от 30 октября 1927 г.:

«Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит оттого, что посредством художества, кажется, нельзя сказать «всего». Вот в этом и есть ошибка, потому что «всего» сказать невозможно никакими средствами, и если бы кто-нибудь сумел сказать «все», то жизнь человека на земле бы окончилась. Поэтому пределом моего дарования я считаю свой художественный кругозор, то есть способность заключать жизнь в свойственных моему дарованию формах. Я могу создать вечную форму своего личного бытия в том смысле, что эта форма будет необходимым звеном той цепи, которая соединяет всякое настоящее прошлого со всяким настоящим будущего и называется культурой. Никакой другой вечности творческого создания быть не может, и последнего слова сказать никому не дано».

[21] Сказочной Дриандии посвящен рассказ Пришвина «Весна света» (1938).

[22] В. П. Ставский (1900–1943) — журналист, писатель. С 1936 г., после смерти М. Горького, был генеральным секретарем СП СССР, в 1937–1941 гг. — главный редактор журнала «Новый мир». Был ранен на финской войне.

[23] А. М. Коноплянцев был с гимназических лет другом Пришвина, первым читателем и поклонником творчества писателя.

[24] Аггей — персонаж древнерусской «Повести о царе Аггее», лишенном престола за «гордость». Известно 16 рукописных редакций повести. Русские писатели неоднократно обращались к этому сюжету.

[25] Грузовик «Мазай» — «Дом на колесах» описан Пришвиным в повести «Неодетая весна» (1940).

[26] Будущей «Лесной капели» (1940).

[27] Так названо письмо Б. Д. Удинцеву.

[28] Владимир Сергеевич Трубецкой (1890–1937) — загорский друг писателя и товарищ по охоте. Был репрессирован, погиб в лагерях.

[29] Устраивая уединенное жилище в Москве, Пришвин выбирал квартиру повыше, на шестом этаже, — «препятствие» для Ефросиньи Павловны, чтобы она, боясь пользоваться лифтом, пореже приезжала в Москву.

[30] Отсюда хронология дневниковых записей идет по месяцам без чисел.

[31] Вместе работали над будущей «Лесной капелью».

[32] Река в Тяжине.

[33] Погиб в начале Великой Отечественной войны.

[34] Одно из первоначальных названий будущей «Лесной капели».

[35] Первая жена Петра Михайловича — младшего сына писателя.

[36] Персонаж будущей «Повести нашего времени» (1946).

[37] День, Денечек — одно из домашних имен Валерии Дмитриевны. Запись из дневника Пришвина 9 октября 1941 г.: «Есть подпольные мысли у людей, ночные спутники, порожденные ночным бессилием. Они все идут от лукавого, и их надо в самом начале, как только они заводятся, — отгонять… Достоевский дает нам полную картину жизни этих бессильных перед светом и всесильных ночью существ. Я потому и зову Лялю «Денечек», что она у меня борется с этими ночными существами, обладающими дипломатическими способностями. Помню, Блок как-то сказал мне: «Между тем как пройдешь через все подполье, то почему-то показывается из этого свет». И Розанов, (живя) среди специфически русских людей, сознательно тяготеет к подполью, к этому свету гнилушек».

[38] Имеются в виду творения христианского подвижника VII в. епископа Ниневийского Исаака Сириянина «Слова подвижнические» (изд. 2-е. Сергиев Посад, 1893).

[39] Долли — жена Стивы Облонского — персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873–1876).

[40] Жена Владимира Сергеевича Трубецкого.

[41] Лирико-философская книга дневниковых записей, получившая название «Лесная капель», была предложена Пришвиным для опублико-

вания редактору «Нового мира» Ставскому. После переделок по требованию редакции книга начала печататься в № 9, 10 1940 г. В № 11 вместо продолжения «Лесной капели» была напечатана разносная статья С. Мстиславского «Мастерство жизни и мастер слова», в которой Пришвин был обвинен в аполитичности, «несвоевременном обращении к цветочкам и листикам». Его мировоззрение объявлялось «органически и непримиримо чуждым мироощущению человека, живущего подлинной, не отгороженной от борьбы и строительства, жизнью».

Пришвин поднялся на борьбу за «Лесную капель». В январе 1941 г. он пишет Ставскому: «Предупреждаю Вас, что борьба за „Лесную капель", „Жень-шень" и т. п. для меня есть такая же борьба за родину, как и для Вас, военного, борьба за ту же родину на фронте… Я очень боюсь, что литераторы… умышленно не хотят понимать, что за моими цветочками и зверушками очень прозрачно виден человек нашей родины, что борьбу с ними мне предстоит вести упорную…»

Начавшаяся война смела все личные обиды и трудности. Только однажды, на третьем месяце войны, Пришвин вернется вновь к этой теме: «Как встретили мою „Фацелию" (первая часть „Лесной капели"). Я хотел открыть мир, за который надо вести священную войну, а они испугались, что открываемый ею мир красоты в природе помешает обыкновенной войне».

Проходит три года, и в самый разгар войны, когда тема родины стала насущной, «Лесная капель» неожиданно для Пришвина вышла отдельной книгой в «Советском писателе». Первая часть «Лесной капели» — «Фацелия» — стала классической поэмой о любви. А. И. Солженицын писал жене, Н. А. Решетовской, из Марфинской «шарашки» 23 октября 1948 г.: «Прочти „Фацелию" Пришвина — это поэма в прозе, написанная с задушевностью Чехова и русской природы, — ты читала ли вообще Пришвина? Огромный мастер. В этой „Фацелии" очень красиво проведена мысль о том, как автор — поэма автобиографична — самое красивое и ценное в своей жизни только потому и сделал, что был несчастлив в любви <…> Прочти, прочти обязательно. Вообще читай хороших мастеров побольше — ни одна их книга не проходит бесследно для души» (Человек. 1990. № 2. С. 151).

[42] Речь идет о работе над романом «Осударева дорога».

[43] Старинные друзья по Ельцу с гимназических лет.

[44] Незаконченная повесть Пришвина конца 30-х годов.

[45] Мария Васильевна Рыбина стала бессменной помощницей по дому в семье Пришвиных до самой своей кончины в 1975 г.

[46] Одно из первоначальных названий романа «Осударева дорога».

[47] Речь идет о покупке машины.

[48] Имеется в виду аскетико-дидактический трактат византийского религиозного писателя VII в. Иоанна Лествичника «Лестница, возводящая к небесам».

[49] Глава будущего романа «Осударева дорога».

[50] «Fioretti» — книга о святом Франциске Ассизском (1181 (или 1182)–1226) — итальянском проповеднике, основателе ордена францисканцев, авторе религиозных поэтических произведений.

[51] Одна из любимых книг Валерии Дмитриевны. Книга стихов индийского писателя и общественного деятеля Рабиндраната Тагора (1861–1941) «Гитанджали». Жертвенные песнопения (Пер. Н. А. Пушешникова. Под ред. И. А. Бунина. Изд. 4-е. Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1918). За эту книгу Тагору была присуждена Нобелевская премия 1913 г.

[52] На родине, в Ельце, во время Гражданской войны, в 1919 г., при нашествии на город казаков Мамонтова, Пришвина чуть не расстреляли, приняв за еврея. См. рассказ «Мои тетрадки» (1940).

[53] Строка из стихотворения В. А. Жуковского «Родного неба милый свет».

[54] См. выше запись от 25 марта. Образ из рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы».

[55] Так в семье Пришвиных звали Птицына.

[56] Имеется в виду декартовский принцип «Cogito ergo sum» — «Мыслю, следовательно, существую» (Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 428).

[57] Писатель В. М. Важдаев.

[58] Пришвин работал над циклом рассказов «Дедушкин валенок». Впервые был опубликован в журнале «Октябрь» (1941).

Михаил Михайлович Пришвин
Валерия Дмитриевна Пришвина

МЫ С ТОБОЙ
Дневник любви

Корректор Т. Л. Самсонова
Макет С. А. Булачевой

Лицензия ИД № 02417
от 20.07.2000 г.

Подписано в печать 14.09.03 · Формат 60×88 в 1/16 · Объём 16 п. л. ·
Бумага офсетная · Печать офсетная · Гарнитура Миньон ·
Тираж 3000 экз. Зак. № 4595

Издательство ООО «Росток»
197755, Санкт-Петербург, а/я 25
По вопросам реализации обращаться по тел. склада: (812) 323-5470

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Готовятся к выпуску:

В. Д. Пришвина

«ВОЙНА»

В. Д. Пришвина

«НАШ ДОМ»